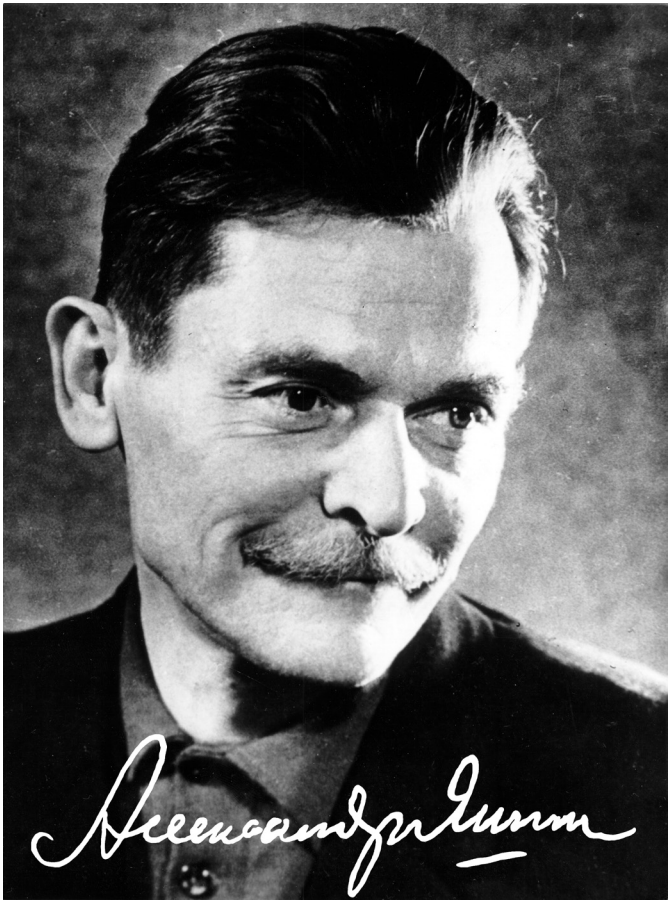
Департамент культуры Вологодской области

Вологодская областная писательская организация

Вологодская областная универсальная научная библиотека

Администрация Никольского района Вологодской области

Никольский историко-мемориальный музей А. Я. Яшина



Александр Дитт

СЛУГА НАРОДА

Поэзия. Проза

Вологда
«Книжное наследие»
2003

ББК 84(2=Рус) 6
Я 96

Составление, подготовка текста — ***З. К. Попова-Яшина, Н. А. Попова-Яшина, М. А. Яшин***

Предисловие — ***Н. А. Попова-Яшина***

Ответственный редактор — ***С. А. Тихомиров***

Я 96 **Яшин А. Я.**
Слуга народа: Поэзия. Проза / Сост., подг. текста З. К. Поповой-Яшиной, Н. А. Поповой-Яшиной, М. А. Яшина. Предисл. Н. А. Поповой-Яшиной. — Вологда: Книжное наследие, 2003. — 696 с.

В книгу выдающегося русского поэта и прозаика — Александра Яшина «Слуга народа» вошли избранные произведения: стихотворения и проза. Все они объединены любовью к своему Отечеству, служению ему, а также темой нравственного совершенствования — преображения души и возрождения таких понятий как «совесть», «долг», «честь»... Публикация произведений осуществляется на основе прижизненных изданий писателя, материалов из личного архива, авторских рукописей.

Издание финансируется департаментом культуры Вологодской области, администрацией Никольского муниципального района и посвящено 90-летию со дня рождения писателя, оно обращено ко всем, кто любит Россию и неравнодушен к ее судьбе.

© Попова-Яшина З. К., Попова-Яшина Н. А., Яшин М. А., наследники, составление, подготовка текста, 2003.
© Попова-Яшина Н. А., предисловие, 2003
© Вологодская областная универсальная научная библиотека, издательство «Книжное наследие», 2003
© Никольский историко-мемориальный музей А. Я. Яшина, 2003.

«А ЕСТЬ ЕЩЕ: СОВЕСТЬ, ЧЕСТЬ...»

Речь идет о том, чтобы создать новое общество, а не новую форму государства.

Александр Яшин

Русский поэт Александр Яшин ушел из жизни в 1968 году, в возрасте 55 лет, но и после этого долгое время приходили его книги к читателю, участвуя в жизни страны. Об этом писатель П. Нилин в 1984 году сказал так: «Жаль, что смерть подкосила его на взлете. И все же завидна судьба человека, который и *после смерти* шлет читателю все новые и новые сочинения. (...) Эти его и веселые и сердитые сочинения. (...) Что-то он хотел исправить и придирчиво обращал на это внимание. Но иначе нельзя. И был, вероятно, прав один из великих наших потов, утверждавших, что “кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизну свою”. А Яшин исступленно любил свою, нашу отчизну. Он это доказал. И не однажды в очень опасную пору».

Второй уход писателя из внешней литературной жизни произошел после так называемой перестройки, когда из-за политики наших «слуг народа» все в стране было перевернуто с ног на голову. В литературу вернулись забытые, запрещенные в советское время имена, но вместе с ними всколыхнулась вся муть — на поверхность выплеснулась часто непрофессиональная, безнравственная, пошлая продукция словесного характера. Она и сейчас забивает книжные

прилавки. На издание ее находятся средства даже у почему-то вдруг обедневшего нашего государства, находятся и соответствующие спонсоры... Раньше не видели свет многие замечательные произведения по идеологическим причинам, теперь из-за материальных, но отбор, кому-то угодный, все равно идет... Об этом явлении забвения писал А. Яшин в статье о Есенине в 1965 году, вспоминая годы изъятия творчества Сергея Есенина из русской литературы: «Короткая у нас память, друзья мои. Конечно, велика русская литература. Но не следует думать, будто для советской культуры ничего не стоило, когда мы по каким-либо, порой очень странным соображениям вычеркиваем из нее — пусть на время — тех или иных наших предшественников — прозаиков, поэтов, художников. Ущерб от этого мы несем не меньший, чем от уничтожения в горячке борьбы с религией многих древнейших памятников отечественного зодчества или, скажем, от грубого утилитарною отношения к богатствам родной природы. Позднее нам самим бывает стыдно подобной горячности. Уроков этих забывать не следует».

Спасибо Вологодской земле, что хранит, как родная мать, память своего замечательного поэта и прозаика Александра Яшина, издавая к его юбилею книгу, в которой он зовет родных ему русских людей вернуться к понятиям совести, чести, веры, добра, любви к России, какой бы государственный строй ни сбивал ее с пути... Многое хотелось бы издать из литературного наследия Александра Яшина, что созвучно нашим, да и любым временам и что еще не известно читателям. Верим, что найдутся и меценаты для этого доброго дела.

Обычно критики не зачисляют А. Яшина в отряд писателей-деревенщиков, может быть, и не случайно, ибо его творчество

шире... И в 1999 году выездной Секретариат Правления Союза писателей России на тему «Вологодская литературная школа: народность, традиции, слово в русской культуре» включил Александра Яшина в список феноменов «вологодской литературной школы», «сложившийся из творческих особенностей таких вроде бы не похожих друг на друга писателей как “неистовый” протопоп Аввакум, Даниил Заточник, Николай Клюев, Федор Абрамов, Александр Яшин, Николай Рубцов...». Надо сказать, что у истоков создания Вологодской писательской организации стоял Александр Яшин, много лет ходатайствуя перед московскими властями об этом и собирая вокруг себя литературные силы Вологды.

Имя Александра Яшина — серьезное, достойное имя в русской литературе, ее советского периода, когда он своим примером показал, как можно в безвоздушно-бесправной идеологической атмосфере закрепощения души и ума человеческого, сохранить свою душу, воскресив ее для понимания вечных вопросов и правильных ответов на них, поисков путей к Правде и Истине.

Недолгая внешняя жизнь писателя была полна событий, как и вся история его поколения, от которого он себя не отделял. Но гораздо сложнее и длиннее был его внутренний путь, путь души, ощутившей, осознавшей себя — кто бы и как бы ни отравлял сознание русского человека всякими «измами», начиная от атеизма...

Скучный и злой, наверно, был
Тот, кто, надев мундир,
«Мертвой природою» окрестил
Весь этот добрый мир.

Он и в другом убедить спешил,
Чувства и честь глуша,
Будто бы нет у людей души...
Есть у меня душа.

Фактически доказательством, отстаиванием присутствия в себе живой души, он перечеркивал всю навязываемую народу безбожную, материалистическую идеологию. На эту тему у него есть много стихотворений. Но как главнейшее пожелание, надежда, звучат его строки о святости вновь рожденных душ. Веру в то, «Что их и в детстве не застудят, И взрослых не дадут сгубить, Что души их не искалечат, Любовь к добру не заглушат, Не иссушат живой их речи И права думать не лишат», — поэт сравнивал с чудом, с самой возможностью жить.

Нравственность, очищение души, покаяние, прощение, стояние в вере за совесть, любовь к людям: «Если бы знать нам, что завтра его не будет, по-другому мы относились бы к людям — к любому, как к своему родному...» — таково отношение Александра Яшина к тому как мы должны жить, чтобы Отчизна была сильной, а люди были святыми. Он говорил об этом по-своему, не веря, что на его родине могут быть плохие люди. И одну из главных заповедей Христа — «а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою» (Мрк. 10, 43.) — он нес в сердце, воплощая в своих произведениях в разные годы настойчиво и убежденно: «Пусть не кичится начальник властью, Помнит, что он — лишь слуга народа...». Лишь слуга!!!

Пройдя через все заблуждения материалистических учений, Яшин твердо знал, что нравственное, духовное начало в человеке — основа основ успеха всякого строя. На папке с рукописью повести «Слуга народа», в самом начале, написана им основополагающая мысль: «Речь идет о том, чтобы создать новое общество, а не новую форму государства». Другими словами как он в первой своей книге «Песни Северу» писал о реконструкции людей в плане социалистического строительства, так в последующих книгах — о реконструкции-преображении людей только в духовном плане. Тогда и строй обновится...

Кто как служит своему Отечеству, людям, а через это — Богу. Яшин служил своим словом — точным, образным, искренним, выверенным. О святой вере его с детства в силу слов говорится в маленьком рассказе «Журавли», которым он хотел начать книгу стихов в прозе. Он верил в красоту и сердечность слова, в словотворчество народа, представителем и наследником которого он являлся — «Слова-то красивого не подыщешь наскоро». Родную речь он воспринимал как вверенное ему наследство, которое всеми силами старался отстоять... «И есть ли такие средства?», — волновался он. Верил в то, что слово — основа вечности. Словом оправдимся и словом осудимся. Все, что ни сделает человек, главное — книга, которая расскажет обо всем людям. Яшин умел работать со словом. Большие стихотворные тетради заполнены столбцами строк, строф, рифм в поисках единственно верного.

Начав писать очень рано, в семье неграмотных матери и отчима, юный Яшин — Шура Попов — это его родовая фамилия — рвался из дома в город, чтобы учиться. Дед его собрал сельский

сход, вынесший постановление: «учить парня!». Русская деревня вырастила Яшина и поставила на службу родине, людям. Работу священника, воина принято называть более точным словом — служением. Думается, что работу по-настоящему одаренного поэта, с любовью и ответственностью относящегося к своему призванию, также уместно назвать служением. Так и относился Яшин к своему дару слова, который он ощущал с детства. С самого начала он воспринимал свой путь как служение литературой. Преданность этому сохранилась в нем до конца.

В статье об Ольге Берггольц Яшин пишет: «...Ольга Федоровна Берггольц всей своей жизнью была подготовлена к высокому служению поэзии»; «Известно давно, что Ольга Берггольц живет по заповедям подлинного добровольного слуги народа, который первым бросается на выручку туда, “где трудно дышится, где горе слышится”». Все это в равной степени относится и к самому Александру Яшину.

Порывистый, восторженный характер поэта соединялся с его молодостью и началом построения советского общества в России, задором комсомола, в который его в родном городе не приняли из-за любви к Сергею Есенину, но приняли позже, в Архангельске. Надежд было много. Настрой боевой... «Кем-то сказано, — писал поэт, — что первую песню сочинил охотник, вернувшийся с охоты с пустыми руками. Это была песня грусти, песня разочарования, безысходной печали. Я написал свою первую песню, когда захлебнулся от радости жизни, когда впервые ощутил, чистое сердцебиение нашей жизнерадостной молодости». Но кроме жизнерадостности — чувство гражданской ответственности за все, что

происходит со страной, с людьми, присутствовало уже и в первой его книге «Песни Северу», вышедшей, когда автору было двадцать лет. Позже поэт назвал ее «пробой пера», но книга эта является характеристикой времени, картинно показывающей те события, свидетелем которых был поэт. Только тогда многое воспринималось как ударный комсомольский труд, азарт молодости — соревнования. А теперь иначе. Сегодня стихотворение, посвященное «сплавщице Таисии — лучшей сплотчице Северного края — делегату I Всесоюзного слета ударников сплавщиков и лесорубов» — читаешь с болью: ведь это надрыв! Юные, нежные девушки — в ледяной воде Северной Двины, приехавшие из своих деревень из-за заработка, многие раскулаченные — гробят свое здоровье под ураганным ветром, перехватывая плывущие бревна:

... И, проклиная худую погоду,
Осатанелый холодный прибой,
Мы повизжали, залезли в воду.
Ну, и, значит, начался бой.

Все позабыли: беседки, припевки —
Только б не сдать в горячке работ...
Я, знай кричу:
— Не робей, девки! И первая лезу в водоворот.

А так было. Живы еще и участницы этих трудовых, самоотверженных битв. И это тоже один из ответов, почему мы в войну победили... Почти вся книга «Песни Северу» — как трудовой рапорт

с полей, просек... И сам поэт всегда «лез» в водоворот событий. С первых дней войны добровольцем ушел на фронт, в пятидесятые годы уехал на целину, кончив там курсы трактористов, потом Волго-Дон. Везде на первых рубежах... Но и первым начал писать о том, что «мы неполной жизнью живем... Вполуголос песни поем. Даже письма с оглядкой пишем...», что «Мы двойною жизнью живем...». И так было...

О тридцатых годах Яшин с любовью, немного снисходительно вспоминал в стихотворении «Мы были молоды», написанном в 1967 году.

(...)И терпеливы
И сметливы.
Неприхотливы,
Непривередливы.

(...)Не было крова
Под флагом
Сутяге.
Честное слово
Равнялось присяге.

Кажется с таким народом горы можно сдвинуть. И сдвигали, но несмотря на это: «Давно у нас в стране вожди сменились, А жизнь никак не набирает силу!» — говорит поэт Виктор Боков в стихотворении «Памяти поэта Александра Яшина». И снова встает проблема «слуг народа»!

Стихотворение «Мы были молоды» — как воспоминание он пишет в последний год жизни. А еще раньше, в шестидесятые годы — горькие строки о том, во что верило поколение:

До чего ж мы были просты
С нашей верою беспросветной,
С нашей преданностью несусветной,
Доходившей до слепоты!

Или:

За все отвечать настала пора:
За то, что когда-то я промолчал,
За то, что кричал во весь рот ура,
А караул не кричал.

Первая книга, но и она важна в творческом пути поэта. Первая книга, а уже остро-критическое отношение к себе, своей работе. Вот как Яшин оценивал ее в стихотворении «Двадцать трудодней», посвященном своему двадцатилетию:

(...) Переписанных, переиначенных
Сотни строф в пути сошли на нет.
Прожито,
А может быть растрачено
Двадцать крепких
Полнокровных лет.

Не найти для горечи названия.
Все ж я горд, что не стою на дне...
Но страна в актив за все дерзания —
Ставит мне лишь двадцать трудодней!

И сопоставив это начало и стихи последнего периода жизни — даже представить трудно какой огромный путь внутренних переживаний, построения себя, духовного восхождения прошел он, сколько «прожито» им.

Жажда учиться все более заставляла его отдаляться от деревни, которую он нежно любил. Уездный город, школа, педтехникум. Революционные веяния окружающего мира захватили душу талантливого юноши, принявшего перемены, которые происходили в стране. Вторая его книга «Северянка» вышла уже в Москве, когда он учился в Литературном институте. Стихотворения этой книги поэт включал потом во все свои сборники. Продолжает «Северянку», являясь частью ее, книга «Стихотворения», вышедшая следом за ней. «Северянку» Яшин писал уже будучи оторванным от родных мест, тоскуя по ним: «Далеко где-то зацвели рябины За Вологдой, А мне покоя нет». Оказавшись вдали от родной деревни, любимой бабушки-сказительницы, которой он посвящал еще мальчиком свои трогательно-детские сочинения, его захватывает стихия народного языка, образов. На «коренной» язык поэзии Яшина обращали внимание многие поэты, критики. Позже бабушке он посвящает стихотворение «Присказки» как вступление на поэтическую дорогу и просит ее благословения: «Наставь, родимая, на светлый путь!». Стихотворения этой поры особенные —

они словно выкованы из народного наследия, тогда еще живого языка драгоценной северной русской речи — певучей, задушевной, образной. Они — как последние звучащие картины северной русской деревни, уходящей красоты всего стройного, мудрого уклада жизни, быта и взаимоотношений людей. «Северянка» — совершенно неповторимая звукопись — интонация местного диалекта. При всей лиричности, игре ритма, рифм настолько естественно и четко-чеканно звучат слова, как рубленность избы, где каждое бревно на месте: несет свою нагрузку, красуясь... А говорит-то поэт с нежностью о дорогом:

Что ни праздник, — на угоре
Все девчата наши в сборе.

Во наряды выряжены,
Парни с ними выдержаны.
Все достатки,
Все порядки
В этом выражены.

Таковы же и танцы-хороводы были — сдержанные, целомудренные. Все соответствовало одно другому.

Вот каковы нравы и нравственность были основной, лучшей части населения в наших деревнях. Такой же была бабушка Шуры Попова — Авдотья Павловна Попова раскулаченная, высланная...

Создав «Северянку», Яшин вошел в литературу, как самобытный поэт-мастер. Это был всплеск. Но особенности родного

языка, неповторимость выражений, интонаций, образов — подспудно жили в нем всегда, питая его поэзию.

Яшин неоднократно хотел вернуться, как он говорил, к своему «вологодскому началу»: «Надо сделать книгу, в которой дать старые северные стихи, показать богатство Родины нашей и дальше оборону, чтобы было видно за что мы воюем» — писал он в 1943 году. Но стихотворения эти оказались заповедными и в его творчестве. Не только он менялся, менялась и сама деревня, люди, язык... Позже он напишет: «Те же избы. Те же печи, так же полон рот забот. Но совсем иные речи: Век не тот. Не тот народ!..».

Но и в стихах военной поры, когда раненный боец вспоминает родной край в стихотворении «Не умру» — жизнь русской деревни представляется ему раем:

Ах, родина, лесная сторона!
Как все стократ для сердца стало мило
Брусника в чащах,
Рек голубизна, —
Война все чувства наши обострила.

Просторны тесом крытые дворы,
В холмистом поле широки загоны
Как многолюдны свадьбы и пиры,
Как сарафаны девичьи пестры,
Каким достоинством полны поклоны!

И это не приукрашивание, как и многое другое в творчестве поэта. Так было еще совсем недавно!

Долго патриархальные деревни с мощными деревянными избами, украшенными тончайшей кружевной резьбой, сохраняли свою незыблемость. До пятидесятых годов носили женщины «пароцьки» — домотканые, а позже ситцевые сарафаны и кофты, обшитые цветными лентами и кружевами. И когда заставляли их менять на платье — подчинялись лому со слезами. Сейчас дико читать об этом насилии в местной газете за 1959 год: «Теперь дадим определение: никольский сарафан в союзе с местной кофтой и фартуком есть нелепый триумвират, напяливаемый женщиной на себя в интересах сознательного изуродования своей фигуры. Итак никольский сарафан с кофтой все еще бытуют в наших условиях, подобно тому, как почти только в Австралии обитает кенгуру...». Нашелся же такой невежественный ненавистник северного национального костюма, украшавшего любую женщину, делавшего ее жизнь удобной и нарядной и в праздники и в будни. И радостный костюм, тонкий по своему художественному, цветовому убранству, как составляющая часть русской деревни, ее традиции — гордость наших музеев, здесь, в живом виде преследовался, за его ношение стыдили. Красоту выживали, как и многое другое...

Обо всем этом: о фундаментальности русской деревни — крестьянства как о краеугольном камне в жизни всего государства, народа — его духовной, культурной и экономической жизни, Яшин говорит в стихах и прозе. Удивительна его запись в собираемых им материалах к неосуществленному роману «Для кого строился дом»: «*Крестьянин, что Савелий — богатырь святорусский, походил*

на атланта, который держит на себе не просто балкон, дом, а больше — всю страну нашу, весь шар земной».

В настоящем издании стихотворения разной поры представлены так, как их создавал поэт — книгами. «Нечего бояться писать циклами, книгами — это профессиональная работа и добрая старая традиция». И эти циклы его, книги, рассказывают о нем самом, раскрывают его душу, его увлечения и разочарования, но одновременно показывают и этапы жизни страны. В книге «Слуга народа» более всего уделено внимание трем книгам Александра Яшина, созданным им в последние годы. Они являются переломно-поворотными в его творчестве, когда после переживаний, связанных со сменой правительства, XX съездом партии, он многое пересмотрел в своей и общественной жизни. Поэзия его наполнилась философским, а порой интуитивно-богословским пониманием жизни, своей души, души своего народа. Наполнилась исповедью, покаянием, которое он приносил всенародно, открыто, отвечая за каждое слово свое. В этом и есть его подвиг — подвиг души. У святых отцов исповедь так и называется — подвигом. Служение своим творчеством — словом — было для него мечом духовным. Эти стихи он накапливал не один год и об этом писал так: «...с возрастом к нам приходит потребность в большей душевной сосредоточенности, в размышлениях и обобщениях, когда для каждого нового стихотворения бывает необходим материал уже многих лет жизни, а не одного-двух дней. Для поэта наступает как бы заново своеобразный переходный возраст со всеми его, так называемыми, проклятыми вопросами...

Писать в это время труднее, но и радостнее.

Острее и глубже становятся чувства, любовь к родной земле, к родному языку, острее ощущение причастности к жизни и делам своего народа и ответственности за все. Хочется быть предельно правдивым, я бы сказал, хочется быть совестливее и искреннее перед самим собой и перед людьми, как на исповеди».

Книга «Совесть», о которой он сам сказал, что «Это плод моего запоздалого “переходного возраста”, она выстрадана, а не сочинена». А совесть, как известно, глас Божий в человеке. И одним из ключевых для этой поры является стихотворение «Переходные вопросы». Мучившие его вопросы...

А в чем моя вера?
Опора?
Основа?(...)

Не новую повесть
В душе перетрясываю:
«А может быть, совесть
Понятье внеклассовое?..

А может, все пошлое,
Фальшивое,
Грошевое,
Продажность
И ложь
Не назовешь
Пережитками прошлого?».

Как современно звучат эти слова, можно сказать вечно современно, пока человек не изживет все эти качества, каждый в себе. И снова уместно повторить самое начало — главную мысль как эпиграф к повести «Слуга народа»: «Речь идет о том, чтобы создать новое общество, а не новую форму государства».

Многое созвучно нашим дням в творчестве Яшина, не говоря уже о его дневниках, читая которые, порой забываешь, что это было написано полвека назад. Например, такая запись: «Страна, в которой разными постановлениями постепенно заменили почти все законы». Или: «Когда трудовой народ в массе своей будет жить хорошо — не говорю так же хорошо, но хотя бы просто хорошо! — как и слуги народа, тогда появятся и настоящие возможности для расцвета литературы».

Одно из главных стихотворений книги «Совесть»: «В несметном нашем богатстве...». Речь идет не о материальных или природных богатствах, полезных ископаемых, а о родном языке. Язык по-славянски — народ. Речь идет о слове, о его сокровенной сущности, о его силе, отождествлении с событием, действием, результатом: «Ах, если бы все понимали, что это не просто слова. Каких бы мы бед избежали. И это не просто слова!». Это его заповедь, кредо. Это скромное по размеру стихотворение написано как поступь. Стихотворение — гимн.

К книге «Совесть» примыкают две другие — «Босиком по земле» — книга — возвращения к тому, чтобы «жить, как учила мать...». И книга «День творенья», сигнальный экземпляр которой пришел на следующий день после кончины писателя. Книга

«День творенья» удивительно разнообразна по своим темам и одновременно монолитна по значительности, глубинности тех же тем. Кроме исповедальности, покаяния, одна из главных тем этой книги — благодарение, удивление красотой божьего мира. Конечно — все это есть и в предыдущих книгах, но здесь словно жизнь подытоживается... А пафос в стихотворении «День творенья» — внешне незатейливого сюжета о спасении жизни цыпленку заставляет вспомнить стихотворение Пушкина о том, как поэт на Благовещенье выпускает из клетки птичку: «Я стал доступен утешенью; За что на Бога мне роптать, Когда хоть одному творенью Я мог свободу даровать!». Сравните у Яшина: «...Я жизнь сохранил цыпленку. Пусть хоть одну, Хоть цыпленку, Но — жизнь! Без преувеличения».

Вот только некоторые строки из этих книг, которые говорят сами за себя и звучат как призывы, возгласы, воздыхания, воззвания:

«К тебе обращаюсь, душа моя!»;

«Я давно на родине не был. Много в сердце скопил тоски»;

«В край добра и чудес С прежним рвусь интересом»;

«Покормите птиц зимой...»;

«Добру откроется сердце И совесть будет чиста»;

«Бродить по сырой земле босиком — Это большое счастье!»;

«Но это моя земля. Моя маета и мечта. Мои святые места!»;

«Ни к безверию, ни к сомнению Не причастна душа моя...»;

«Люблю все живое. Живых люблю»;

«И повсюду со мной Россия, И нигде не кончается свет»;

«Не смять никаким обстоятельствам Любви нашей к красоте, К душевной чистоте»;

«Спеши на выручку других зови, — Пусть не найдется душ глухих и жестких! Без этого к чему слова любви О родине, О речках, О березках?!»;

«Спешите делать добрые дела!»;

«Не верю, что звери не говорят. Что думать не могут певчие птицы...»;

«Боюсь, чтоб кичливость не помешала Нам постигать иные миры»;

«Но зато мы уж летом На всю зимнюю ночь Запасаемся светом»;

«Только любовь раскрывает сердца. Лишь перед ней отступает горе»;

«Не слабым слыву, А в голос реву: Туда ли плыву я? Так ли живу?»;

«А если в судьбе у меня бездорожица?»;

«Я обречен на подвиг...»;

«Зарубцуются ль в сердце моем, В слабом сердце Рваные раны?»;

«О как мне будет трудно умирать. На полном вдохе оборвать дыханье!».

Каждая строчка являет собой мысль, чувство — зерно, из которого или вокруг которого вырастает стихотворение — вкратце поэма, художественное, философское полотно. И все эти строки летят за нами как напутствие уже в нашей жизни...

Бывали трудные состояния в «переходном возрасте», когда поэт то терял веру в себя, то снова обретал, но в силу слова — никогда. Это нам сейчас легко судить о прошлом, когда многое из сокрытого

прежде, теперь стало известно. Приоткрылись архивы, издана литература русского зарубежья, труды наших философов, открываются храмы... Но тогда разобраться во всем было очень не просто. Поэтому так искренне, как молитва звучит обращение поэта к Божией Матери: «Дай мне выбиться из тупика, из распутья, из бездорожья. Раз никто не помог пока. Помоги хоть Ты, Матерь Божья». Или гневное: «Отлучили от Бога. От веры не отлучить!». Он писал не только стихи, но и молитвы. Одна такая была написана им на листке, лежавшем на его письменном столе под стеклом: «Молитва (утренняя). Господи, помоги мне написать еще одно стихотворение! Александр Яшин».

В советское время писатель был как мирской духовник. К нему обращались люди со всеми вопросами — личными и общественного характера: «...И со всех концов идут письма, полные обид. Открываю в чью-то жизнь Дверь — рву конверт: “Поддержи, заступись. Защити, дай совет!..” Добрый дай совет!».

В рукописной книге Яшина «Золотые слова» на одной из страничек видим такую запись: «Из письма комбайнера, в прошлом кочегара на паровозе, Полушкина Ивана: “Буду ли я поэтом или нет — это для меня не имеет значения, но я хочу одно: все беспорядки, которые имеются у некоторых людей, а так же поступки, все мелкое, грязное — это можно устранить только через поэзию” от 3/1—1957 года». И приписка Яшина: «Я завидую вере этого человека в поэзию».

С самого начала своего творчества Александр Яшин был социальным поэтом. Он как следователь выискивал, вскрывал причины тех событий, которые проявились намного позже, уже как пороки. Предупреждал: «Если бы предположить, что выступления

писателей, знающих деревню, принимались как сигналы, многое плохое можно было бы остановить раньше. Невозможно представить себе серьезного писателя, который произвольно решает, о чем ему писать. Это не по волевому решению — о чем писать, а по велению души. Принимать сигналы... Бегство из деревни остановить. Привить любовь к деревне, к сельскому труду... Бороться надо, если не бороться — значит, обречь себя на бесперспективность и подъеме сельского хозяйства. Писать правду. Говорить правду, но говорить ее можно по-разному».

Первый рассказ «Рычаги», напечатанный в 1956 году, произвел ошеломляющее впечатление и на читателей и на официальное руководство. Впервые была показана двойственность партийного аппарата, лживость и фальшивость методов его руководства. Во многих стихотворениях Яшин поднимает те же темы, что и в прозе: «В сельском клубе», «В близких увидел всю фальшь до дна»...

Всем своим творчеством Яшин боролся с бюрократизмом, чиновничьим миром, удушающим все живое: «Опять я целый день негодовал, С дельцами, не с поэтами встречаясь. Опять в газете не пошел подвал — С казенным слогом все не уживаюсь. Опять пришлось с людскою маетой Столкнуться в министерских коридорах. В глазах рябил сухой бумажный ворох, И не мирилась совесть с немотой». Писал о чиновничестве в Союзе писателей, где количество тиражей зачастую определялось положением в номенклатурной системе «творческого» аппарата: «...Чиновное воинство, По рангу — достоинство, Зарплата — по должности, Ум — по возможности». О чиновнике-цензоре и о подлинном служении поэта говорится в стихотворении «О поэзии».

Автор рассказа «Рычаги» подвергся настоящей травле и в печати, и на собраниях... Позже он горькими словами подводил итоги этому событию: «Не дико ли. Не странно ль. что и я Не избежал железной проработки... Мне приписали разнобой с народом. Редактор осторожный книгу снял...». Но в разных произведениях Яшин продолжал тему «Рычагов» как исследование о руководителях разных рангов, о чиновниках. Об этом рассказы, повести «Сирота», «Чистые руки», «Директива», «Стечение обстоятельств», «Баба Яга» и, конечно, «Слуга народа»...

При жизни Яшин успел издать небольшую часть прозы. Одно из самых значительных его произведений — повесть «Баба Яга» была напечатана через семнадцать лет после ее написания и то с купюрами. В повести «Баба Яга» рассказывается о гибели русской деревни, история ее жителей устами последней обитательницы деревни — Устиньи. Как это все началось, когда? Об этом и хотел рассказать писатель в неосуществленном романе «Для кого строился дом», для которого он много лет собирал материалы: истории раскулачивания, коллективизации на примере одной, нескольких семей, как уничтожали лучшее работоспособное одаренное, совестливое население, и как помогала это делать другая часть, слывшая в народе ленивой и ставшая продажной, увидев для себя легкую наживу, завладев ею и загубив все. Одним из таких жестоких бесчеловечных комиссаров в родной деревне писателя Блудново был легендарный по жестокости и самоуправству человек по прозвищу Сарапка.

«Для кого строился дом»? Дом построен, а жить в нем некому. История разорения огромного дома... Дом в более высоком

понимании. Русь. Дом Пресвятой Богородицы, взявшей его под Свое покровительство.

Яшин не представлял своей жизни без деревни: «Я без вологодской деревни — никуда». А в рассказе «Угощаю рябиной» писатель говорит о зависимости, связи его жизни и труда писателя с деревенской жизнью: «...жизнь моя и поныне целиком зависит от того, как складывается жизнь моей родной деревни. Трудно моим землякам — и мне трудно. Хорошо у них идут дела — и мне легко живется и пишется. Меня касается все, что делается на той земле, на которой я не одну тропку босыми пятками выбил; на полях, которые плугом пахал; на пожнях, которые исходил с косой и где метал сено в стога».

Поистине сыновнее отношение к родной земле.

«Поэзия вне времени не существует. И почва у поэзии и жизни одна и одним плугом она пашется. Появятся огрехи в пахоте, на ниве народной, начнет разрушаться структурность ее почвы — это немедленно отзывается и в литературе», — писал он в одной из статей. Читая это, удивляешься точности определения писателя о взаимосвязи жизни народа и литературы, о том, как тесно связаны жизнь деревни, сельского хозяйства, земледельца, его благосостояние, экономика страны и литература. Это доказывается нашими сегодняшними бедами. Рухнула экономика, социальные устои, моральные — нет событийных произведений в литературе... Растерянность...

На заключительном обсуждении сценария А. Яшина по его повести «Сирота» на киностудии «Мосфильм» — было много неаргументированной критики людей — профессионалов кино, но не

сведущих в жизни русской деревни. И тогда Яшин подвел итог этому собранию: «О деревне надо думать — в кино, в прозе, в стихах — от этого никуда не уйдешь»...

В этом смысле повесть «Баба Яга» — прощальный гимн русской деревне, которая разорялась не одно десятилетие. Раскулачивание, послевоенные годы, когда работали одни женщины, впрягаясь в плуг. Непосильные налоги, укрупнения — колхозы, совхозы, сселения, работа за палочки — неоплачиваемые трудодни, беспаспортность... И крестьяне разными путями, старались, вырастив детей, отправлять их «на города» — учиться, на стройки, куда угодно. Деревня выталкивала их из-за обреченности своей. Великое переселение-выселение русского крестьянства насильно в одни годы и как бы вольное в другие продолжалось в течение всего двадцатого века. Автор так пишет о главной героине повести: «Это председатель назвал ее Бабой Ягой. А она любит людей, тоскует по ним. Собирает и передает в колхоз лекарственные травы. И к колхозу относится с уважением, жалеет, что не удалось поработать в нем как следует — сил уже не стало... И вот на острове осталась одна Устинья. Одна — одинешенька. Ходила из дома в дом, как сторож, поправляла скворечники. Восходы и закаты для нее одной. Собирала оставшиеся вещи. Дневники бабы-яги — зарубки на стене».

Задумана повесть была во время летнего отдыха Яшина на Сладком острове Нов-озера в Белозерье, но герои ее все жители родной его деревни Блудново или соседних с ней. Рассказ Бабы Яги по фотографиям — история жизни родственников писателя. Вот как сам Яшин толкует главную мысль повести: «Баба Яга. Мозг

работает и душа работает. Баба Яга не может быть плохой во всем и не вызывать жалости и сочувствия. Это — опозоренная, разграбленная, неграмотная, но сказочно-богатая самобытностью, одаренная, изнасилованная, обиженная, многотерпеливая русская деревня. Когда она погибла — тогда поняли ее и пожалели». Не умирает русская деревня, Устинья «уезжает» на печке в сказочный мир памяти... Остывают русские печи... Главное, чтобы не остыли наши сердца, наши души — об этом заботится писатель.

Мы не умеем читать, как говорил Яшин «не принимаем сигналы». Поддаемся на развлекательность «крутых» сюжетов, пошлых интриг, а серьезные книги, требующие нашего ума, души, сопереживания остаются невостребованными. Этим мы обкрадываем себя. Как сказал псалмопевец: «С преподобным преподобен будешь, (...) и со строптивым развратишься».

В 1957 году Яшин начал рассказ «В гостях у сына», в процессе работы переросший в повесть. Под таким заголовком впервые, через тридцать лет после ее написания, повесть была напечатана в журнале «Москва». «Неразрывное единство содержания и формы, высочайшая языковая культура...»; «...удар по вельможным номенклатурщикам не меньшей силы, чем в “Рычагах”» — писал о ней главный редактор журнала, писатель М. Алексеев, вспоминая А. Яшина как «удивительного человека». Название «В гостях у сына» вскоре было перечеркнуто и появилось новое: «Слуга народа». На обратной стороне папки: «Речь идет о том, чтобы создать новое общество, а не новую форму государства». Это не просто запись, это ключевое, глубоко пережитое писателем понимание сути наших бед, понимание, созвучное православному мировоззрению.

Кто такие слуги народа? Откуда они берутся? Какими должны быть? Отчего такими становятся, а не такими, какими бы мы хотели их видеть? Почему именно они оказываются во главе государства, народа? Вопросы эти важны во все времена, независимо от государственного строя. Христос в Евангелии говорит апостолам: «цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются. А вы не так: но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий» (Лк., 22, 25–26).

К выбившемуся в «чиновное воинство» работнику министерства впервые приезжает в столицу из деревни мать. Мать, вырастившая сына Никиту, удивляется переменам в нем. Мать — образ совести, народа, с его патриархальностью, неподкупностью, верой в Бога. Она обеспокоена: «Откуда у сына такие деньги? Ладно ли это? Чистые ли они, деньги эти?». Снова и снова мучает ее вопрос: «Где мой сын берет такие деньги, Господи? Не случилось ли беды какой, не сбился ли он с пути праведного?». Она сравнивает свою жизнь в деревне и не понимает как можно честным трудом заработать так много. Вспоминается автобиографический рассказ Яшина «Первый гонорар», в котором мать также строго спрашивает сына, купившего кулек конфет на первый гонорар: «Скажи, парень, где деньги взял?». Этот вопрос и сейчас волнует наш народ: «Где “слуги народа” взяли столько денег? Откуда их богатство?». «Не ворует ли мой сынок?!» — волнуется мать.

«Это повесть о крушении человека, оторвавшегося от народа... подкупленного, зажиревшего, эгоистического. Он — матерый демагог. Как стал им, как рвался к власти, благодаря чему выдвинулся... Это “Убыток”. “Слуга народа” — это город, государственный

бюрократический аппарат. Убыток — жизнь и перестройка деревни. Народ вырос, а ему, народу, продолжают недоверять» — пишет автор о сути этого произведения в рабочей тетради. И дальше о матери: «Главное в том, что у старушки появляется протест против образа жизни сына. Излишества ей стали претить. Она повернулась к колхозу: “Вот куда с нас берут. Нашему бы колхозу этого на год хватило... А у нас бензину нет. Здесь машин много... Неужто я тебя родила? На каких же ты хлебах вырос?”»; «Никита Петрович не терпит контроля матери. А мать предстает мудрой женщиной, она умней своего высокопоставленного сынка. Надо сказать, что бабушка из очень глухих мест — многого не видела, дичится. Но она не глупа, она мудра по-своему. Есть у нее свое понимание долга, чести, родины — и более цельный характер, чем у сына из аппарата. «Он говорит: “Служу народу!” — Нет, лишь мамоне служит он», — утверждал Яшин.

Мать удивляется как ее сын за тысячи километров по телевизору учит крестьян как вести хозяйство: «Ишь ты, учит! А ведь ничего уж, видно, не помнит и не разбирается в нашем деле. Да и немудрено, давно дома-то не бывал. Разве он нашу жизнь знать может?!». Проблема отношений «слуг народа» и народа волнует писателя на протяжении многих лет и является одной из основных в нашем социальном мироустройстве. На эту тему у него много записей. Приведем две из рукописной книги «Золотые слова»: «Утром рабочие спешат на работу, висят на трамваях, в автобусах... Это — народ. Потом идут Зисы, Зимы. Это — слуги народа». И еще: «Человек — фразер, революционер фразы. Он говорит от имени народа, называет себя его слугой, ленинцем, он за

демократизацию и прочее... Но вот кто-то сказал, что, кажется, после XX съезда будет введен партмаксимум и он побледнел. Все в нем изменилось сразу». Как это соотносится с объяснением героя повести Никиты своей матери: «Ты пойми, когда человек дорог, когда он видный, ответственный, для него ничего не жалко. Понимаешь, старушка? Чтобы он никакими мелочами не занимался. Знай, работай, служи народу, живи с ним одной жизнью, не забывай о его надеждах! — Так ты уж служи, Микита! — заметила Матрена Савельевна».

«Это рассказ о выросшем до чудовищных размеров разрыве между уровнями жизни народа и аппарата, “слуг народа”, между городом и деревней — на полюсах. Это протест против неправедной жизни бюрократического аппарата управления. Кто сочтет сколько у нас министерств?.. Очень важно, что критика идет от матери. Это как бы народ сам критикует своих же сынов: “Что с тобой стало, Микитушка?!”». И сам автор спрашивает: «Откуда появляются бюрократы, чинуши?..». Сохранилась целая тетрадь таких записей, так как, закончив работу над повестью, Яшин увидел, что она может развернуться в роман, в котором он поставит наболевшие, волнующие его вопросы. Одна из причин, по которой писатель не смог продолжать эту работу были бесконечные проработки из-за так напугавшего партийную элиту рассказа «Рычаги»... Но большая часть этих вопросов уже была поставлена, заложена в повести и, несмотря на появившиеся новые неразрешенные проблемы нашего времени, касающиеся «слуг народа» и народа, она удивительно актуальна и сейчас, тем более, что бюрократический аппарат в постсоветское время по статистике увеличился в пять раз.

Конечно, в наше время все это выросло до глобальных размеров, но проблемы те же, о которых подавал сигналы писатель Александр Яшин много лет назад. Усовершенствовались машины, изменились формы и марки их, но суть человеческой греховности — осталась... Одна из сцен повести происходит в бывшем санатории «Сосны» Совета Министров СССР. Теперь — это «оздоровительный комплекс “Сосны” Управления делами Президента РФ». Другая обстановка и другие, новые «слуги народа», а расположен комплекс все в том же удивительном по красоте месте, на берегу Москва-реки...

О многом говорил в своих произведениях писатель — и о сиротстве земли, и о нашем человеческом сиротстве людей, оторванных от Творца. И о том, что «В общении с природой теснее становятся узы кровного родства. Отношения наполняются большим духовным содержанием, просыпается желание дарить друг другу не материальное, предметное “что-то”, а красоту окружающего мира»; И о том, что «Есть чувства выше родственных, отцовских, мужниных, чувства, без которых нельзя быть хорошим отцом, — патриотические, гражданские, их токами пронизана атмосфера красоты и поэзии. Такие чувства — самое добро, самое верное наследство, которое надо оставить детям». Так пишет критик Наталья Банк о рассказе «Угощаю рябиной», цикле рассказов «Сладкий остров», называя Александра Яшина одним «из самых совестливых и чутких наших художников...».

Александр Яшин оставил нам в своем творчестве мудрые завещания о совести, долге, служении, бережном отношении к людям — «Спеши любить, жалеть и любить», веря в неземную

красоту души каждого человека. И поможет он нам своей поэзией уберечь человеческие души от нахлынувшей бесовщины. Он славил благодатный, окружающий нас мир природы, исцеляющий нас, звал удивляться красоте мира и спешить делать добрые дела? Читайте произведения Александра Яшина, размышляйте над ними, запоминайте и тогда «Добру откроется сердце и совесть будет чиста».

Вот как оценивали крупнейшие писатели прошедшего века творчество и личность Александра Яшина. Из письма Федора Абрамова: «Ну а “Вологодская свадьба” для меня была откровением. Откровением в том смысле, что давно уже у нас никто (и в том числе Вы) не писал так задушевно и любовно (прав Твардовский!) о деревне». В другом письме он, говоря о «Рычагах» и «Вологодской свадьбе», восклицает: «И вещи эти эпохальные».

«Мы часто пользуемся выражением “Сын народа”. Это высокое звание надо заслужить самоотверженной любовью к своему народу, знанием его, честностью, проникновением в поэзию родной страны. В этом смысле Александр Яшин подлинный талантливый сын нашего Севера, вологодских краев, сын и поэт». И хотя эти слова К. Г. Паустовский писал к пятидесятилетию А. Яшина, они верны, остаются теми же и к 90-летию поэта.

Многие признавались Яшину, что он является для них эталоном совести, чести, правдивости, «...ты для меня как совесть, настоящая без подделки. Ф. Кузнецов». Совершенно разные писатели подписывали ему свои книги. «Александру Яшину. Хочу жить по закону вашей писательской чистоты и честности. Н. Воронов»; «Дорогому, русскому, мужественному любимому А. Яшину

Вл. Солоухин». После кончины Яшина, Солоухин писал: «Нет человека одаренного, острого, колючего, доброго, правдоискателя и правдолюба, человека крайне ранимого, человека... Хотел сказать беззаветно любящего свою землю и свой народ, но потом подумал, что частица чего-либо не может любить то целое, частицей чего она является. Яшин был частицей родной земли и народа».

О любви его, воплощенной в творчестве писал А. Передреев в стихотворении «Совесть»: «И вот теперь — Страницы книги Вашей Посмертные И — узнанные вновь... Я чувствую, Всем сердцем К ним припавши, какая вами двигала Любовь!».

Виктор Боков так заканчивает стихотворение «Памяти Александра Яшина»: «Он был аскет, он блюл посты. Он придавал всему значенье. Просил: — А ты меня прости! — За что? — За все без исключенья. Не умер он. Ушел в скиты. За дальние пределы пашен. От ежедневной суеты, От незначительности нашей».

А вологодский поэт Борис Чулков, которого Яшин любил читать наизусть, так писал в стихотворениях, посвященных его памяти: «(...)Потому поистине над теми, что навек нам стали образцами, и не властно никакое время. Ибо вечно жить им между нами». И еще: «За то, что были крылья у орла. Его и осудили силы зла. Но верил он, что быть судье — судимым! Он верил в это неискоренимо, Неистребимо, зная наперед. Что час его придет, еще придет. Уверен в торжестве своем грядущем...».

О литературном труде, служении в нем Александр Яшин писал: «Литературное дело — не биржевая игра. Соображения конъюнктуры, спекуляция темой, именем своим, подыгрывание не всегда умным пожеланиям начальников могут привести лишь к

временному материальному благополучию, но сама русская литература здесь ни при чем.

Пора вспомнить, что мы всерьез являемся продолжателями лучших традиций великой русской литературы, той литературы, которая называлась ***совестью народа,*** с которой считались все — слабые и сильные мира сего, на которую с надеждой взирали униженные и оскорбленные, к которой прислушивался весь читающий мир».

Он и был таким продолжением — подлинный, преданный слуга своего народа. И как сейчас не хватает его горячего неподкупного тревожного голоса.

Похоронен Александр Яшин на выбранном им месте, на Бобришном Угоре, в двух километрах от родной деревни, на высоком берегу Юг-реки, в тайге, где он построил избушку для работы. Провожать его пришли все жители окрестных деревень, одетые празднично в старинные домотканые сарафаны — дань уважения своему поэту. Военные отдали салют как воину, служившему своей родной земле и в военное и в мирное время. Это было в 1968 году — тогда в деревне еще не было электричества.

Теперь есть, а деревни почти нет, доживает. Но читаешь записи людей, побывавших там, на Бобришном, куда заходит и крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери Дуниловской и служатся панихиды и веришь, в то, что он не напрасно оставил людям в творчестве важные для всех нас вопросы и указал духовные пути разрешения их... И сам себя в этом месте оставил, чтобы оно не запустело... Веришь, что придут подлинные слуги народа, бескорыстные, которые будут служить ему верой и правдой. Так и

будет. «Живыми и мертвыми обладая...» — звучит отпуст в конце панихиды... У Господа все живы, и ушедшие молятся о живых и помогут нам. Оживет и этот край, так любимый им и воспетый.

Надписи в книге полны надежд:

«Благодатный воздух, живые стены вновь наполнили душу надеждой в это страшное бесовское время».

«Не знаю, что написать. То, что чувствую, не передать словами. Нужно побыть здесь, постоять под соснами у памятника, зайти в дом... Становится как-то спокойно и радостно, и хочется жить».

«Замечательному русскому поэту Александру Яшину — слава! Пусть у каждого в сердце будет свой Бобришный Угор!».

«В Доме Отца Моего обителей много. В одной из обителей небесных нашел свой приют раб Божий Александр. Он любил Бога, Россию и людей, любящих Россию. Упокой, Господи, душу раба Твоего Александра в селениях Твоих».

«Здравствуй, Александр Яковлевич. Здравствуй всегда! Читатель».

Наталия Яшина

ЖУРАВЛИ

Сила слов

Были в детстве моем и праздники, и весна не одна, и не одна золотая осень. Много было всего. Были и свои журавли в небе.

Когда с полей убирали хлеб, поля становились шире и светлее, чем прежде, горизонт отодвигался куда-то вдаль. И над этой ширью и золотом появлялись треугольники журавлей. Для детей это время птичьих перелетов всегда празднично. Мы выбегали из домов, неслись за околицу и кричали вдогонку журавлям:

Журавли, журавли,
Выше неба и земли
Пролетайте клином
Над еловым тыном,
Возвращайтесь домой
По дороге прямой!

Или много раз повторяли, приплясывая, одни и те же слова:

Клин, клин журавлин,
Клин, клин журавлин!

Птицы шли по небу ровно, спокойно, красиво.

Но находились озорники, которые не желали добра птицам, хотели расстроить их порядок. Бывало, какой-нибудь босоногий заводила вдруг вопил истошным голосом:

Передней птице
С дороги сбиться,
Последнюю птицу —
Вицей, вицей.
Хомут на шею!
Хомут на шею!

И часто журавлиный треугольник неожиданно начинал ломаться, птицы, летевшие сзади, рвались вперед либо уходили в сторону, а вожак, словно испугавшись, что он остался впереди совсем один, круто осаживал, делал поворот и пристраивался в хвост колонны. Мы удивлялись силе наших слов, визжали от удовольствия. Но кто-нибудь из взрослых давал подзатыльник озорнику, и хорошие чувства брали верх в детской душе. Мы в раскаянье кричали уже хором, чтобы слышнее было:

Клин, клин журавлин!
Путь-дорога!
Путь-дорога!

Кричали до тех пор, пока журавли не выравнивались.

И вот опять вспомнилось мне детство.

В этом году дожди, затяжные, упрямые, начались так рано, что стало казаться, будто вовсе не было лета. Свету недоставало даже в

полях, и утром, и в полдень было одинаково пасмурно. Сырость пронизала небо и землю, в самом густом лесу не оставалось ни одного сухого места. Дороги испортились, поплыли, шипели, как тесто в квашне, вылезая на стерню, на луговую отаву. Листья на деревьях, всегда мокрые, не желтели и не облетали, сколько ни свистел ветер по ночам. Где же бабье лето? Где золотые рощи? Где кружевная паутина на скошенных лугах?.. Наверно, и птицы уже улетели, давно улетели...

Но вот выдался солнечный денек. Потом другой, третий... И стала осень делаться заново. Пришла тишина, мягко пригрело солнце, подсохла земля, даже дороги стали проезжими. А когда просохли на деревьях листья, оказалось, что они давно желтые. Как-то утром, проснувшись, моя дочка глянула в сад на засверкавшую осинку и ахнула: «Папа, у тебя под окном красавица!». Потом закружилась и листва в воздухе, облетели осинки, березки, тополя, даже дубы начали понемногу оголяться. Совсем сквозным стал орешник, и откуда ни возьмись на опушку рощи выступили вдруг елочки.

А солнце с каждым днем становилось нежнее к земле, ласковее. Казалось, и так красиво кругом, а оно как выглянет, как начнет наводить порядок — не налюбуешься, не нарадуешься.

Наконец затрубили, закурлыкали журавли в небе. Все-таки взяла осень свое и на этот раз: появились над полями птичьи треугольники. Странным показалось это: зачем они покидают нашу землю? Все устроилось так хорошо, стало тепло и тихо, сейчас бы жить да жить, а вот улетают.

Стою я на крыльце, вспоминаю детство, слежу за журавлями и вдруг вижу — нарушился их строй, сбились птицы в кучу, заходили

кругами, стремительно набирая высоту. Словно самолет пронесся близко, — завертело их ветром, подкинуло.

Но мне представилось, что это опять ребятишки-озорники из какой-нибудь соседней деревни сбили журавлей с толку обидными словами. Я поверил в это, и такое доброе чувство к летящим птицам охватило всю мою душу, что я не заметил, как начал, правда негромко, почти про себя, но все-таки вслух шептать слова, которые знал с детства: «Клин, клин журавлин! Летите не сбивайтесь, домой возвращайтесь!.. Путем-дорогой! Путем-дорогой!..».

И вот уже выправились журавли моего детства, угомонились их всполошенные голоса, и, благодарные, полетели птицы все дальше и дальше под ясным солнцем родного края, полетели путем-дорогой.

1954

ПОЭЗИЦ

Из книги «СОВЕСТЬ»

* * *

В несметном нашем богатстве
Слова драгоценные есть:

Отечество.

Верность,

Братство.
А есть еще:
Совесть,
Честь...

Ах, если бы все понимали,
Что это не просто слова,
Каких бы мы бед избежали.
И это не просто слова!

1957

TBOSS РОДИНА

Все испытала, все превозмогла —
Года тяжелых рукопашных схваток,
И выстрелы врагов из-за угла,
И длинные хвосты у продпалаток.

«Великая!» — мы говорим о ней,
Даем присягу в верности сыновней
И воспеваем с пристальной любовью
Березки, речки, ширь ее полей.

А все ли помним
И всегда ль
о том,
Что родина была, и есть, и будет
Не только реки, горы, отчий дом,
Не просто небо и земля,
А — люди?

Все те, что рядом, под боком у нас,
И — далеко,
чужие нам по крови,
И все они нуждаются подчас
В тепле, в участье,
В братском добром слове.

С любым ты мог служить в одном полку,
Делиться на походе сигаретой,
В далекой стороне, как земляку,
Поверить душу...
Как забыть об этом?

И если ныне он, товарищ твой,
Твой соотечественник — пусть не близкий,
Безвестный пусть, —
в беде, в нужде какой,
Спеши ему помочь, он не чужой,
Не отмахнись служебною запиской.

Спеши на выручку, других зови, —
Пусть не найдется душ глухих и жестких!
Без этого к чему слова любви
О родине,
О речках,
О березках?

1956

О НАСУЩНОМ

Что за нелепое утвержденье!
Я отвергаю с негодованьем,
Будто весна лишь время цветенья,
Будто бы осень — пора увяданья.

Свежему хлебу дивлюсь, как чуду,
Не уставая, дивиться буду —
Нет ничего красивее в мире
Этой поющей, бескрайней шири.

В теплом, хрустящем хлебном прибое
Тонет и тает горе любое.
Осень такая, что душу греет.
Верится — люди станут добрее.

Станут мои земляки сердечней,
Нет, не беспечней,
Но человечней,
Непримиримы к любым недугам,
Будут горой стоять друг за друга.

Радуясь новой своей победе,
Не забывайте, друзья, соседей!
Если беда с кем-нибудь случилась,
Не обходите, сделайте милость!

Хлынет зерно дождем изобильным —
Пусть станет каждый щедрей от счастья:
Робкий — смелым,
А слабый — сильным.

Пусть не кичится начальник властью,
Помнит, что он — лишь слуга народа,
Не по анкетам о людях судит...

И богатеть будем год от года,
Каждая осень праздником будет.

1956

* * *

Не верю, что звери не говорят,
Что думать не могут певчие птицы,
Что только инстинкты у хитрой лисицы
И пчелы не знают, чего творят.

Попробуйте в роще уединиться,
Укрыться под хвойный густой наряд
Да вникнуть в жизнь, что шумит вокруг,
Предубежденность на время откинув, —
И в сердце не будет места гордыне,
Вас трепет и робость охватят вдруг.

Достойно ль царя природы
делить
Всех в мире живущих
На высших и низших?
Порой и владыки разумом нищи,
Все относительно, может быть?

Высокомерие не к лицу
Ни великану,
Ни мудрецу.
В сосновом бору,
В березовой роще,
Где так многогранно желанье жить,
Мне, сильному, только добрей и проще
И человечней хочется быть.

Мы видим не все со своей горы,
Чудес неоткрытых еще немало.
Боюсь, чтоб кичливость не помешала
Нам постигать иные миры.

1959

ОРЕЛ

Из-за утеса, как из-за угла,
Почти в упор ударили в орла.

А он спокойно свой покинул камень,
Не оглянувшись даже на стрелка,
И, как всегда,
Широкими кругами,
Не торопясь, ушел за облака.

Быть может, дробь совсем мелка была —
Для перепелок, а не для орла?
Иль задрожала у стрелка рука
И покачнулся ствол дробовика?

Нет, ни дробинки не скользнуло мимо,
А сердце и орлиное ранимо...
Орел упал,
Но средь далеких скал,
Чтоб враг не видел,
Не торжествовал.

1956

МОСКВА — ВОЛОГДА

С каждым часом ощутимей север,
Остановки реже,
Гуще лес,
Пахнет смолкой вперемежку с сеном,
И все больше узнается мест.

Торопясь, схожу на полустанке,
Словно на приветный огонек,
Чтобы взять за рубль у северянки
Влажной клюквы маленький кулек.

Замелькали топкие болота
С голубыми окнами озер,
Наконец — подъем за поворотом,
И пошел густой сосновый бор,

Строевой,
В косых лучах по пояс,
Золотом пронизанный насквозь...
Словно к морю вдруг пробился поезд,
Даже небо выше поднялось.

Дóма я!
На все гляжу с любовью,
Радостно от птичьих голосов.
Никакие парки Подмосковья
Не заменят мне моих лесов.

Радуюсь обновам животворным —
Домнам,
Трубам, влитым в синеву,
Плеску волн на море рукотворном,
Лесосекам с грохотом моторным...
И одним все —
Нежным и просторным,
Добрым словом В о л о г д а зову.

Дóма я!
И сердце бьется с силой.
Мимо, мимо — за верстой верста...
Что кому,
А для меня Россия —
Эти вот родимые места.

1958

БЕССОННИЦА

Кто он — мой дорожный сосед?
Лысоватый,
Розоволицый...
Почему не потушит свет?
Что так долго ему не спится?

Чем встревожен и возбужден?
Может быть, за всю жизнь впервые
Из столицы направлен он
На далекую периферию?

Или сам бежит от жены,
От приевшихся разносолов
В край неподнятой целины,
В мир романтики
И новоселов?..

Выпил водочки,
Снял пиджак
И, согнувшись, дымит, вздыхает.

А ведь, кажется, всяких благ
И здоровья ему хватает.

Золотые часы на руке,
Снежно-бел воротник рубашки,
Словно сбруя на рысаке,
В блестках шелковые подтяжки.

Громыхает вагон,
Будто вскачь —
Не по рельсам —
Поезд несется...
Может быть, мой сосед — «толкач»,
А «толкнуть» не все удается,

И от мелких забот,
От хлопот
Даже за полночь нет спасенья?
Может, совесть его грызет?
Иль спешит он на важный слет
И обдумывает выступленье?

Иль в торговой служит сети —
И едва припадает к подушке,
Как встают на его пути
Роковые
«Утечки», «усушки»?..

Нет, не просто на свете жить.
Чтобы ночью спалось спокойно,
Надо день провести достойно,
Не корысти —
Людям служить.

Не лукавить,
Не предавать...
Не стихи же он ночью пишет?
— Вы бы, право, ложились спать! —
Но молчит сосед,
Как не слышит.

За окном мелькает луна.
Спутник мчит по своей орбите.
Что еще вам?
Чего хотите?
Доброй ночи!
Спокойного сна!
Спите! Спите!
Спокойно спите!
И колеса стучат:
«Спите! Спите!»

Но и я не смыкаю глаз:
Мало ль что на душе творится,
Что припомнилось в поздний час.

Ой, как многим людям у нас
По ночам еще плохо спится.

1958

О ПОЭЗИИ

Нет, не одни чернила нужны
Даже для статьи.
Дерево тоже из глубины
Тянет соки свои.

Можно, коль нет своего угла,
Сидеть за чужим столом,
Только б родною земля была —
И всюду поэту дом.

Можно, коль труд не окупит затрат,
Гордость смирив свою,
На крайний случай пойти в аппарат,
Чтоб прокормить семью.

Даже сквозь серый поток анкет
Может пробиться свет.
Но если покоя на сердце нет,
Что может дать поэт?

Тут не до мелких личных обид.
Страшно, что над строкой
Молча с ножницами стоит
Столоначальник твой.

Не горячась, не вступая в спор, —
Что ему песня, стих! —
Ставит отметки: «слабо» и «хор»,
Режет «от сих до сих».

Прост, как булыжник, —
А — сила в нем,
Тверд вездесущий перст.
Только зачем он?
Он-то при чем?
Вахту в поэзии мы несем,
Нам этот вверен пост.

Сами ответим за стих любой, —
Служим не за деньгу, —
Сами дадим надлежащий бой
Истинному врагу.

Только бы фальшь не была в чести —
Мертвых не будет фраз.
Только бы правду-матку в пути
Не потерять из глаз.

Не оглушал бы хвастливый звон,
Не ослеплял бы дым,
Не превращали б в пустой закон
Все, что зовем святым.

А недоверие душит нас.
Что за нелепый взгляд,
Будто поэтам на каждый час
Требуется наряд.

Время прорвать этот чертов круг,
Преодолеть недуг.
Если заказ — то из первых рук,
Только из первых рук,

Только народом вдохновлены,
Песни пойдут в народ.
Дерево тоже из глубины
Соки свои берет.

1956

* * *

Не пишется!
Зачем молчу,
Какой у моря жду погоды?
Хлеб есть задаром не хочу —
Он слишком дорог для народа.

Счастливый дар не на года
Дается
И не в одолженье,
Не для забав и развлеченья,
А навсегда —
Со дня рожденья
Для непрестанного труда.

И коль его не сохранить,
В обыденщине раствориться —
Не то же ль самое, что спиться?
Кого тем можно удивить!

Жизнь праздная не для меня...
Есть вдохновенье и в привычке.
Итак:
С сегодняшнего дня
Ни дня без строчки,
Без странички.

1957

В СОЮЗЕ ПИСАТЕЛЕЙ

Как много великих,
Какие все видные:
Не лица, а лики,
Фигуры солидные.

Чиновное воинство,
По рангу — достоинство,
Зарплата — по должности,
Ум — по возможности.

Но лишь появляется
Хозяин поблизости —
Куда что девается:
Любой пригибается,
Снижаясь до низости.

1 мая 1958

* * *

Как от огня, от себя бегу.
Ожесточенье калечит душу.
Вот и писать уже не могу,
И ничего — ни читать, ни слушать.

В близких увидел всю фальшь до дна.
Как это мог я с ними годами
Рядом сидеть за бутылкой вина,
В залах торжественных за столами?..

1958

* * *

Как часто мы голосовали
За отлучение друзей
И не кричали, а молчали
О непричастности своей.

Как мы преступно мало знали,
Да что скрывать — боялись знать.
Пойми теперь, когда нам лгали,
Когда мы сами стали лгать.

Нередко до самозабвенья
Себя старались убедить,
Что, видно, наше поколенье
И не должно иначе жить.

И вот пришло, как наказанье
За благодушье многих лет,
Привычкой ставшее молчанье —
Страданья горше в мире нет.

Да нарастал, как ветер с моря,
К бездумной праздничности строк
Читательских аудиторий
Неотвратимый холодок.

1956

* * *

Мы неполной жизнью живем
И неполною грудью дышим,
Вполуголос песни поем,
Даже письма с оглядкой пишем.

До чего ж мы были просты
С нашей верою беспросветной,
С нашей преданностью несусветной,
Доходившей до слепоты!

Зарубцуются ль в сердце моем,
В слабом сердце
Рваные раны?
Мы двойною жизнью живем,
Потому и стареем рано.

1958

* * *

С сединою да с лысиной
Примиришься с трудом.
Сколько книг ни написано,
Разве скажешь о том.

Все, что в небо закинуто
К звездам —
Видит весь свет.
А о прочем не принято
Сообщать из газет.

Наши мысли и чаянья,
И бессильные сны,
И немое отчаянье —
Никому не видны.

А предчувствие страшное
Часто мучает зло:
Может, самое важное
То, что впрок не пошло.

И напрасно растрачены
Столько сил, столько лет,
Кровью сердца оплачены
Книги те, коих нет.

1959

* * *

Страшно любить и быть нелюбимым,
Жить с людьми,
А слыть нелюдимым,
Страшно недруга боготворить,
Правдою клясться
И зло творить.

Но я не знаю страшней мученья,
Коль пропадает к работе влеченье, —
Руки людские
И душу жаль:

Вдруг непослушным станет рояль,
Для живописца померкнут краски,
Скульптор на глину глядит с опаской,
Мрачен ученый — прозренья нет,
И не подходит к столу поэт.

Все как болезнь.
А есть ли леченье?
Только терпенье, одно терпенье:
Выдюжить, выждать —
И в свой черед
Все образуется, боль пройдет.

1959

* * *

Матерь Божья, не обессудь,
По церквам я Тебя не славлю,
И теперь, взмолившись,
Ничуть
Не юродствую, не лукавлю.

Просто сил моих больше нет,
Всех потерь и бед не измерить,
Если меркнет на сердце свет,
Хоть во что-нибудь надо верить.

Ни покоя давно, ни сна,
Как в дыму живу, как в тумане...
Умирает моя жена,
Да и сам я на той же грани.

Разве больше других грешу?
Почему же за горем горе?
Не о ссуде Тебя прошу,
Не путевки жду в санаторий.

Дай мне выбиться из тупика.
Из распутья, из бездорожья...
Раз никто не помог пока,
Помоги хоть Ты, Матерь Божья.

1958

ЗЕМНОЙ ПОКЛОН

Спасибо тебе, Блудно́во,
Деревня в лесной глуши:
Я начал писать здесь снова,
А это — хлеб для души.

Немало в стране хороших
Углов, — приезжай, го́сти! —
Куда и добраться проще,
И меньше узлов везти;

Есть Талицы-речки всюду
И если не озеро — пруд,
Повсюду рыбешку удят,
И уток, и зайцев бьют;

Конечно, и для здоровья
Места благодатней есть...
Но вырос-то я в Блуднове,
С землей породнился здесь.

Здесь хата моя не с краю.
Я с детства
Не как-нибудь
Тут каждую душу знаю
И чувствую —
В этом суть.

Зимою — по снежным завалам,
Весною — по грязи вброд
Кидает меня пешедралом
На север из года в год.

И пусть иногда сурова
Ко мне родная изба, —
Я тутошний,
Из Блуднова,
И это моя судьба.

1958

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА

Мне с отчимом невесело жилось,
Все ж он меня растил —
И оттого
Порой жалею, что не довелось
Хоть чем-нибудь порадовать его.

Когда он слег и тихо умирал, —
Рассказывает мать, —
День ото дня
Все чаще вспоминал меня и ждал:
«Вот Шурку бы... Уж он бы спас меня!»

Бездомной бабушке в селе родном
Я говорил: мол, так ее люблю,
Что подрасту и сам срублю ей дом,
Дров наготовлю,
Хлеба воз куплю.

Мечтал о многом,
Много обещал...
В блокаде ленинградской старика
От смерти б спас,
Да на день опоздал,
И дня того не возвратят века.

Теперь прошел я тысячи дорог —
Купить воз хлеба, дом срубить бы мог...
Нет отчима,
И бабка умерла...

Спешите делать добрые дела!

1958

* * *

Всполошились над лесом воро́ны,
Разгласили окрест:
«Всем! Всем!»
Мол, разлегся в бору зеленом
Человек — не поймешь зачем.

Взбудоражены криком тревожным,
Навещать стали звери меня.
Даже лис, на что осторожный,
Тоже выглянул из-за пня.

Невпопад, как из сказочной пущи,
На лосенка похож,
Со всех ног
Налетел на меня заблудший
Мокрогубый чей-то телок.

Любознательна до смешного,
Белка цокнула над головой:
Ну разлегся, и что ж такого?
Может, здесь и жизнь для него.

Впрямь — живу!
О вчерашнем, зряшном
Позабыл в родной стороне.
Значит, я не такой уж страшный,
Если звери идут ко мне.

А воро́ны?..
Да ну их к богу!
Я ж в своем, не в чужом бору.
Пусть кричат, поднимают тревогу —
Я от карканья не умру.

1958

ГОСТЬ

В родное село из столицы
Наведался знатный земляк.
Народу в избе — не пробиться,
Слезу прошибает табак.

Вот жил паренек пухлогубый,
Как все,
На подножном корму,
А нынче — что шляпа, что шуба,
И все будто впору ему.

Стоит у печурки в сторонке
Совсем оробевшая мать,
Не знает — искать самогонки
Или самоварчик подать?

Метнуться б к сынку, прослезиться
С открытой, как раньше, душой,
А вот не посметь,
Не решиться:
Начальник, поди-ко, большой!..

1958

* * *

Весна — куда ни кинешь взгляд.
В ночь вызвездило, приморозило,
А днем, как много раз подряд, —
Что ни поток, то водопад,
Любая лужа будто озеро.

Хоть на день каждый ручеек
Сравняться с речкою пытается.
Уже и зелень пробивается...
Что нового?
Да ничего —
Все ежегодно повторяется.

И птичий свист среди лугов
Любого умиляет умника;
И синева без берегов;
И над рекою рев гудков...
Где ж откровенье?
Где изюминка?

Чем вас порадовать, друзья?
Что описать вам? —
Все извечное...
Но я готов с утра до вечера
Сидеть у шумного ручья,
Хоть и смотреть как будто нечего.

1958

РОДНИЧОК

Грохот моря слышен издалека,
Блеск его пугает и слепит.
У воды ни отдыха, ни срока —
Берега гранитные дробит.

А родник осоки не колышет,
Затенен,
И надо замереть,
Чтоб его среди корней услышать,
Наклониться — чтобы разглядеть.

Но вода и в нем стоять не любит,
День и ночь без устали поет.
Кто отыщет — припадет, пригубит,
А припав — не отрываясь пьет.

И опять придет, как на свиданье,
И заглянет в холодок, на дно...
Только это чистое звучанье
Разобрать не каждому дано.

1958

ПАМЯТЬ

По вологодскому Заречью
Бродил я вечером,
Как вдруг
Счастливый кто-то
мне навстречу
Метнулся с криком:
— Здравствуй!.. Друг!..
Забыл?..

— Да нет же! — отвечаю
И что-то мямлю про года,
А сам мучительно гадаю:
Где с ним встречался
И когда?

Лицо знакомо.
Голос тоже...
И как неловко стало мне,
Когда припомнил, сколько прожил
Я с ним в окопах на войне.

А то еще — оторопею
И, как собрату своему,
Отъявленному лиходею,
Бывало, крепко руку жму.

Все чаще память изменяет,
Подводит.
Вот опять — пробел...
Но из нее не исчезает,
Что сам бы я забыть хотел, —

Такое, что душе не мило,
Чего нельзя себе простить,
Что, к сожаленью, в жизни было,
Хоть не должно бы вовсе быть.

Нередко правдой поступался,
Не делал все, что сделать мог.
И обижал,
И обижался.
Помочь хотел, а не помог.

Дурным поступкам нет забвенья
Да и прощенья нет,
Когда
Их судишь сам без снисхожденья, —
На свете горше нет суда.

1958

* * *

И я обманывал,
И мне, бывало,
Достоинство мужское изменяло,
Себя обкрадывал утехи ради
И часто с совестью своей не ладил.

Быть может, те, которых я обидел,
Теперь ни в ком святой любви не видят.
Легко ли для обманутого сердца
Решиться вновь доверчиво согреться?

Что бесконечно каяться?
Ведь снова
Жизнь не начать, не изменить былого,
Не замолить вины своей...
Я ныне
Пекусь уже не о себе — о сыне.

Пусть он грехов отца не повторяет,
Большой любви ни в чем не изменяет,
Ни в чьих глазах не будет лжив и мелок
И с совестью не заключает сделок.

1958

ЧУДО-САБЛSS

Подарил я родному сыну
Чудо-саблю:
— Носи, пострел! —
С полчаса он ее вертел,
А потом сломал и откинул.
Словно палку простую откинул,
Не заплакал,
Не пожалел.

Мне бы в детстве саблю такую,
Чтоб по росту и по руке,
В золоченых ножнах,
Кривую,
С красной кисточкой на шнурке!

Неожиданную обнову
Как награду бы я берег,
С ней носился бы по Блудно́ву,
Под собою не чуя ног.

И учил бы, пусть неумело,
Босоногих своих друзей,
Как стоять за правое дело,
Вызволять из беды людей.

Не давал бы своих в обиду.
А друзья у крыльца гурьбой
Утром ждали бы:
Скоро ль выйду
И когда поведу их в бой.

Может, вся бы жизнь по-иному
У меня с той поры пошла
И любовь моя к отчему дому
Не такой бы грустной была...

Нет, не сабли сломанной жалко.
Я встревожен, что мой сынок
Ничего, кроме крашеной палки,
В этом чуде увидеть не смог.

1958

* * *

Прости меня, мама,
прости, что пусто в твоей избе,
а я это вовремя не заметил.
Прости, что я не заметил, что ноги твои отекли,
что пальцы на руках скрючило от работы.

Прости меня, поле, за неурожай, за пустоши.
Прости меня, моя родная земля,
я рожден здесь для того, чтобы видеть
и обо всем рассказать другим,
а я долго на все закрывал глаза.

Пока ты жива, мама, есть у меня дом родной
и Вологодчина для меня — родина.

1958

* * *

Как ни продвигаемся вперед
К процветанью, к благосостоянью,
Подыхает вологодский скот
От простейшего недоеданья.

Заросли кустарником лога,
Сузились медовые покосы.
А уж мы ль не брали за рога,
Мы ль ребром не ставили вопросы?!

Не осмыслив мудрой глубины
И величья начертаний новых,
Так же все наивны и грустны
Милые покорные коровы.

Рацион мой тоже не богат,
Но пока не оскудел здоровьем
И не каждый день меня доят...
Все ж глаза не веселей коровьих.

1957

* * *

Все к лучшему...
В колхоз доставлен хлеб.
И выдан денежный аванс по книжкам.
Стрекочет в праздник кинопередвижка,
Опять поднялся спрос на ширпотреб.

Пришли бульдозеры в разгар весны
На торфоразработку —
Может статься,
И наши земли за год возродятся:
На севере они истощены.

То в Липове, то в Пермасе шанга́ —
Так здесь зовут картофельную брагу.
Шанга не пиво,
Но сбивает с шагу
И так же заливает берега.

А я опять готов писать стихи.
Вот только жаль —
Здоровья меньше стало:
Не пью шангу, как пиво пил, бывало,
Да ночью спать мешают петухи.

1958

* * *

Опять я целый день негодовал,
С дельцами, не с поэтами встречаясь.
Опять в газете не пошел подвал —
С казенным слогом все не уживаюсь.

Опять пришлось с людскою маетой
Столкнуться в министерских коридорах.
В глазах рябил сухой бумажный ворох,
И не мирилась совесть с немотой.

А все, что сразу высказать не смог,
Чем вся душа была до боли сжата,
Принес к своей любимой на порог.
А чем она, родная, виновата?

Еще в передней грянула гроза, —
Попробуй сладить с этим раздраженьем! —
И добрые, печальные глаза
Глядели на меня с недоуменьем.

Как будто бы в густом лесу я сам
Тугую ветку оттянул упруго,
И вот она хлестнула по глазам
Ни в чем не провинившегося друга.

1958

* * *

Мы все облучены,
Больны одной болезнью,
Мы все обречены —
Уловки бесполезны.

Как будто ничего
На теле нет,
Но разве
Нам легче оттого,
Что скрыты наши язвы.

Уж лучше б волдыри
Скорей пошли по коже:
Ведь что ни говори,
А это ясность все же.

И ради всей земли
Иные поколенья
Скорее бы нашли
Пути для исцеленья.

1959

ПУСТЫРЬ

Сколько лет мы видим этот дом —
Ни куста, ни деревца кругом.

Своего соседа не пойму.
Как же так:
Весь век в своем дому,
На земле родной
Землею жить —
И не знать ее, не полюбить?
Очень занят?
Некогда ему?

Хоть бы раз он руки натрудил:
Если ни цветов, ни деревца,
Хоть бы редьку, что ли, посадил,
Вырыл бы канавку у крыльца:
В дождь не лужи были бы — ручей...

Самых правильных его речей
Не могу дослушать до конца:
Вдруг встает перед глазами дом
И пустырь...
Сухой пустырь кругом.

1958

ПОЧЕМУ?

Мы с сынком заодно живем —
Вместе думаем, вместе спим,
В рощах воду живую пьем,
Из одной тарелки едим.
Удим рыбу, ищем грибы,
Учим грамоту:
«Мы не рабы!»

Он мне друг,
И я ему друг.
Друг без друга мы как без рук.
Хорошо нам вдвоем.
Но к чему
Эти вечные «почему»?

«Почему?»
«Отчего?»
«Зачем?» —
Разве нету попроще тем?

Вот над пашнями дождь прошел.
— Хорошо тебе здесь?
— Хорошо.
— Не зайти ли в село?
— Зайдем.
В дом зайдем, молока попьем...
— Стосковался о молоке?
— Почему же дом на замке?
— Чтобы воры не взяли чего.
— Кто ворует? Из-за чего?
Почему коршун кур дерет?
А нельзя ли наоборот?

— Вот опять ты вопросов тьму,
Ни к чему это.
— Почему?
Разве я не в своем дому,
Почему не спросить: «почему»?

— Мальчик мой, надо проще жить.
Нам всего не обговорить.
Видишь бор? А в бору забор?
За заборами гладь озер.
Хочешь — щель найдем, поглядим,
О природе поговорим?

Сыну тоже нравится бор.
— Но зачем же в бору забор?
Почему?
— Опять «почему?»!
Сам я многого не пойму...

Сам-то я их задам кому —
Эти вечные «почему»?

1959

В ЧУЖОМ КРАЮ

Я вскочил, как от сна дурного,
От знобящего ветра с реки.
С кем, друзья, не бывало такого?
Сосны стонут,
А с неба ночного,
Как чужие, глядят огоньки.

На душе неуютно, тревожно,
Будто здесь обрывается свет:
И назад повернуть невозможно,
И вперед указателей нет.

Очертанья земли незнакомы...
Но внезапно, обрадовав слух,
То ли из лесу,
То ли из дому
Загорланил совсем по-родному,
По-российски,
По-свойски петух.

Так взревел отрешенно и зычно,
Что леса посветлели вокруг,
И уже совершенно привычным,
Чем-то очень понятным,
Брусничным,
Как из детства, повеяло вдруг.

Словно душу мою воскресили, —
Много ль надо ей добрых примет?
Лишь бы в срок петухи голосили —
И повсюду со мною Россия,
И нигде не кончается свет.

1959

ИСПОВЕДЬ

Я много писал про охоту,
Рассказывал больше того
Про зорьки в лесах, на болотах,
Про меткость ружья своего.

Но молодость на исходе,
И совесть велит:
«Не таи,
Держи ответ на народе
За все прегрешенья свои!»

Наверно, нельзя не стыдиться,
Но надо ж и правду любить:
За всю свою жизнь
ни лисицы,
Ни волка не смог я убить.

Хвалился,
А все же к победам
Касательства не имел.
И что говорить про медведя —
Косули не одолел.

Безвредный, трусливый зайчишка,
Бывало, свисает с плеча,
А сходит он в розовых книжках
За рысь да за сохача.

В охотничьем вдохновенье
Я братьев по шалашу
Вводил,
Так сказать, в заблужденье.
Но вот что заметить прошу:

Я сам себе верил при этом,
Впадая почти в забытье,
Как верят одни лишь поэты —
И в том оправданье мое.

1958

ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ

Тревожно и грозно,
Тем боле, что поздно
И мой наступил
Переходный возраст.

Не слабым слыву,
А в голос реву:
Туда ли плыву я?
Так ли живу?

И спать не могу,
И есть не могу:
В долгу перед всеми,
А что я могу?

Как пень на лугу,
Как тень на снегу,
Как серый валун
На морском берегу...

Чье сердце смягчил?
Кому подал руку?
Кому облегчил
Душевную муку?

Чью старость утешил?
Кого осчастливил?
Кого на дорогу
На торную вывел?

Пред всеми в долгу я,
А чем помогу?
Я много могу.
Ничего не могу.

От горя ушел,
От хвори ушел,
От смерти ушел —
От себя не могу.

1959

* * *

Душа замкнулась от обиды,
Былой доверчивости нет.
Такие повидал я виды,
Что сходит год за сотню лет.

Шпыняли душу не за дело,
Над непохожестью глумясь,
И все, что в ней цвело и зрело,
Со злобой втаптывали в грязь.

Но с каждым днем сопротивленье
Насилью грубому росло.
Ожесточенье —
Не смиренье
Ко мне спасением пришло.

Приняв молчанье как забрало,
Уйдя в себя на много дней,
Душа еще богаче стала
И благородней.
И сильней.

1960

* * *

Мы с детства верили примете,
Что в миг, когда звезда зажглась,
В какой-нибудь избе на свете
Душа святая родилась.

Мы не одну за годы эти
Зажгли звезду.
И, как должно,
Считают люди по примете,
Что много душ на белом свете
За эти годы рождено.

Пусть как хотят о чуде судят —
Мне надо верить, чтобы жить:
Что их и в детстве не застудят,
И взрослых не дадут сгубить,

Что души их не искалечат,
Любовь к добру не заглушат,
Не иссушат живой их речи
И права думать не лишат.

1959

* * *

Есть ощущенье силы и в упрямстве.
Оно как хладнокровие в бою.
Меня не упрекнешь в непостоянстве:
Хоть режь, хоть жги —
Я на своем стою.

Случались в битвах тяжкие просчеты,
Но — кровь во рту,
А мы одно твердим,
Что наше дело правое, и все тут,
Что рано или поздно победим.

И удивляли мир,
И побеждали!
А для кого-то, верно, издали́
Самосожженцев мы напоминали,
Когда на танки со штыками шли.

И мой характер тот.
Неколебимо
Кидает он в неравные бои:
Я, если верю, — верю одержимо.
Самосожженцы — прадеды мои.

1958

ЗАМОРОЗОК

Едва раскрылись первые цветы,
Доверчиво оттаяла природа,
Как снова — вероломство, непогода,
И холодом дохнуло с высоты.

Поутру иней землю обволок,
Черешенка поникла и поблекла,
По мерзлым глыбам застучал ходок,
И в колеях ледок хрустит, как стекла.

Душа дрожит от боли и тоски,
Чуть глянешь на сады, на огороды,
Где, забивая молодые всходы,
Опять ползут и лезут сорняки.

А все ж весна выходит из запруд.
И пусть скворцы попрятались в скворешни —
Не задержать напора соков вешних,
Не онемеют птицы,
Не умрут.

1959

ХОЧУ ВЕСНУ!

Весна возникает не сразу, не вдруг,
Как звук, нарастая издалека —
Из недр снеговых,
Из неясных мук;
Весна начинается с влажных вьюг,
С прибавки неслыханной молока,

С тоскливого ржания рысаков,
С надрывного крика вороньих стай;
Еще не выходит из берегов,
Но рвется,
Но бьет волной через край.

И сколько к смиренью себя ни зови,
Как воздержаньем сердца ни мучь —
Весна поднимает пену в крови,
Теплом пробивается из-за туч.

На ранней заре
Среди бледных звезд
Глухарь, заикаясь, точит тайгу —
Опущены крылья,
Развернут хвост,
И я, как на праздник, к нему бегу.

Луна в отраженье речных глубин,
Как рыба, мечет икру в синеву,
И я,
В синяках от гремящих льдин,
За ней по широким плесам плыву.

Все ухищренья ума не впрок.
Опять не до выдержки,
Не до сна,
Оттаяло сердце,
Пришел мой срок.
— Сдавайся, сдавайся! — кричит весна.

Сдаюсь! —
Мне еще не тысяча лет.
Сдаюсь! —
Восхищенно руки тяну
Туда, где цветенье,
Туда, где свет,
К весне моей, к счастью.
Хочу весну!

1958—1959

ЛЮБЛЮ ВСЕ ЖИВОЕ

Когда-то и я не убить не мог,
Что б ни летело над головой:
Садился за весла — ружье у ног,
Шел в чащу — заране взводил курок,
На жатву брал дробовик с собой.

Стрелял и коршуна и воробья,
Не разбираясь — друзья? враги?
А ныне
На ток хожу без ружья,
Катаюсь на озере без остроги.

Доверие птиц умею ценить:
Бывает легко на душе, когда
Случайно удастся жизнь сохранить
Птенцу, упавшему из гнезда.

Себя самого узнать не могу.
Осинки в лесу зазря не срублю,
В корнях родничок, что клад, берегу,
На муравейник не наступлю, —
Люблю все живое,
Живых люблю.

1959

НОВОЗЕРО

Вот и я побывал в раю —
Оказалось легко и просто:
В Белозерском лесном краю
Обнаружился Сладкий остров.

Так случилось, что ныне он,
Как заброшенный заповедник,
Не распахан, не заселен
И зверьем покинут последним.

Плоский, будто грибной пирог,
С невысокими берегами,
Заберись — и живи, как бог,
Не водись с земными богами.

Многослойная тишина,
Разнотравье и разноцветье...
Да была ль на земле война?
Где, какое оно — лихолетье?

Только крыльев утиных свист,
Только звон зари глухариной,
Небо ясное, воздух чист,
Пахнет рыбою да малиной.

Пусть местами вода мелка,
Но как небо ясное глянет —
Отразятся в ней облака:
Глубже моря озеро станет.

1960

ПО СВОЕЙ ОРБИТЕ

Я как будто родился заново,
Легче дышится, не солгу, —
Ни себя, ни других обманывать
Никогда уже не смогу,
Если б даже хотел, не смогу.

Жизнь при всех ее изменениях,
Мир во всех его измерениях
Для меня теперь по плечу,
Сам за все отвечать хочу.
Так свободны мои движения,
Словно в первый раз от рождения
По своей орбите лечу.

Не вещун
И не старый с виду я,
Так же в праведники не гожусь,
Только больше к людям тянусь.
И горжусь:
Никому не завидую,
За непризнанных не боюсь.

Боль чужую все глубже чувствую
Не могу пьянеть без вина,
Не польщусь на славу стоустую,
Коль без пользы людям она.

Ни к безверию, ни к сомнению
Не причастна душа моя,
Просто стало острее зрение:
Повзрослело мое поколение,
Вместе с ним повзрослел и я.

1959

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ

А разве кто сомневается
В том, что Земля вращается,
Что время свое берет?
Добреет и оснащается
Отчизна из года в год.

Добрее и совершеннее
Становится человек.
И нас, мой друг, без сомнения
Дорогами преображения
Ведет непреклонный век.

Не смять никаким обстоятельствам
Любви нашей к красоте,
К душевной чистоте.
Одно у нас обязательство —
Не изменять мечте.

Давай же будем правдивыми
И впредь
Во всем
До конца:
Бренчаниями фальшивыми,
Писаниями хвастливыми
Не разогреть сердца.

Во имя грядущего нашего
Попробуем не приукрашивать
Ни мыслей своих, ни заслуг,
Ни прошлого, ни настоящего.
Ужели не сможем, друг?

Ужель и с такими близкими,
Родными,
Как мы с тобой,
Нельзя до конца быть искренним,
Доверчивым и невыспренним,
Простым,
Как с самим собой?

1959

Из книги
«БОСИКОМ ПО ЗЕМЛЕ»

О МОЕЙ СВSSТЫНЕ

Больше не могу!
Надо бежать
В северную тайгу,
В зеленую благодать, —
Просто чтобы дышать.

Встану чуть свет,
Выйду на холодок,
А тут ничего нет:
Ни нор,
Ни берлог,
Ни родничка у ног.
Хоть бы какой след.

Но стоит замереть,
Слышу:
шуршит листва,
Слышу:
сопит медведь,
Взлетают тетерева.

Убран урожай,
В воздухе инея звон.
Слышу собачий лай —
С трех,
с четырех сторон, —
Начался гон.

Вся душа дрожит,
Больше не могу:
Вот он, косой, бежит,
Вон лиса на лугу...

Никак не пойму,
Что меня держит здесь:
Нужен кому?
Дело какое есть?

Может, в родном краю
Давно иная жизнь:
И птицы не так поют
И звери перевелись,

И люди не те,
И поля,
И красота не та...
Но это моя земля,
Моя маета и мечта,
Мои святые места!

Святыне не изменю —
Серенькая да своя,
Души не предам огню:
Верующий я!

1961

БОСИКОМ ПО ЗЕМЛЕ

Солнце,
спокойное, будто луна,
С утра без всякой короны,
Смотрит сквозь облако,
Как из окна,
На рощу,
На луг зеленый.

От берега к берегу
Ходит река,
Я слышу ее журчание.
В ней — те же луна, луга, облака,
То же мироздание.

Птицы взвиваются из-под ног,
Зайцы срываются со всех ног.
А я никого не трогаю:
Лугами, лесами, как добрый бог,
Иду своею дорогою.

И ягоды ем,
И траву щиплю,
К ручью становлюсь на колени я,
Я воду люблю,
Я землю люблю,
Как после выздоровления.

Бреду бережком,
Не с ружьем, с бадожком,
Душа и глаза — настежь.

Бродить по сырой земле босиком
Это большое счастье!

1962

ЧИСТЫЙ БОР

Чистый бор — он мелколесьем был,
Не годился даже для охоты,
А какую гриву распустил —
В поднебесье хвоя, будто соты.

Дом отцовский — как он был высок,
А теперь смотрю:
Изба избою!
Как в блиндаж, ступаю за порог,
Стукаясь о верхник головою.

Кто из нас тянул тяжельше воз,
Кто больней скрипит от непогоды:
Отчий дом с годами в землю врос
Или вырос я за эти годы?

1962

НА БОБРИШНОМ УГОРЕ

Завихряется стружка,
Пахнет ягодным бором.
Вырастает избушка
Над Бобришным Угором.

В получасе шаганья
От деревни Блуднова
Жизнь моя, как сказанье,
Начинается снова.

Нет, не в пустынь,
Не в пристань,
Лежебокам на зависть, —
В Чистый бор, как на приступ,
Рядовым отправляюсь.

Только дым закурчавит
Край небес над ущельем,
И поэзия справит
Здесь свое новоселье.

Есть мечта:
В удаленье
От сумятицы буден
Обрести птичье зренье,
Недоступное людям.

Буду схож с Змееедом:
Так отверзнутся уши,
Что душе станет ведом
Говор трав и лягушек...

Заходите, соседи
Из окрестных селений,
Не окажется снеди —
Угощу сочиненьем.

На Бобришном Угоре
Воздух свеж, будто в море,
Родниковые зори,
И ни с кем я не в ссоре.

Ни запоров не надо,
Ни замков,
Ни ограды.
Добрым людям избушка
Круглый год будет рада.

А объявится рядом
Кто с недобрым поглядом —
К тем она повернется
Не передом,
Задом.

1962

ОБНОВА

Вот и крыша готова,
Постланы пол, потолок.
Вырос в бору сосновом
Среди лесных дорог
Терем-теремок —
Охотничий домок.

Вставлены косяки,
Рамы остеклены,
Со стороны реки
Углы осмолены.

У теремка — крыльцо,
Вместо скобы — кольцо,
Желоб для водостока,
Даже конек налицо.

Все — чему сердце радо,
Все — для ума и души,
Детство и юность — рядом,
Рябчики
И поляши.
Большего в жизни не надо —
Только сиди
Пиши.

Летчик нанес на карту
Новый ориентир...
Весь этот хвойный мир
Мне к юбилейному марту.

Некуда больше рваться,
Не о чем тосковать.
С матерью буду встречаться,
С пеньем птиц просыпаться,
Жить, как учила мать...

1962–1963

С МАТЕРЬЮ НАЕДИНЕ

Для всех ты давно уже — бабушка, бабка,
а для меня все — мама.
Для всех я если не дед, то дядя,
а для тебя все — парнишка.

Что знаешь ты о моей жизни?
Жалеешь меня
иль гордишься мною?
Верно, думаешь, что я вышел в люди,
так почему плачешь,
когда я домой возвращаюсь?

Ничего из меня, мама, не вышло,
и мудрость с годами не прибывает,
душа по-прежнему не на месте,
и в ласке твоей, как в детстве, нуждаюсь.

Почему ты, мама, меня сильнее?
Иссохшая, старая,
а не больная.
Пахать бы мне землю, как ты пахала,
зимой ладить дроги,
а летом сани,

и не искать бы иного счастья,
бояться суетности, как заразы!
Ведь нет все равно ничего на свете
милей твоего немудрого крова.

Не будет тебя — куда я поеду? —
Чужие люди займут наш угол.
Но почему ты, мама, боишься,
когда прихожу я к тебе за советом?

1964

* * *

Думалось, не прибраться —
Сору в избе полно.
Может, и не стараться,
Не справиться все равно.

Словно завоеватели
Ночь провели на полу —
Что тебе под полатями,
Что тебе в красном углу.

А помахала веничком,
Тряпкой сырой прошлась,
И оказалось — маненечко,
Ладно, что принялась.

Все уместилось в горсти,
Стоило лишь
Подмести!

1964

ЧЕГО БОЮСЬ?

Вот, кажется, не боюсь ни черта,
А ночью
В лесу,
Когда тени густы,
В груди появляется вдруг пустота,
Как перед прыжком
с большой высоты.

Из-за чего бы?
Ведь я — один:
Ни ветра в верхах,
Ни возни в кустах...
Но из каких-то тайных глубин,
Из недр души
поднимается страх.

Отчаянным называют меня.
Быть может, и впрямь
я таким кажусь,
Был на войне —
не бежал от огня...
Так почему ж темноты боюсь?
Иль неизвестность пугает меня?

Как клеветы —
Темноты боюсь.

1960–1964

ГНУС

Мошкара, комары —
Стон, звон, гуд...
Не съедят до поры,
Так с ума сведут.
Это ж самосуд!

Сколько их?
Да не счесть,
Просто — тьма.
Тьма!
Говорят: нечисть есть.
Вот она сама!

Днем — не сон,
По ночам —
Ни в одном глазу.
Я опух,
Одичал,
Сам себя грызу.

Как туман от болот,
Застя белый свет,
Он плывет — гнус,
Плывет,
Лезет в уши,
В нос,
В рот,
Просто спасу нет.

Разжигаю костер,
Больше не могу:
Запалю весь бор!
Всю тайгу сожгу!

Лучше в пекле,
В аду
Бедовать беду,
Чем такой
Надо мной
На земле
Вой!

1963–1964

МЫ УЖЕ БОSSЛИСЬ

Зря ты не приехал в эту осень —
Родина ведь, что ни говори,
Пишем, пишем,
Просим, просим...
Может, прячут в стол секретари?

А уж столько было красных ягод!
Не соврем —
Лопатами гребли.
Наварили бы варенья на год,
И другой бы снеди запасли.

Наросло грибов на удивленье:
Вот не сей
И землю не паши,
А одно — ищи, соли, суши...
Как у вас там нынче со снабженьем,
Не скудаешься ли? —
Сообщи.

Не послать ли мелких, из отбора
Рыжичков,
Чтоб вспомнил о родне?

Упустил ты золотую пору.
Белых тоже набирали горы —
Даже на лугах, на косогорах...
Мы уже боялись:
Вдруг к войне?

1962

СИВЕРКО

Дует сиверко.
Вечереет.
Скот под окнами месит грязь.
Овцы зябко и нудно блеют,
Будто жалуются, жалеют,
Что погода не задалась,
Осень рано подобралась.

И коровы мычат натужно,
А могли бы и помолчать:
Стали в стойло, жуйте дружно —
Всех подоят.
О чем мычать?
И рогами стучать не нужно.

Или короток день осенний —
Не набили травой боков?
Им бы в ясли охапку сена!
С визгом лезут собаки в сени,
Может, чуют близость волков?
Тьма сочится из облаков.

А еще беспокойней свиньи.
Петухи кричат невпопад...

Надо воду слить из машины:
Ночью, верно, выпадет иней —
Подозрительно красен закат.

1964

ЖЕЛТЫЕ ЛИСТЬSS

Памяти М. М. Денисова

Я сочиняю стихи про желтые листья.
Падают листья в речку,
в холодную просинь...
Может быть, это мои прощальные письма?
Может быть, это моя последняя осень?

Я подбираю старательно
слово к слову:
«Речка — овечка — местечка...
дорогу — логу...»
А сенокосы
по речке Козловке
снова
Снег заметает.
Опять — ни скоту, ни Богу.

Веточный корм собирали молодки, бабки,
Вброд по озерам осоку серпами жали,
Травку таскали домой
по охапке,
по шапке.
А заливные луга
кругом
стоят как стояли.

Меня мужики называют
своим поэтом.
«Как же так?»
«Ладно ли?» —
пишут мне горькие письма.
Что я могу землякам ответить на это?!
Я сочиняю стихи
Про желтые листья...

1963

КРИЧАЛИ ГРАЧИ

Теперь здесь лен-долгунец,

пшеница,
И рожь любой похвалы достойна,
Земля добра.
А в этих границах
Была когда-то
уездная бойня.

Все в памяти живо:
к р а п и в а ,
кустарник,
Высокий забор по берегу речки,
Березы, как в парке...
А п а х л о
овчарней
И кровью,
тоже, конечно, овечьей.

В березах грачи кричали тревожно,
Но жизнь текла —
светла и спокойна.

Работа спорилась,
Все шло как должно:
По форме,
По норме
И в очередь —
Бойня!

И только когда прибывала отара —
Преображалась мирная пристань,
Как будто белые клубы пожара
Врывались сюда
из далей лесистых.

Вдруг начиналось столпотворенье,
Шараханье
от березы к березе.
Куда исчезало овечье смиренье?
Покой и порядок —
Все под угрозой.

Повалят забор
да ринутся с кручи —
Стихию
попробуйте укротите!
Но был на бойне
на этот случай
Баран Гапон,
Баран-предводитель.

Понятно, ему особое пойло,
Запарка,
заварка,
муки в излишке,
Охранный билет,
особое стойло
И никакой там стрижки
и брижки.

Барана пускали
в смятенное стадо,
И он,
отъевшийся,
мудрый и старый,
Легко восстанавливал нужный порядок
И неторопко
Туда, куда надо,
Тянул за собой овечью отару.

Кричали грачи
тревожно,
по-грачьи
Над мирной, как парк,
у е з д н о ю
бойней...
А если б грачи кричали иначе,
Казалось бы — неспокойно.

1963

* * *

Осенью засыпает вода:
Холодна становится и темна.
Много ли из-подо льда
Видит и слышит она?

А ослепнет человек,
Долго ли помнит во мгле
Под ледяною корочкой век
Краски на небе и на земле?

Душа тоже слепнет.
И что ж?
Мутной, как водоем,
Все ей порою вынь да положь
Память о светлом, о былом,
О назначенье своем.

1964

ПОРА И МНЕ

Журавли улетают,
Пора и мне.
Осень листья сжигает
На желтом огне.

Ветер рвет их и мечет,
Расстилает холсты,
На кустах, будто свечи, —
Щеглы,
Клесты.

Лен темнеет на стлищах,
Собрать бы успеть!
Рыба омуты ищет,
Берлогу — медведь.

Даже мыши-полевки
Спешат,
Гнезда вьют.
Все боятся зимовки,
Всем дорог уют.

И друзья мои тянут
На юг, на юг,
Ближе к теплым лиманам —
От морозов и вьюг.

Что ж, у всех свое.
Вижу,
Пора и мне.
Только я хочу ближе
К Печоре,
К Двине,
К родной стороне.

1964

ТОПSSTCSS ПЕЧИ

Задолго до света
ясно и жарко —
Я это вижу с улицы темной —
В домах полыхают печи-пекарки,
Каждая, словно домна.

Стоят за челом чугуны картошки,
Горшки с молоком и щами.
Хвосты задирая, крутятся кошки
У хозяек под ногами.

Затем на столах, покрытых клеенкой,
Появляются груды пищи:
Хлеб в решетах,
Соль в солонках
И черные чугунищи.

Большак просматривает газету
И, оторвав от угла дорожку,
Заранее скручивает сигарету,
По-старому —
козью ножку.

Дети с ложками — стайкой к посуде:
Еда с парком,
духовита.
Доброе утро, добрые люди,
Приятного аппетита!

Покушав
и крошки смахнув в ладошку,
Большак закуривает в охоту.
Уже бригадир стучит под окошком —
Пора на работу!

1962

ЛЕСНЫЕ ДУГИ

О эти дуги над дорогой
В краю синиц,
В краю клестов,
В краю снегов!
Их очень много,
Как над Москвой-рекой мостов.

Нет, не медведи дуги гнули,
Не леший,
Не лесовики.
Мороз стоял на карауле,
Лес обряжая в башлыки.

И ветер дул,
И по неделе,
Ворвавшись в строй молодняка,
Свистя, матерые метели
С землей месили облака.

И как под тяжестью Вселенной,
От напряжения белы,
То постепенно,
То мгновенно
Сгибались тонкие стволы.

Когда ж стихали шум и вьюга —
Лес был неистово красив,
Все дива севера и юга
В себе одном соединив.

Казалось, под давленьем света
Свисали ветви сосен вниз.
Вершины елей, как ракеты
Под небом праздничным, рвались.

И всюду дуги, дуги, дуги —
Снегами стянуты концы:
Чуть тронь —
И вскинутся упруго,
И запоют колокольцы.

И всюду ходы, переходы,
Валы и рвы зимы самой...

И я —
Сам бог и царь природы —
Вхожу под эти чудо-своды
Почти испуганный,
Немой.

1962

ПОСЛЕ СНЕГОПАДА

Снег, словно пыль с полочек,
С хвойных ветвей сбиваю.
Сколько я сосенок, елочек
За день освобождаю!

Как это славно, здорово:
Лес поднимает вершины —
Вскидывает головы
И разгибает спины.

Снежная пыль, как дыхание,
И заполняется воздух
Радужным сиянием,
Будто бы летом, в грозы.

В радуге, что в фейерверке,
И снегири,
И белки:
Сыплется, посверкивая,
В снег шелуха поделки.

Радужен даже валежник —
Вихрей нагромождения,
Речек крутобережных
Глинистые обнажения.

В радуге все, как новое:
Скрыты следы порубок,
Ярки стволы сосновые,
Будто кирпичные трубы...

Лыжи скрипят кленовые.
Стынут щеки и губы.

С палкой бреду бамбуковой —
С пикой былинный витязь,
По деревцам постукиваю:
— Выпрямитесь!
Разогнитесь!

1962

* * *

В этом поле замерзнуть можно —
Снег по грудь,
Никаких примет,
Безнадежно и бездорожно,
Только ветер свистит тревожно,
Только заячий вьется след.

На приволье, а как в неволе...
Если б лыжи, но лыжи где?
А кому-то и в этом поле
Хорошо, как рыбе в воде.

1964

ПОКОРМИТЕ ПТИЦ

Покормите птиц зимой,
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.

Не богаты их корма,
Горсть зерна нужна,
Горсть одна —
И не страшна
Будет им зима.

Сколько гибнет их — не счесть,
Видеть тяжело.
А ведь в нашем сердце есть
И для птиц тепло.

Разве можно забывать:
Улететь могли,
А остались зимовать
Заодно с людьми.

Приучите птиц в мороз
К своему окну,
Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну.

1964

* * *

Лес поседел от инея,
Бел, как сама зима,
Что ему дюны синие,
Снежная кутерьма!

Закостенев от холода,
Он терпеливо ждет:
Ранней весною молодость
Снова к нему придет.

Мне ничего похожего
Не принесет весна,
Вот почему встревожен я, —
Жизнь у меня одна.

Все невозвратно:
Сильный ли,
Слабый ли человек,
Раз лишь прихватит инеем
И седина навек.

1965

SSCНЫЙ ДЕНЬ

В изморози, что в пене,
Голые ветви берез.
Роща как стадо оленей,
Сгрудившихся в мороз.

А день до того наряден,
Что и сказать не могу.
Тени от палисадин —
Лесенкой на снегу.

В солнечном одеянье —
Милые вы мои! —
Кажутся снегирями
Серенькие воробьи.

1964

РОДНЫЕ СЛОВА

Родные, знакомые с детства слова
Уходят из обихода:
В полях поляши́ — тетерева,
Летятина — дичь,
Пересмешки — молва,
Залавок — подобье комода.

Не допускаются в словари
Из сельского лексикона:
Сугрёвушка,
Фыпики — снегири;
Дежень,
Воркуны вне закона.
Слова исчезают, как пестери,
Как прясницы и веретена.

Возилкой
Неполный мешок с зерном
Вчера назвала мельничиха,
Поднёбицей — полку под потолком,
Клюкву — журавлихой...

Нас к этим словам приво́дила мать,
Милы они с самого детства,
И я ничего не хочу уступать
Из вверенного наследства.

Но как отстоять его,
Не растерять,
И есть ли такие средства?

1962

ПЕСНSS БЕЗ СЛОВ

Пусть ни грибов, ни ягод в лесу —
Он все равно хорош.
Каждое утро что-то несу
В дом из окрестных рощ:

Чаги кружок,
Черенок для ножа,
Корень,
Охапку дров,
Шишку, похожую на ежа,
Песню,
пока без слов...

Пусть тишина,
В глуши ни души —
Все равно гул в ушах:
В шорохи трав и в шумы вершин
Вслушиваюсь не дыша.

Неба не видно,
Но там и тут
До колдовского дна
То озерцо полыхнет, то пруд —
Та же голубизна.

И ничего, что птичий отлет,
Что опадает листва —
Песню нашел,
и она живет,
Сыщутся и слова.

1962

ОГОНЕК

Светлячок во мгле —
Огонек в лесах.
Может, он на земле?
Может, в небесах?

Может, свет костра
Мерцает вдали?
Может, звездочка —
Сестра
Нашей земли?

В бесконечной ночи
Тьма густа, пуста.
Но не меркнут лучи
Светлого поста.

Изнемог,
Сбился с ног,
Но горит впереди
Огонек,
        огонек —
Свет в моей груди.

1962

ВЕШНИЕ ВОДЫ

Ждать остается недолго,
Чую: близка весна!
Тронется матушка Волга,
Следом за ней Двина.

И, подпирая друг друга,
Тронутся наверняка
Вычегда
И Ветлуга,
Вологда
И Ока.

Льдины вздыбив до неба,
Хлынут красою всей
Пинега
И Онега,
Лена и Енисей.

Тронутся — не остановишь
Солнечным током смол
Мимо рыбачьих становищ,
И городов,
И сел.

Грохотом обдавая,
Холодом леденя,
Грянет передовая
С ходу
Всей мощью мая,
Зелени и огня.

К северу, к югу —
С ходу
В сторону морей
Хлынут вешние воды...

Хлынули бы скорей!

1963

ВЕСЕННЫЕ БОЛТОВНЯ

С зимы о весне мечтаем,
Живем, как в волшебном сне,
Болтаем,
Болтаем,
Болтаем
О ростепели, о весне.

А стужа —
Она крепчает,
Все толще на речках лед,
И ветер, свистя, наметает
Сугробы у наших ворот,

До самых высоких окон,
До чердаков,
До крыш.
А до весны далёко,
Далёко —
Не разглядишь.

Деревья сгибают плечи
Под тяжестью снежных глыб,
Клестам пробиваться нечем,
И воздуха нет для рыб.

Солому с сараев срываем —
По норме скоту корма,
И все болтаем,
Болтаем,
Что не навек зима.

А только весна наступит,
Сломает,
Растопит лед —
Вода забурлит, как в ступе,
И тоже
Болтать начнет.

1963

ДОБРУ ОТКРОЕТCSS СЕРДЦЕ

Не свалит меня бездорожье,
Я с детства ходил без сапог
И сколько б теперь ни прожил —
Ничто для дубленой кожи
Неровность лесных дорог.

Без страха брожу по осоке,
По гальке,
Через поля.
Дресвы не боюсь на тропке...
Все лишние электротоки
Берет из меня земля.

А с ними,
Почти бесследно
Рассасываясь, как вода,
Все злое,
Дурное,
Вредное
Уходит в песок навсегда.

И остается в теле,
В душе
После долгих бед
Лишь то,
Без чего ни веселья,
Ни счастья на людях нет.

Мне просто необходимо
Босым по земле ходить,
Чтоб верить,
И быть любимым,
И самому любить.

Ступи, мой товарищ, попробуй
И ты в холодок росы,
Сорви надоевшую обувь,
Пройдись по земле босым!

В глаза, будто память о детстве,
Зеленые глянут места,
Добру откроется сердце
И совесть будет чиста.

1963

ВСЁ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Шел дождь,
небо соединялось с землей,
шумели сосны,
над бором погрохатывало.
А городской человек
вошел в глубь леса,
осмотрелся
и ахнул:
— До чего хороша тишина!

Сколько же он должен был страдать
от нестройного гула и звона,
от лязга и крика,
сколько лет должен был кричать сам,
чтобы вдруг,
забредя в лес,
где просто — муравьи и птицы,
мох и звонкоголосый родничок, —
так вот почувствовать,
так до слез полюбить тишину?!

И сколько лет
должен был человек
мотаться из города в город,
ютиться в кирпичных и железобетонных домах,
дышать дымом и пылью,
пить нечистую хлорированную воду,
принимать по утрам пирамидон
от головной боли,

чтобы, наконец,
в обыкновенном лесу
обрадоваться, что на подошвах его
не грязь, а хвойные иглы и листья,
и удивиться,
и сказать самое простое:
— Все в этом мире для человека,
почему же он не понимает,
как хорошо жить в лесу?

1963

ЛИРИЧЕСКОЕ БЕСПОКОЙСТВО

Что-то мешает
Работать с охотой.
Все не хватает
В жизни чего-то.

Днем не сидится,
Ночью не спится...
Надо на что-то
Большое решиться!

С кем-то поссориться?
С чем-то расстаться?
На́ год на полюсе
Обосноваться?

Может, влюбиться?
О, если б влюбиться!
Что-то должно же
В жизни случиться.

Если б влюбиться,
Как в школе когда-то,
Как удавалось
В седьмом
И в десятом —

До онеменья,
До ослепленья,
До поглупенья,
До вдохновенья!

Снова стоять
На морозе часами,
Снова писать
Записки стихами.

Может быть, в этих
Наивных записках
Вдруг обнаружится
Божия искра.

И превратятся
Мои откровения
В самые лучшие
Стихотворения.

1961

ЕСЛИ Б ТЫ ПОДАЛ ГОЛОС...

Когда я в лесу заблудилась
И, выбиваясь из сил,
То плакала, то молилась,
Мой милый, скажи на милость,
Ты где в эту пору был?

Когда поднялась непогода,
Ночь выла на все лады —
Искал ли мои следы?
Ведь если б ты голос подал,
Не было бы беды.

Ах, если б ты пода́л голос,
Аукнул хотя бы раз,
Душа бы моя боролась,
Отчаянью не поддалась!

И этих сомнений му́ка
Не выросла б до небес...

Но, может быть, ты аукал,
Да я не слыхала —
Лес!

1962–1964

ГОЛОСА ВЕСНЫ

Весна всему свой голос дарит —
Воде, листве, земле — всему:
Кострам в лесу
И птичьей паре,
Глазам
И сердцу моему.

Все началось с простой капели,
И вот уже текут снега,
И зажурчали,
зазвенели
Деревья,
Воздух
И луга.

Несется плеск с речных излучин,
В овраге ветер струны рвет,
Весь мир разбужен
И озвучен
И дирижеру смотрит в рот.

С утра в бору —
Зачем, не знаю —
Мну старый ягодник, траву
И повторяю, повторяю
Свое пытливое «ау»!

Слух напряжен,
И сердце бьется,
Я словно чуда жду в глуши:
Быть может, кто-то отзовется
На музыку моей души.

1964

ТАРУСА

К. Г. Паустовскому

Лежу на краю зеленой земли.
В небо врезаны сосны и ели.
Трудятся пчелы,
Гудят шмели...
Наверно, так с сотворенья земли:
Пчелы трудились,
Шмели гудели.

И мне захотелось от диких пчел
Урвать дарового меду.
Весь день искал,
Ничего не нашел:
Непросто теперь набрести на пчел,
С медом найти колоду.

Зато какие леса, небосвод,
Воздух — не надышаться!
А пчелы...
Пускай роятся,
Пускай для себя собирают мед!..
Лежу на земле,
Гляжу в небосвод —
Не на что обижаться.

1961–1962

МЕДВЕДSS МЫ НЕ УБИЛИ

Феликсу Кузнецову

Медведя мы не убили,
Но я написал рассказ
О том, как медведя убили,
Какие мы храбрые были,
Когда он пошел на нас.

Как вздыбился, зарычал он.
И как он потом затих,
Охотничьего материала
Хватило еще на стих.

В журнале меня хвалили
За правду,
За мастерство...
Медведя мы не убили,
Не видели даже его.

И что еще характерно:
Попробуй теперь скажи,
Что факты не достоверны, —
Тебя ж обвинят во лжи.

1965

ВАШИ УСПЕХИ

Вы знаете, что́ у нас за плечами!
А что у вас за плечами?
Вы пальцы сосали,
Вас в люльках качали,
Когда фашисты в дома к нам стучали
Железными сапогами.

В те годы рифмы своеобычные,
Не в меру лиричное слово
Воспринималось
как неприличие,
А местоимение личное —
Как посягательство на основы.

Теперь вы — глашатаи,
Вы новаторы,
Вниманием девочек умащенные,
А мы — эпигоны,
Мы консерваторы,
У нас и рифмы традиционные.

Ну что ж, приму ассонансы и лесенку,
Только бы знать, что это не суетность,
Что вы не спасуете,
Не перелицуетесь
И против своих рядовых ровесников,
Чего б ни стряслось,
Не проголосуете.

История делает то, что следует,
И мы ни ей, ни вам не помеха.
Но не считайте своей победою,
Только своею,
Ваши успехи.

1964

СЧАСТЛИВ ЛИ SS?

Что я за человек?
Счастлив ли я? —
Не могу об этом не думать.

В темном зале кино,
если экран не кривое зеркало, —
я
плачу,
над книгой правдивой
плачу,
над горем людским
плачу.
Мне тяжело, когда не могу помочь.

А за себя все-таки радуюсь:
значит, сердце мое не зачерствело,
душа у меня живая,
я — человек.

И когда сам пишу книгу,
и совесть моя не спит,
и, доходя до исступления,
я тоже плачу —
гордости моей нет предела:
значит, есть и во мне искра Божия,
не зря меня кормит народ
своим хлебом.

Но плачет ли кто-нибудь
над моими книгами?
Счастлив ли я?..

1964

ПЕРЕГРУЗКА

Вся жизнь в перенапряжении
Порой до потери чувств,
Отрыв от земли,
Кружение,
Снижение, торможение
И, наконец, спуск.

И новое воспламенение,
И новое самосожжение...

Какие нервы выстоят,
Какое здоровье не сдаст?
Наслаиваются неистово
Волнения пласт на пласт.

Ни у друзей, ни дома,
ни на пиру
Спокойствие незнакомо,
не по нутру.

1964

* * *

Не хочу озлобленья!
Озлобленье как старость:
Меркнет воображенье,
Пригибает усталость.
Духоборов все меньше,
Крохоборов все больше...
Где оно, вдохновенье?
Что от счастья осталось?

1965

К ТЕБЕ ОБРАЩАЮСЬ, ДУША MOSS!

Когда меня еще не было —
поэзия существовала.
Поэзия останется,
когда меня уже не будет.
Она повсюду:
в природе, в людях,
во мне
и вне меня,
как световые лучи
и как радиоволны —
в атмосфере
и в космосе.

Стихи существуют и не написанные,
не зарифмованные,
не напечатанные,
еще не почувствованные никем,
как антимир,
и пока не уловленные,
как биотоки Вселенной.

А поэт — вроде приемника.
И, если он настоящий поэт,
не сбитый с толку славой и наградами,
не чиновник, а человек,
думающий и страдающий,
он пропустит волны поэзии
через свою судьбу,
через свою душу.

Весь мир — поэзия.
И я обращаюсь к тебе, душа моя:
будь хорошим приемником,
чутким,
многодиапазонным,
всеволновым, как двадцатый век, —
приглушена одна волна,
переходи на другую,
чтобы ощутить поэзию
как биотоки людских сердец.

1964

ГРАНИЦЫ ДУШИ

А душа у меня есть.
И у нее свое зрение,
и свой слух,
и память,
и свой сказочно богатый мир,
а это целая держава,
в которой царит воображение
да желание добра и правды.

Зрение души удивительно —
и оно тоньше ультрамикроскопов,
сильнее любых локаторов.
Она видит в пространстве
и во времени,
проникает в глубь веков,
заглядывает в самое себя.

И слух у души
совершеннее морских эхолотов —
слышит душа музыку вечности,
голоса цветов и трав,
их рост и дыхание.
А память души — это граничит с чудом.

Берегите душу,
раздвигайте ее границы,
расширяйте ее полезную площадь,
чтобы приблизиться к будущему.

1964

ЗАПАСАЕМCSS СВЕТОМ

Федору Абрамову

В край добра и чудес
С прежним рвусь интересом.
Я из тех самых мест,
Где семь верст до небес
И все лесом
Да лесом;

Где в затонах озер
Лебединые крепи,
Тундры снежный простор —
Вроде южные степи;

Где ветров ералаш
Да сумёты по пояс
И, как пригород наш,
За Архангельском —
Полюс.

У полярных широт
Быт порою неласков,
Не всегда мед течет
По усам
Даже в сказках.

Грех на море пенять —
Рыбы вдоволь,
А все же
Золотую поймать
Не случалось,
Не можем.

Не всегда на обед
Апельсины
И дыни.
Неразменных монет
Тоже нет и в помине.

Рукавицы в мороз
Прикипают к ладоням.
С храпом тянут свой воз
И олени,
И кони.

Слава наша хрупка,
Вечны только мерзлоты.
Но моим землякам
Любы эти широты.

Ночи долги невмочь,
Но зато мы уж летом
На всю зимнюю ночь
Запасаемся светом.

1963–1964

Из книги
«ДЕНЬ ТВОРЕНЬц»

* * *

Я обречен на подвиг,
И некого винить,
Что свой удел
свободно
Не в силах изменить,

Что этот трудный жребий
Приняв как благодать,
Я о дешевом хлебе
Не вправе помышлять.

Щадить себя не вправе,
И бестолковый спор
О доблестях, о славе
Не завожу с тех пор.

Что ждет меня, не знаю,
Живу не как хочу
И ношу поднимаю
Себе не по плечу.

У бедного провидца
Так мал в душе просвет,
Что даже погордиться
Собой охоты нет.

А други смотрят просто,
Какое дело им,
Крещусь я троеперстно
Или крестом иным.

Как рыцарь старомодный,
Я в их глазах смешон.
Да нужен ли мой подвиг?
Ко времени ли он?

Земли не чуя сдуру,
Восторженно визжа,
Ползу на амбразуру,
Клинок в зубах держа.

1966

ПЕРЕХОДНЫЕ ВОПРОСЫ

Константину Георгиевичу Паустовскому

А в чем моя вера?
Опора?
Основа?
Кого для примера
Брать —
Снова Толстого?

С ружьем зачехленным
Без дела до осени
Томлюсь,
Окруженный
Пустыми вопросами,

Конечно, проклятыми,
Конечно, немодными,
Давно — бородатыми,
И всё — переходными.

«Любить своих ближних?
Трубить славу жизни?..»
А если не любится?
А если не трубится?

«О слабых заботиться?
За сильных тревожиться?..»
А если не хочется?
А если не можется?
А если в судьбе у меня бездорожица?

Не новую повесть
В душе перетрясываю:
«А, может быть, совесть
Понятье внеклассовое?..»

«А, может, все пошлое,
Фальшивое,
Грошевое,
Продажность
И ложь
Не назовешь
Пережитками прошлого?»

Какой мерой мерится
Моя несуразица?
И в Бога не верится,
И с чертом не ладится.

1966

О ПОГОЖИХ ДНSSX И ХОРОШИХ ЛЮДSSX

Когда мне трудно дышится
и кашель,
подобно минометному обстрелу,
гнетет к земле, —
последствия войны! —
когда врачи ничем помочь не в силах,
в груди и слякотно и непролазно,
как в бездорожье, —
я стараюсь вспомнить
о днях погожих,
светлых и сухих,
а их в году бывает больше все же,
конечно больше,
чем промозглых дней.
И любопытно:
вдруг слабеет кашель,
продует бронхи свежий теплый ветер,
как будто две таблетки антастмана
я проглотил
иль подышал в бору,
на родине,
где мы живицу гнали...

Когда меня сгибают неудачи,
растерянность душой овладевает,
бессонница и страх, —
бывает все! —
я вспоминаю о хороших людях,
о тех, мне близких
и не очень близких,
а просто повстречавшихся в дороге,
о людях с чистой совестью бойцов,
которых больше все же на планете, —
конечно, больше! —
чем приспособленцев,
чем карьеристов и самоснабженцев,
бесстыжих болтунов и графоманов, —
и мне становится легко на сердце,
ну, не совсем, быть может,
но спокойней,
и хочется еще пожить на свете,
полюбоваться небом и землей.

1966

МОЛИТВА МАТЕРИ

В комнате матери нет иконы,
Она не бьет никому челом,
Ни ранним утром,
Ни перед сном
Не отвешивает поклоны.
Но светлую эту молитву
Мы видим в ее глазах,
Она звучит в ее голосе
Денно и нощно.

Заступница, дай мне большую душу,
Сердце доброе,
Око недремлющее,
Голос мягкий, отходчивый, ласковый,
Руки крепкие, незлобивые, —
Очень трудно матерью быть!

Не власти прошу,
Не за деньги стою.
Вдохни, Сердобольная, в грудь мою
Столько любви и силы,
Чтоб до могилы
На всю семью —
На мужа, на сына, на дочерь мою, —
На каждый характер хватило,
На все их сомнения
И смятения,
На спотыкания и причуды,
На завихрения
И увлечения,
На заблуждения
И остуды.

Только любовь раскрывает сердца,
Лишь перед ней отступает горе.
Мне нужно очень много любви.
Ты — Мать,
Ты меня понимаешь...

1967

МИЛОЕ МОЕ ГОРЕ

Вытянулась семья —
Дочери и сыновья.
Верилось:
С ними
Стану сильнее я.
Стал не сильнее я —
Еще ранимей,
Еще уязвимей.

Думалось:
Что ни год,
Мне будет легче,
Доля моих забот
Ляжет на их плечи.

Но годы идут, идут —
Покоя не знаю:
То в техникум,
То в институт
Сам поступаю.

Опять зачеты сдаю,
Дрожу понемножку.
Перелицовываю свою
Ношеную одежку.

Историю с дней Петра
Зубрю снова:
История —
Стара,
Пособия —
Новы.

Не труд — глагол проспрягать.
Трудней и серьезней
Заново перемогать
Опасный возраст.

Я как в огне, на войне.
А чем озабочен?
Дочь влюблена,
А мне
Не спать ночи.

Что за дружки у сынка? —
Не было б худа.
Письма пришли — откуда?
Сразу три дневника —
Только ль причуда?

Странно, что в век машин,
Атомных бомбовозов
Для них не решен ни один
Из роковых вопросов.

Юноша, стиснув рот,
Заново определяет:
Ради чего живет?
Из-за кого страдает?

Что такое любовь?
Где обитает совесть?
И все —
Не в глаз, так в бровь,
В самую душу то есть.

Дочери и сыновья —
Милое мое горе,
Вечная мука моя!
Какое уж там подспорье...

За редкий часок без забот —
Страшнее всех суеверий,
Страшнее, чем эшафот,
Вечно в душе живет, —
Вечно!
Из года в год! —
Страх потери.

Вдруг да опять война —
Что будет с ними?
Теперь у меня она
Все отнимет.

1965–1967

ЭКО ДЕЛО!

Дерево пожелтело.
С этого началось:
Что-то в нем задубело,
Сдвинулось,
Надорвалось.

Может — слоев смещенье,
Скрытое до поры,
Как при землетрясенье —
Складок земной коры?

И потекла живица
Лавой
К ногам ствола,
Чтоб янтарем сгуститься;
Может, начало зла

Было в безмерном росте:
К небу вознесено,
Стронцием-90
Дерево облучено?

Или жучки-короеды
Взяли его в полон?..
Сверху валились беды,
Снизу,
Со всех сторон.

Кто-то инициалы
Вырезал на стволе,
Сук в снегопад сломало...
Мало ль какие шквалы
Гнули его к земле!

Желтые в хвое пятна —
Желтая сыпь в бору.
Поналетели дятлы,
Выстукали кору.

Выдюжит ствол могучий, —
Жалко его рубить!
Может, на первый случай
Следует полечить?

Может, лишь отдыхает,
Не умирает оно,
Просто наряд меняет,
Стужей обожжено?

Просто чуть приболело.
Справится —
Не бревно!

Но уже все решено:
— Дерево?
Эко дело!
Лесу вокруг полно.

1966

ОТХОДНАSS

О как мне будет трудно умирать,
На полном вдохе оборвать дыханье!
Не уходить жалею —
Покидать,
Боюсь не встреч возможных —
Расставанья.

Несжатым клином жизнь лежит у ног.
Мне никогда земля не будет пухом:
Ничьей любви до срока не сберег
И на страданья отзывался глухо.

Не завершил ни одного пути.
Как незаметно наступила осень!
Летит листва.
Куда уж там летит —
Ее по свету шалый ветер носит.

Потери сердца людям не видны,
А радости стучатся в дверь все реже.
Ни от своей,
Ни от чужой вины
Не отрекаюсь,
Но долги все те же.

Сбылось ли что?
Куда себя девать
От желчи сожалений и упреков?
О как мне будет трудно умирать!
И никаких
нельзя
извлечь уроков...

1966

ДЕНЬ ТВОРЕНЬSS

Михаилу Дудину

Восемь цыплят вылупилось,
Одно яйцо недозрело,
Так сказать, уцелело.
Но курица не горевала
И па́рить больше не стала,
Судьба одного цыпленка
Ее не занимала.
Ей восьмерых хватало.
Она их к порогу скликала,
Квохтала, будто подсчитывала,
И под себя подгребала.

Что же это девятое
Яйцо —
Ужель пустотело?
Я взял его в руки:
Белое,
Целое, как и было.

Концом перочинного шила
Расковырял скорлупку,
Расколупал,
Раскупорил,
И там оказалось... тело.
Там было живое тело.
Вот ведь какое дело!
Еще не цыпленок — тело
Цыплячье,
В крови, в ворсинках,
В остатках желтка,
В волосинках.
Круглое это тельце
Дышало и жить хотело.

Я стал —
Сначала несмело —
С жизни чуть теплой, хрупкой
Снимать скорлупу за скорлупкой,
Стал отделять от живинки
Мертвые скорлупинки,
Как плод живой от последа.

А будет ли победа?
Ох, как же мне было страшно!
Как молодой повитухе,
Девочке-акушерке.
Секунды решали дело.

Но робость моя проходила.
Очистив от крови цыпленка,
Я положил его в тряпку,
Затем в мохнатую шапку,
А в шапке
На теплую печку.

И вот мой младенец ожил
В шапке, как в люльке, в зыбке.
Ожил! —
Спасибо, Боже! —
Забился, закопошился,
Зацевкал
И опушился.
Голос его был звонок.
Это уже был цыпленок.

Ах ты, мой соколенок!
Орленок ты мой!
Миленок!
Родимый ты мой, рожёный,
Я — крестный твой нареченный.

Потом пора настала,
И клушка его признала.
А я отошел в сторонку,
Счастливый до умиления,
До слез,
До вдохновения,
Как Бог в первый день творения.
Я жизнь сохранил цыпленку,
Пусть хоть одну,
Хоть цыпленку,
Но — жизнь!
Без преувеличения.

1966

ПОЧЕМУ НЕ УДИВЛSSEMCSS

Почему-то без удивления
Смотрим на небо, на поля,
И — восторженно,
С умилением
Пересказываем сновидения,
Хоть и в снах
Все та же земля.

А деревья-то зеленые!
А в озерах
Вода в цвету.
А в воде, что стрелы каленые,
Листья длинные,
Заостренные,
Оголенные,
Опушенные...
И все тянутся в высоту.

В небе крылья птиц распростертые,
Тучи, радугами подпертые,
Камни скал в кореньях витых.
Видно, скалы тоже не мертвые,
Раз деревья растут на них.

Над рекою кручи размытые.
Я на срез отвесный гляжу,
Будто в недра земли открытые
По ступенькам цветным вхожу.

Налюбуюсь ли на нарядную,
Ненаглядную землю-мать,
Непарадную,
Неоглядную?..
Так всему в этом мире радуюсь,
Будто завтра его покидать.

И тоскливо мне одному —
Будто завтра конец всему.

1966

НОВЫЙ БЕРЕГ

Никаких таких Америк,
Знаю, не открою.
Юг-река меняет берег
Под моей Горою.

Клин песчаный намывает
Под обрыв сосновый,
Удлиняет,
Уплотняет...
Где-то старый берег тает,
Нарастает новый.

Верю, примутся деревья
На косе посадом.
Встанет целая деревня
С моим домом рядом.

Даже город будет, верю.
Пусть не очень скоро...

Намывает новый берег
Под моим Угором.

1966

СЛЕДЫ НА СНЕГУ

По опушке рощи,
Около воды —
Вязью по пороше
Свежие следы.

Разбираю почерки:
Вот чей-то скок,
Лисьи цепочки,
Птичий бисерок.

Кривули чьи-то —
Чьи? — не узнать —
Прошвой вшиты
В белую гладь.

Протянула мышка
Тесьму хвостом...
Вязанье,
Вышивка
Гладью
И крестом.

Косачи — крестиком,
Рябчики — тож;
Куропаток шествие —
Понимай как хошь.

Заячье плетенье —
Смех и грех:
След с оформленьем —
К ореху орех.

Чудо, что творится,
И все — на виду:
Не птицы — кружевницы,
Пяльцы и спицы,
Коклюшки в ходу.

Вот как разделано!
Дивлюсь пестроте...

Все на снежно-белом
На тканом холсте.

1966

ГЛУХАSS ЗИМА

Ночь долгая, как на полюсе.
Как на зимовке мы.
У хвойного ветра в голосе
Дыханье глухой зимы.

Почти нежилые, мертвые
Дома на краю земли, —
Похоже:
Во льдах затертые
Безмолвные корабли.

А я — под медвежьим пологом,
От шерсти спирает дух.
Ударил бы где-нибудь колокол
Или рубанул петух!

Все путано-перепутано,
Не спится,
А вижу сны.
Наверно, до зорьки утренней
Не ближе, чем до весны.

Над башенкой лопоухою
Дрожащие огоньки,
И буфера не бухают,
И не гудят гудки.

Совсем извела бессонница...
Лежу, напрягая слух:
Во всем городке ни звонницы
И хоть бы один петух.

1966

ЛЕСОСЕКА

Птицы еще на гнездах,
Будто в тепле папах,
Но уже хвойный воздух
Выхлопами пропах.

Вклинились лесосеки
В мир, где перо и пух,
А ведь казалось —
Вовеки
Здравствовать без заварух.

Визг бензопил страшен.
Если бы только он!
Сосны, как в рукопашной,
Гибнут
Со всех сторон.

Чибис машин не боится:
Гром —
Стало быть, гроза.

Но — человечьи лица!
Но — человечьи глаза!

В ночь подышав свободней,
Рябчики,
Глухари
Ждут, будто кары Господней,
Индустриальной зари.

Некуда скрыться,
Нечем
Гнезда от бед прикрыть,
Втягивай голову в плечи,
Если охота жить.

Взвиться бы к небу
В паре,
Там никаких границ!
Но не пари́ть,
А па́рить
Май принуждает птиц.

Сжались до неприличья —
Робкие,
Курья стать,
Даже обличье
Не птичье, —
Где уж таким летать.

Голодно и морозно.
Все ж,
Презирая смерть,
Птицы сидят на гнездах —
Надо ж кому-то сидеть.

Страх изнуряет, треплет, —
Терпят всему назло,
Лишь бы птенцы окрепли,
Встали бы на крыло.

1966

КУЛИК

В болоте целый день ухлопав,
Наткнулся я на кулика.
Он из гнезда, как из окопа,
Следил за мной издалека.

Как трудно быть ему героем:
Того гляди, возьму живьем,
А он один в гнезде своем,
Как в поле воин
Перед боем
С противотанковым ружьем.

Взлететь иль нет?
А вдруг замечу,
Со всем хозяйством загублю?
А не замечу —
Искалечу,
Ногой сослепу наступлю?..

Зачем играть со смертью в прятки?
Я на него взглянул любя
И — мимо, мимо без оглядки...
Сиди, родимый,
Всё в порядке,
Я просто не видал тебя.

1966

МУХОМОРЫ

Из кустов, как с экрана,
Смотрят в очи Вселенной
То шатры Чингисхана,
То Василий Блаженный.

Прохожу коридором
По сосновому бору:
Счета нет мухоморам —
Мухомор к мухомору.

А отсюда, бывало,
На телегах, навалом,
Снедь лесную возили,
Пестерей не хватало.

Вдоль борушки-опушки,
Словно девочки в школе,
Бесенились волнушки
С бахромой на подоле.

Табунились маслята,
А по влажному скату
В листьях прятались грузди,
Как зайчата в капусте.

Даже белые были —
Что ни год в изобилье
Выносила их осень,
Как хлеба на подносе.

А теперь тут заборы
По всему косогору
И одни мухоморы —
Мухомор к мухомору.

Разнородны и ярки,
Как заморские чарки,
Как ковры на паркете,
Как почтовые марки
На зеленом пакете.

Длинноногие франты
В чужеродном наряде.
Наглые оккупанты
На победном параде.

1967

ЛУННАSS НОЧЬ

Еле вылезла луна
Из-за облаков —
И земля опять видна
Вся, и сверху и с боков,
Словно вдруг из тьмы веков
К свету выбилась она
Из вселенских тайников.

Припадаю лбом к стеклу.
Улица освещена.
А внутри изба черна —
Что за печкой,
Что в углу.
Лишь сияют три окна
На некрашеном полу:
Как в колодцах глубина,
Холод чувствует спина.

Повернусь спиной к стене —
Все равно темно в избе,
Непроглядней, чем в окне.
Мне в родимой стороне,
У себя
Не по себе.
Еще больше при луне
Мне в избе
Не по себе.

1967

СВОЕ ДОБРО

Кончились радости осени. Дождь.
Небо слезится,
Тучи, как дым.
Ты меня в город, домой зовешь,
Ждешь, как отходника.
С возом каким?

Груз мой — корзины да пестери,
Не из-за моря —
Свое добро.
Хочешь, боченок груздей бери,
Туес брусники,
Клюквы ведро.

Как говорят, чем богат, тем и рад,
Что уродилось,
То и везу.
Разбогатеть не смог, виноват,
Не за границами жил — в лесу.

Чем занимался?
Да просто жил,
Сил набирался,
Жил и дышал.
Рад, что ничьих не вытягивал жил,
Людям на горло не наступал.

Не говорю, что горе прошло, —
Свыкся.
У всякого свой удел.

Все-таки что-то произошло:
Тучи, как дым, и дождь,
А светло.
Осенью даже лес посветлел.

1967

В КОНЦЕ ПУТИ

Пашни, поженьки, перелески,
Как в кино скоростном, летят.
В окнах мечутся занавески,
Будто выброситься хотят.

Для последнего перегона
Вместо дымного паровика
Встал в упряжку к мокрым вагонам
Черт с рогами,
В броне бока.

Отшатнулся состав в испуге,
Напружинился, задрожав.
К проводам подлетели дуги,
Словно вожжи в руках зажав.

И — пошел!
Мимо людных станций,
Без стоянок,
Скорей, скорей!

Визг железа,
Да стук дверей,
Да мелькают протуберанцы
Электрических фонарей.

И чем ближе конец дороги,
Дом, семья, —
Тем сильней, больней,
Тем неистовей гром тревоги
На путях
И в груди моей.

А потом,
Будто с крыши голубь,
Крылья складывая на лету,
Я с вокзала валюсь, как в прорубь,
В суматоху и суету.

1966

МЫ БЫЛИ МОЛОДЫ

В голоде,
В холоде,
В городе
Вологде
Жили мы весело —
Были мы молоды.

Я со своей богоданной
Ровесницей
Под деревянной
Под жактовской лестницей.

В крошке-сторожке,
В сарае ли —
помните?
Нам-то казалось:
В отдельной комнате.

Были мы молоды,
Не запасливы:
В голоде, в холоде —
Все-таки счастливы.

Крови давление,
Сердца биение
Были нормальными
На удивление.

Как чудесами
Кичились крылечками,
Да туесами,
Да русскими печками.

Окна в узорах,
Кровли с подкрылками,
Охлупни в небе
С коньками,
С кобылками.

Не горевали,
Что рядом, на площади,
С сеном, с дровами
Тонули лошади.

Мы колеи бутили
Поленьями,
Мы тротуары мостили
Каменьями.

И терпеливы были
И сме́тливы,
Неприхотливы,
Непривередливы.

Как нам любилось!
Как улыбалось!
Самое-самое
Близким казалось.

Не на «Победах»
И «Волгах» — где уж там! —
На велосипедах
Катали девушек.

И у Матрешек
Вместо сережек —
Серпы и молоты,
А вместо брошек —
Значки наколоты:
Ценилось не золото, —
Мы были молоды!

Что нам мохнатые
Бобры и пыжики?
Гордились ребята
Буденовкой рыженькой.

Не было крова
Под флагом
Сутяге.
Честное слово
Равнялось присяге.

В голоде,
В холоде
Жили мы в Вологде.
Но были молоды,
Вот как молоды!

Ах до чего же
Глупы и молоды!

1967

ЧЕГО ЕЩЕ СЕРДЦЕ ПРОСИТ?

Я видел большую воду —
Апрельский разлив и спад,
И как журавли в непогоду
Домой под обстрел летят.

Свободна
И судоходна,
Как Млечный Путь широка,
Река, будто пену, к сходням
Накатывает облака.

Луга заметает илом,
Бьет бревнами кручам в грудь...
Позднее ей не под силу
И жерновок провернуть.

Я видел, как из-под снега,
Размытого добела,
Неведомого побега
Проклевывалась игла.

Подснежников появленье,
Березовых почек рост
Я сравнивал по значенью
С рожденьем новейших звезд.

Жестоких желаний жженье,
Любовь и остуду знал,
И ненависть, и примиренье,
Смирялся и бунтовал.

Все видел:
Весну и осень,
И зиму — во льдах, в снегу...
Все в памяти берегу.
Чего еще сердце просит?
Чему удивиться смогу?

1966

ВЕСЕННИЕ ОЖИДАНИSS

Заметно весны дыхание,
Уже в колеях до колен,
Все замерло
В ожидании
Неведомых перемен.

Под вечер березник в инее,
Вода превращается в лед,
А в полдень
Все синее-синее,
Сквозь крыши
И с крыш течет.

И солнце с луной встречается,
Как будто о чем совещается,
И скалы в воде по грудь...
Ах, если бы все, что чается,
Свершилось
Когда-нибудь!

С терпением,
Со смирением,
Устав от душевных смут,
Друзья мои
Потепления,
Как манны небесной, ждут.

Вдруг что-то взыграет, вспенится,
Как свет по земле пройдет...

А, собственно, что изменится,
Весна же не первый год?!

1967

ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СПИТ

Как славно,
Как дивно
В апрельском бору!
Костер над обрывом —
Присядем к костру!
Раздольно,
Разливно,
Заздравно,
Зазывно.
Мы как на пиру
У весны на юру.

Размывно,
Разымчиво —
Вот она ширь! —
Не половинчато,
Не в полдуши.

Напевно и мощно,
Как чудо из чуд,
И денно
И нощно
Птицы поют.

Под вечер морозит,
Звездится ледок,
Ломается озимь
По краю дорог.
До самой опушки
Поля забеля,
Снежной мерлушкой
Обшилась земля.

А ночи,
А ночи
Средь елей и пихт!
Хоть нет их короче
Для тех, кто не спит.

Для тех, кто сидит
У мокрых ракит,
За удочкой,
чуть различимой,
Следит.

Не то — косачей
Ожидает на ток,
На взгорок
Меж елок,
На бугорок.

Ах сколько ночей
И я спать не мог!

Весенние ночи,
Рассвет словно дым,
Их нету короче
Для тех,
Кто любим.

1966–1967

ОБ ОДИНОЧЕСТВЕ

Мечтал один остаться.
И остался.
Живу один.
Чего желать теперь? —
Справляй победу,
Не считай потерь...
Но где же все,
чего я добивался?
Опять никто ко мне не постучался,
За целый день никто не постучался!
Никто!
Никак!
Хотя б не в душу —
В дверь...

1967

НОЧНОЙ ПОЕЗД

Это как приближенье
Ветра, воды, песка.
Вдруг возникает движенье,
Неясное пока,
Словно круговращенье
Медленное
в облаках.
Дикой пчелы роенье?
Шелест березняка?
Может, прорвав загражденье,
Хлынула с гор река —
Стонут от напряженья
Взмыленные бока?
Может, громов рожденье,
Скал прибрежных крушенье,
Слышное издалека?

Ждешь,
Как землетрясенья —
Гула,
Рывка,
Толчка.

Лес пригибает ветви,
Дрогнул небесный свод,
Стекла звенят...
А это
Просекою
Сквозь ветер
Поезд ночной идет.

1967

РОГАТЫЙ ПЕГАС

А я не тружусь?
Чуть брезжит рассвет —
Как дояр, сажусь
На сво́й табурет.

Как дояр —
Терпенья
Хоть отбавляй:
Ведро в колени
И — ну давай!

За словом слово
В строфу сую.
И впрямь корову
Сижу дою.

Беру в кулаки
Тугие соски,
Четыре струи —
Четыре строки.

То с пеной, со звоном
Идут слова,
То приглушенно,
Едва, едва.

Большой надой —
Молоко с водой,
Строка жидка,
Говорят:
От быка!

А чуть запустил,
Нечасто дою,
Кричат:
Присушил
Строку и струю.

Корова,
рога
До земли клоня,
Как на врага
Глядит на меня.

Вот-вот в бедро
Шибанет ногой,
Свернет ведро,
Разольет надой.

Косится,
Бычится
Рогатый Пегас.
У бедной сочится
Тоска из глаз.

1968

С ДОБРЫМ УТРОМ!

Я люблю, когда при встрече
Мы знакомым и родным:
«С добрым утром!»,
«Добрый вечер!»,
«Доброй ночи!» — говорим.

Если к чаю иль к обеду
В дом войдем —
Не любо, что ль,
Поклонясь, сказать соседям:
«Чай да сахар!»,
«Хлеб да соль!».

Не от тяги к суесловью
И сложилось не вчера
Это братское, с любовью
Пожелание здоровья,
Пожелание добра.

Хорошо и путь-дорогу
По обычаю начать:
У родимого порога
Посидеть и помолчать.

Не спешу с моралью строгой,
Коль в дорогу кто-нибудь
По привычке скажет:
«С Богом!»
«С Богом!» — тоже «В добрый путь!».

От души желаю счастья
Всем товарищам своим,
Молодым — в любви согласья,
Долголетья — пожилым.

Рыболовам,
Звероловам —
Теплой ночи у костра,
И — богатого улова,
И — ни пуха ни пера.

Пусть людей во всех заботах
Ждут удачи и успех,
Чтоб работалось с охотой
И гулялось без помех.

Даже стае журавлиной,
Улетающей от нас,
По обычаям старинным
Мы кричим:
«В счастливый час!».

И живется вроде лучше,
И на сердце веселей,
Коль другим благополучья
Пожелаешь на земле.

1968

УТРЕННSSSS ПОЧТА

Не поземка ночью
Снегу намела —
Утренняя почта
Посреди стола.

Отбираю срочную —
Что душе мила.

Все делю поровну:
Важное — в стопу,
Остальное — в сторону,
Как щепу.

Будто свежая щепа —
Письма по избе,
Но от каждого — тропа
К чьей-нибудь судьбе.

Рубят лес там и тут
И щепа летит,
И со всех концов идут
Письма, полные обид.

Открываю в чью-то жизнь
Дверь — рву конверт:
«Поддержи, заступись,
Защити, дай совет!..»
Добрый дай совет!

Просят жены и мужья
Укрепить семью!
— А нельзя ль иметь, друзья,
Голову свою?

От влюбленных вороха —
Их не перечесть.
Главным образом, в стихах —
Даже рифмы есть.

Если б сам не писал,
Сам не грешил,
Я бы что-нибудь сказал
Им от души.

1968

* * *

Мне верить надо
В кого-то,
Во что-то,
Чтоб жить без оглядок,
Жить без расчета.

Мне надо верить,
Надо!
Надо!
В любые двери
Входить без доклада.

Мне неохота
С землей расставаться:
По сердцу работа —
Чего ж опасаться?

Я просто птица
На тонкой ветке,
Хоть тоже в зверинце
И тоже в клетке.

Но все же птица.
И мне с заземленьем
Не примириться
Ни на мгновенье.

1967

* * *

Если бы знать нам, что завтра
его не будет,
по-другому мы относились бы к людям —
к любому, как к своему родному, —
разговаривали бы по-другому.

Когда говоришь с другом,
помни: быть может,
это последний
разговор с ним,
последний день его жизни...
Последний раз его видишь...

Помни: завтра может его не быть.
Ты навсегда потеряешь его...
Спеши любить,
жалеть и любить.

1967

САШЕ

Два мира в доме: мы и он.
Два полюса.
Мы ходим, дышим,
Друг с другом говорим, все слышим,
А он — лежит.
И то — не сон.

Наш мир — он кажется простым.
Его — бескраен, необъятен
Уж тем одним,
Что непонятен,
Необратим.

У нас все тот же тарарам,
Столы и стулья, хлам в квартире...
А что в его закрытом мире?
Куда ушел он?
Где он там?

Он — рядом,
И его уж нет.
Что скрыто за его безмолвьем?
Непрожитых полсотни лет
Стоит за белым изголовьем.

Полсотни лет весенних гроз,
Весенних всходов, увяданий,
Удач и неудач,
Желаний,
Страданий и счастливых слез,
Полсотни лет любви, скитаний,
Всего, всего, что он унес, —
Оборвалось, не началось,
Растаяло, как свет в тумане,
Как след в безмерном океане, —
Распалось, смылось, расплылось.

Всей тяжестью своей они —
Года, не дожитые сыном, —
Придавят тех, кого он кинул,
Но лишь укоротят их дни,
Не удлинят —
Ополовинят.

1967

ПОСЛЕДНSSSS ГЛАВА

... Дописать или оборвать —
Горе горькое догоревать?
Сам с собой не всегда в ладу.
По своей
Иль чужой вине
Так живу, как сквозь строй иду,
Что ни день —
Горю на огне.

Книга жизни...
Только ль слова?
Сколько лет я сижу над ней!
Пожелтели страницы в ней,
Как трава в сентябре,
Как листва,
Поседела моя голова.
Но вдвойне дается трудней
Заключительная глава.

1967

СНЕГ

С детства,
С самых первых зим
И на весь свой век,
Как Отчизны сладкий дым,
Полюбил я снег.

Полюбил его покой
И буранный вой.
Снег не мертвый,
Он живой —
Вихорь огневой!

У него свое лицо —
Запах, вкус и вид.
Звон морозный бубенцов —
Это снег звенит.

Знает вся моя родня:
Из села
Лыжня
Столбовой дорогой в мир
Стала для меня.

Не о вечности грущу —
На земле мой век!
Все ж, когда умру, —
Прошу:
Схороните в снег,

В его светлой мерзлоте
На Бобришной высоте.

1967

* * *

Что ж ты спишь, ветер,
Куда глядишь?
Хуже всего на свете
Такая тишь.

Сосны, обессилев
От снежных груд,
Руки опустили,
Спины гнут.

Снег вроде дыма —
Пока летит,
Почти невесом,
А невыносимо
Придавит он.

Обломает ветви у ствола,
Обломает крылья —
Будет роща гола,
Одни будылья.

Обломает ветви,
Того гляди,
Покалечит лес,
Что ж ты медлишь, ветер,
Гряди, гряди!
Нагрянь с небес.

1968

* * *

Счастливы однолюбы,
Они что единоверы:
Душа не идет на убыль,
Чужды ей полумеры.

Раз навсегда влюбиться —
Это, ни мало ни много,
В жизни определиться,
Выбрать свою дорогу.

Что полюбилось с детства,
То навсегда любимо —
Свято мое наследство,
Свято и неделимо.

1968

* * *

...Подари, Боже,
Еще лоскуток
Шагреневой кожи.

И женщины, женщины
Взгляд влюбленный,
Чуть с сумасшедшинкой
И отрешенный,
Самоотверженный,
Незащищенный.

Еще хоть одну,
С ее миражами,
Большую весну
С журавлями, с ветрами,

С ее полноводьем,
И полногрудьем,
С разнопогодьем
И многотрудьем.

Еще сверх счета
Прошу у Бога
Одну охоту,
Одну берлогу.

А там и до осени
Недалеко,
До златоволосой,
До кареокой.

А там...
Прихватим зиму
Неукротимо.

А там посмотрим.

*

Дай Бог,
Мой Боже,
Еще лоскуток
Шагреневой кожи.

А мне уходить.
Не хочу уходить!
Дай мне, Боже,
Еще пожить.

А мне
На переформировку,
переподготовку.
Продли мне, Боже,
Командировку
на этом свете,
на этой планете.

А там готов на любую.

1968

* * *

Так же будут юноши писать
И стихи и прозу,
Так же будут ветры задувать
И трещать морозы.

Все, что пело, будет впредь
Так же петь,
Достигая роста...
Просто можно зареветь —
До того все просто.

Так чего же мне желать
Вкупе со всеми?
Надо просто умирать,
Раз пришло время.

1968

«ГОДЫ ЖИЗНИ»

Из разных книг

* * *

Не позабыть мне первых схваток,
Разбитых сел, дорог в крови,
Ночей под кровом плащ-палаток,
Как первой не забыть любви.

Все шло не так, как представлялось,
Как в книгах вычитал, —
Не так.
Все было ново: дождь, усталость,
Разрывы мин и гул атак.

Заране знать хотел, бывало,
Как поведу себя в боях:
Не осрамлюсь ли поначалу,
Не заберется ль в сердце страх?

И, убедившись, встав под дула,
Хлебнув и гула и огня,
Что сердце не захолонуло,
Кровь не свернулась у меня,

Что я ни в чем других не хуже,
Переношу тяжелый путь, —
Я затянул ремень потуже
И широко расправил грудь.

Конечно, стало представляться,
Что ты храбрейший из солдат:
Конечно, все тобой гордятся,
На одного тебя глядят.

С тобой — удачи и победа,
Поешь и ходишь, как во сне.

Кто эти чувства не изведал,
Тот просто не был на войне.

1941

* * *

Когда бы ты видела этот город —
Дворцы его, парки, ше́лка знамен...
И то, что теперь переносит он:
Разбитые статуи, щебня горы,
Сожженные кровли, столбы, заборы
И расщепленный мрамор колонн.

На Невском —
Все памятники победы,
Балконы, мосты и арки ворот —
Все на дыбы от огня встает...
Когда бы ты знала, какие беды
Выносит железный русский народ...

1942

ОБСТРЕЛ

Снаряд упал на берегу Невы,
Швырнув осколки и волну взрывную
В чугунную резьбу,
На мостовую.
С подъезда ошарашенные львы
По улице метнулись врассыпную.

Другой снаряд ударил в особняк —
Атланты грохнулись у тротуара;
Над грудой пламя вздыбилось, как флаг.
Труба печная подняла кулак,
Как бы грозя неотвратимой карой.

Еще один — в сугробы, на бульвар,
И снег, как магний, вспыхнул за оградой.
Откуда-то свалился самовар.
Над темной башней занялся пожар.
Опять пожар!
И снова вой снаряда.

Куда влетит очередной, крутясь?..
Враги из дальнобойных бьют орудий.
Шарахаются бронзовые люди,
Живой проходит, не оборотясь.

1942

ПОЛЕ БОSS

Над пшеницей стаи птиц,
Конопля с вороньим граем,
Свет без края, без границ —
Это полем называем.

Есть другое:
Рвы в пыли
Да огонь на суходоле,
Гром от неба до земли,
Стон и кровь...
А тоже — поле.

Можешь землю не пахать,
Не косить, не жать ты волен:
Будет цвесть и вызревать
Без тебя ржаное поле;

Ни на чей удел заказ
В нашей жизни не положен.
Но на поле боя должен,
Должен ты побыть хоть раз,

Испытать солдатский труд
Да поспать в корнях у ели,
И когда потоки льют,
И когда метут метели,

Чтоб по-новому любить
Все, чем с детства мы богаты,
Чтобы жизнью дорожить,
Знать ей цену,
Как солдаты.

1943

В КРЫМУ

Земля тосковала по русской речи,
Два года была в огне и в дыму.
Враги, все живое перекалечив,
Учили ее языку своему.

Но грянул суд.
Расстреляв дозоры,
Мы закрепились на берегу,
И, Боже мой, как засияли горы,
Какой по ущельям понесся гул!

Горячий песок скрипит под ногами,
Вода в борта корабельные бьет.
Земля, что лежит еще за холмами,
Зовет нас к себе, торопит вперед.

По желтому скату,
По кочкам зеленым
Бегу к родниковой воде во рву,
Как на свиданье мальчик влюбленный,
И падаю, радуясь, на траву.

Все необычно, для сердца ново —
От серых долин до сизых высот.
И ветер каждое наше слово,
Как откровение, вдаль несет.

Поднявшись в рост на камне лобастом,
Приветствую:
«Здравствуй, родная земля!»
И горы мне отвечают:
«Здравствуй!»
И веселей шумят тополя.

Кричу в озаренные днем просторы,
Напоминаю родные слова:
«Огонь!»
«Огонь!» — отзываются горы.
«Москва!» — кричу.
Повторяют:
«Москва!»

Земля моя,
В гальках, в зеленых росах,
Расправь свои плечи, живи, цвети!
Ты — наша.
Мы снова с тобой — матросы,
Да разве могли мы к тебе не прийти!

Уже из пещер, из ущелий и гротов
Выходит на солнце родной народ.
«Вперед!» — кричат моряки и пехота.
И горы, как гром, повторяют:
«Вперед!»

1944

* * *

Назови меня именем светлым,
Чистым именем назови —
Донесется, как песня, с ветром
До окопов голос любви.

Я сквозь грохот тебя услышу,
Сновиденья за явь приму.
Хлынь дождем на шумную крышу,
Ночью ставни открой в дому.

Пуля свалит в степи багровой —
Хоть на миг сдержи суховей,
Помяни меня добрым словом,
Стынуть буду — теплом повей.

Появись, отведи туманы,
Опустись ко мне на траву,
Подыши на свежие раны —
Я почувствую,
оживу.

1943

НЕ УМРУ

Когда я раненый лежал в пыли,
Страдая от удушливого жара,
Не отличая неба от земли,
Артиллерийских залпов от кошмара,

И ни стонать, ни говорить не мог, —
Тогда прямой, с пушистой желтизною,
Откуда ни возьмись, степной цветок
Виденьем детства встал передо мною.

Что я припомнил в этот миг?
Леса,
Деревни, в палисадниках рябину,
Под солнцем поле спелого овса
И матери натруженную спину...

Что я услышал?
Дробный стук колес,
Крик петуха на просмоленной крыше,
Шум светлых сосен и жужжанье ос,
Раздольный звон бубенчиков услышал...

Ах, родина, лесная сторона!
Как всё стократ для сердца стало мило —
Брусника в чащах,
Рек голубизна, —
Война все чувства наши обострила.

Просторны тесом крытые дворы,
В холмистом поле широки загоны.
Как многолюдны свадьбы и пиры,
Как сарафаны девичьи пестры,
Каким достоинством полны поклоны!

Моторы в сизых ельниках стучат,
Плывет над лесом рокот молотилок,
И запахи бензина не глушат
Смолистого дыхания опилок.

А сколько зверя, сколько птиц в бору...
И потому, что все перед глазами,
Не дрогну я в сражениях с врагами,
Земли родной не выдам:
Не умру!

1943

НЕ РАЗУЧИЛCSS ЛЬ ХОДИТЬ ЗА ПЛУГОМ?..

Скоро ли буду в родном лесу,
Ягод наемся,
Увижу косого,
В старый слопец изловлю лису,
Туес ершей принесу из ночного?

Скоро ли буду в родном дому —
Издали встретят четыре березы, —
Скоро ли мать и сестру обниму
И обмахну их горькие слезы?

Всех увидать,
Обо всем расспросить,
Полем пройти, поздороваться с лугом!..
Не разучился ль траву косить?
Не разучился ль ходить за плугом?..

1944

ОСИНА

Осина ты, осина,
Проклятая лесина:
Гнилая сердцевина,
Тряпье — не древесина.

Дрожишь, как дунет ветер,
Краснеешь с первой стужей,
И нет на целом свете
Тебя, осина, хуже.

Под рельсы не положишь,
Хоромы не построишь.
Копейку, не дороже,
И в лютый холод стоишь.

Дрова хоть и сухие,
Да все одно плохие:
Ни пламени, ни жару,
Ни угля к самовару.

Но хоть один покуда
На свете есть Иуда —
Нужны под небом синим
Русские осины.

1944–1945

* * *

Каждый год весна как чудо,
Но такая в первый раз.
Словно ветры отовсюду,
Новизна пьянила нас.

Соков раннее движенье
Вдруг ускорила гроза,
И, как в первый день творенья,
Солнце вскинуло глаза.

Вся земля пропахла бором
Да травою луговой,
Переполнились озера
За селом водой живой,

За ночь выгнало побеги...
Долгожданный грянул час:
О победе, о победе
Весть, как песня, разнеслась.

Как на праздник, все селенье
С песней вышло на поля.
Словно в первый день творенья,
Приняла зерно земля.

1945

* * *

Что-то есть в тебе очень хорошее.
На цветной сарафан гляжу —
Словно в юности, по некошеным,
По заречным лугам хожу.

Очень свежие, очень милые
Губ приподнятые уголки.
Вологодскою веет силою
От большой без колец руки.

Золотинки в глазах с поволокою,
Да густая хвойная бровь.
В задушевном неспешном оканье
Воркование тетеревов.

Под окошком проходишь — рослая...
По душе мне такая стать.
Поглядеть на тебя, светлокосая, —
Как на родине побывать.

1945–1946

* * *

Скрутит тебя любовь,
Пальцы сожмет на горле —
Не беспокой докторов:
Есть лечебные корни.

На волоках ищи,
В заводях незнакомых,
В хвойной грибной глуши,
В травах и буреломах.

С лайкой, с дробовиком
Рыскай вдали от дома,
Чтоб беспробудным сном
Спать потом на соломе.

Море переплыви,
Исколеси отроги,
Ноги в кровь изорви...
Дальние дороги
Вылечат от любви.

Но не болезнь любовь:
Плачут, когда болеют,
Губы кусают в кровь,
Вылечатся — жалеют.

1946

* * *

Мне надо так глядеть вперед,
Чтоб горы тьмой не застилались,
Чтоб рябь в глазах от тьмы забот
И шум в ушах не замечались.

Чтоб никогда средь бурь и вьюг
Мне не утратить дара слышать:
И сердца собственного стук,
И как в бору деревья дышат.

Мне надо все преодолеть,
Чтоб песня впредь не затихала,
Не замирала б жизнь, а смерть
Чтобы моим бессмертьем стала.

1944

НА ВЗМОРЬЕ

Все побережье в пене, в прибое,
И сосны у края воды шумят.
Под вечер море не голубое,
Оно многоцветное, как закат.

Все краски, мыслимые на свете,
Густые тона небес и земли
На волны, которые поднял ветер,
Узорными радугами легли.

Все разворачивалось, колыхалось,
Играло огнем до самого дна.
Менялось небо — и море менялось,
Перенимая его тона.

Казалось до этого все возможным,
А тут ни конца и ни края нет.
— Зачем не поэт я? — сказал художник.
— Владеть бы мне кистью! — вздохнул поэт.

И музыкант на тонкие руки,
На руки свои взглянул тяжело:
— Я знаю лишь звуки и только звуки,
А тут еще запахи, свет, тепло...

А море назло как стукнет да грянет
Всей мощью своею, во всей красе —
И вспомнить заставило об океане,
О беспредельной вселенной всей...

Одни рыбаки следили сурово
За гребнем на каждой крутой волне:
Им завтра идти за новым уловом,
Любить красоту не с суши,
А снова
Остаться с нею наедине.

1953–1956

* * *

Лес родной,
Лес грибной,
Ты стоишь передо мной
Из-за дальних расстояний
Недоступною стеной.

Если б только можно было,
Разве б в городе я жил.
Я с ружьем бы, любо-мило,
По лесам с утра ходил.

Как войдешь в зеленый бор,
Затихает разговор.
Вот попробуй не замри,
Коль на ветках глухари.

Не затихни тут, попробуй,
Коли здесь сучок любой,
Куст и холмик смотрят в оба,
Наблюдают за тобой.

У тебя с собой ружье,
И рука впилась в цевье.
В этих шорохах и скрипах
Все внимание твое.

1949

* * *

Бор, казалось, был не широк,
Но вырубили,
И вот
Ветер, как у полярных широт,
Снег дни и ночи метет.

Раскинулось — непостижимо уму! —
Поле, поземкой играя,
Глаза слепя,
И теперь ему
Нет ни конца ни края.

Где здесь лежали былые пути?
Нынче не разобраться.
Поле теперь напрямик перейти
Волки и те не решатся.

А лес продолжают вдали рубить,
С веток крошится иней...
Значит, решили еще углубить
Белую эту пустыню.

1948

* * *

Для меня любые расставанья
Не смертельны,
Даже слез не лью.
Если письма есть — и расстоянья
Не страшны, хоть и люблю семью.

Но когда я к отчему порогу
Две весны подряд не загляну,
Никакие письма не помогут
Сохранить мне в сердце тишину.

Все болезни сразу подступают,
Душит одиночество в углу.
Вот когда ночей недосыпаю,
На погоду зря кладу хулу.

Тянет в край, где я родился, к детству,
В ягодные мшистые места,
Где тайга с деревней по соседству
И угар от прелого листа,

Где, преображаясь год от года
От людских бессонниц и забот,
Северная, средь лесов, болот,
Наша нелукавая природа
Всей Отчизной для меня встает.

1948

ТОЛЬКО НА РОДИНЕ

Да, только здесь, на Севере моем,
Такие дали и такие зори,
Дрейфующие льдины в Белом море,
Игра сполохов на небе ночном.

Нехожеными кажутся леса,
Бездонными — озерные затоны,
Неслыханными — птичьи голоса,
Невиданнными — каменные склоны.

Здесь, словно в сказке, каждая тропа
Вас к роднику выводит непременно.
Здесь каждая деревня так люба,
Как будто в ней красоты всей вселенной.

И, уж конечно, нет нигде людей
Такой души, и прямоты, и силы,
И девушек таких вот, строгих, милых,
Как здесь в лесах,
На родине моей.

Но если б вырос я в другом краю,
То все неповторимое,
Как чудо,
Переместилось, верно бы, отсюда
В тот край, другой —
На родину мою.

1953

* * *

Тянет в простор полей
С каждой весной упорней.
Все-таки на селе
Все мои корни.

Там, средь лесных берлог,
Я возмужал и вырос,
Первый страх превозмог,
Первое горе вынес;

К трактору привыкал,
Свыкся с порой страдною;
Там в первый раз припал
К речке с живой водою.

Все на земле родной
Мне лишь на пользу было:
Грудь не спирало в зной,
В стужу не леденило.

Что там ни говори,
Мне не заменит город
Ясной, в хлебах, зари,
Ягодного косогора.

Снова издалека
Манят и лес и поле.
Пусть на моих руках
Будут гореть мозоли.

Пусть в самый зной работ
На поле хоть однажды
Губы опять сведет
От нестерпимой жажды.

Хочется самому
Тяжесть весны изведать
Там, где в пыли, в дыму,
Делается победа,

Где и моя целина
Вспашки ждет и расцвета...
Так принимай, весна,
Пахаря и поэта!

1954

УТРОМ НЕ УМИРАЮТ

Даже представить трудно,
Как я смогу опять
С вечера беспробудно,
Без сновидений спать.

Страшно, что сил не хватит
Выдержать до утра.
Сядьте на край кровати,
Дайте руку, сестра!

Все, кто болели, знают
Тяжесть ночных минут...

Утром не умирают,
Утром живут, живут.

Утро раздвинет стены,
Окна откроет в сад,
Пчелы из первой смены
В комнату залетят.

Птицы разбудят пеньем
Всю глубину двора,
Чей-нибудь день рожденья
Будут справлять с утра.

Только бы до рассвета
Выдюжить как-нибудь...
Утренняя газета
В новый поманит путь.

Да позвонят из дому,
Справятся:
«Как дела?»
Да навестит знакомый...
Только бы ночь прошла!

Тени в углах растают,
Тяжесть с души спадет.
Утром не умирают —
Солнце начнет обход!

1954–1955

СТРОФЫ

* * *

А мне Москва нелегко далась:
Из тундры в берестяных сапогах
Я шел пешком в осеннюю грязь
К ее святым берегам.

1947

* * *

Поэзия!..
Вряд ли припомню,
Когда это все началось.
Поэзия! Как нелегко мне
В голодной деревне жилось.

1958

* * *

Мне бы крылья, чтоб взлететь,
Мне бы голос, чтоб запеть!
Крылья есть,
И голос есть,
А чего хочу — невесть...
Душу надо окрылить,
Этих крыльев не купить.

1949

* * *

«Правда» звонит: напиши, поэт,
Чтоб в каждом слове слеза дрожала,
А у поэта слов нет.
Дайте выплакаться сначала.

1947

* * *

Да, я не продаюсь, не покупаюсь:
Весь плоть от плоти сын своей земли —
И разве мы, под танками взрываясь,
Самосожженцев осуждать могли?..

1958

* * *

— На Колыму?..
— Давай на Колыму!
— Или в Норильск?..
— Да хоть в огонь и воду! —
Одно лишь твердо надо знать ему:
Что будет польза от того народу.

1958

* * *

За все отвечать настала пора:
За то, что когда-то я промолчал,
За то, что кричал во весь рот ура,
А караул не кричал.

1958

* * *

Десяток лет
И два десятка
Спокойствия и тишины,
А я,
Как та вдова-солдатка,
Все не опомнюсь от войны.

1959

* * *

Давно обходимся без Бога:
Чего просить?
О чем молить?
Но в сердце веры хоть немного,
Наверно, надо б сохранить.

1958

* * *

Скучный и злой, наверно, был
Тот, кто, надев мундир,
«Мертвой природою» окрестил
Весь этот добрый мир.

Он и в другом убедить спешил,
Чувства и честь глуша,
Будто бы нет у людей души...
Есть у меня душа.

1962

* * *

Настежь открытая миру душа,
Как ты была чиста, хороша!

1958

* * *

Пути поэзии трудны,
И все ж мы за нее в ответе —
Кому-то и стихи нужны,
И я не зря живу на свете.

1959

* * *

Безудержное хвастовство и ложь —
А разве это не одно и то ж?

1959

* * *

Я бы мог сочинить
не один том.
И построить бы смог
не один дом.
Только дело в том —
кто поселится в нем.
Кем прочтется и как,
что далось трудом...

1959

* * *

И пусть парадоксально
Звучит,
Но так сказалось:
Так мало жить осталось...
Согласен быть опальным,
Но только бы писалось.

1966

* * *

Много планет, а Земля одна,
Солнце — одно навеки.
Только одна на всю жизнь дана
Родина человеку.

1959

* * *

Все во имя совести,
Все во имя чести,
Все — от первой повести
До последней песни.

1963

* * *

Я живу на сосновом, на гривистом,
На обрывистом берегу,
Где поют соловьи так заливисто,
Что и в полночь спать не могу.

1964

* * *

Запой, соловушка, запой
В подлеске
За моей избой.
И пусть поэзия моя
Достойна будет соловья.

1964

* * *

Сплю на овчине,
Прикрыт овчиной,
Себя самого
Зову молодчиной.

1966

* * *

Ой ты Русь моя, Русь, —
Ноша невесомая!
Насмеюсь, наревусь —
У себя дома я.

1967

«СЕВЕРЯНКА»

Из первых книг

ВЕСЕННЕЕ

Я даже сна лишился, я тоскую.
А это значит, что в родном краю,
В родных лесах тетерева токуют,
Медведь берлогу развалил свою

И вышел в чащу, разминая плечи,
И жмурится —
Вокруг еще бело.
Он, верно, ждет со мною новой встречи,
Держа клыки и когти наголо.

И я зажмурюсь и услышу ясно
И сосен стон густой,
И взлет стрижа.
Запахло мхом и ягодой...
Напрасно
Меня ты хочешь дома удержать.

Поедем вместе к волокам сосновым,
В малинники, в морошковый завал,
К кудесникам,
К никольским звероловам,
Где даже Пришвин, верно, не бывал.

Пройдем пешком тропинкою лесною
К живой воде,
К былинному ключу.
Зверья боишься?
Сладившей со мною,
Какой медведь тебе не по плечу?!

Раскинем полог у начала сказок,
Чтоб их целебным воздухом дышать.
Охотничьи побаски и рассказы —
Они из мертвых могут воскрешать.

Котомки сами просятся на спины,
Уже сквозь стены проникает свет...

Далеко где-то зацвели рябины
За Вологдой,
А мне покоя нет.

1939

* * *

Лишь вековые
В самое небо
Сосны вошли, все его заполнив,
Лищь к вековым
На зеленый гребень
Соколом солнце садится в полдень.

Только в бескрайней облачной шири
Молнии воздух стригут и режут.
Только на самой гордой вершине
Носится ветер
Веселый, свежий.

Только в вершинах, не увядая,
Жизнь все устои крушит и ломит...
И, расправляясь, сосна молодая
Тянется
К солнцу, к дождям и грому,

Чтоб ощутить полноту небывалой
Свежести жизни
В грозовой сини...
И если упасть,
То горным обвалом
Неистощимой жизненной силы.

1937

ЛЕНОК

Еще травы сверкали росой —
Я ходила своей полосой,
Полосой из конца да в конец.
Уж я сеяла лен-долгунец.

Лег пунцовой косынкой восход
На родной голубой небосвод,
Долговязыми тенями в лог...
Ты удайся, удайся, ленок!

Поздней осенью вызрел мой лен,
Но не чист, не богат, не длинен,
И в дождливый, в ненастный денек
Я одна теребила ленок.

Расстилала его по лугам,
По зеленым речным берегам,
Чтоб лежал, чтобы мок-перемок.
И трепала, чесала ленок...

И болели и грудь и спина.
Я согнулась от белого льна.
А зимою коптил фитилек,
Уж пряла я, пряла свой ленок.

И потом, набелив волокно,
До весны я ткала полотно.
Все как сон — не проснешься никак...

Нет,
Было так!

Выспели да выстоялись золотые льны,
Желтые от солнца, высоки, шумны.
Семя в забубенчиках на ветру звенит...
Наступили страдные,
Но какие дни!
Прямо через гумна да по полосам
Вышла за деревню
Деревня вся.

Лен заводу сдали,
И в конце зимы
Ткани из Красавина получили мы,
Шитые обновы —
Сколько ясных роз!
Солнце не сжигает их,
Не берет мороз.
А какие шали —
Жарки и легки!
Что за полушалки,
Что за фартуки!

1931–1935

ТУЧА

Издалека́,
Томясь от слезной муки,
Играя снежной белизной плеча,
Заламывая молнии,
Как руки,
Тень, будто шаль
По травам волоча,
Она плыла.

Весь мир припал и замер,
Истосковавшись, ждал:
Придет гроза.
Глядело жито желтыми глазами
В ее большие влажные глаза.

Ничто вокруг не вызвало тревоги.
Пред тучей полдень побледнел и смерк,
Вились воронки ветра на дороге,
Несмелые,
И поднимались вверх.

Вдруг раскололо воздух черным громом,
И хлынули свистящие клинки.
В полях осталась смятая солома.
В садах продрогших —
Яблонь костяки.

1936

ОЛЕНА

Что ни праздник, — на угоре
Все девчата наши в сборе.

Во наряды выряжены,
Парни с ними выдержанны.
Все достатки,
Все порядки
В этом выражены.

Ходят пары честь по чести,
Разговорчивые.
Городские в моде вести.
Женихи форсят: невесты
Разборчивые.

Только ахнет баян —
И Олена пляшет,
Улыбается подругам
Да платочком машет.

У Олены сарафан
Всех нарядней, краше.
Для нее поет баян,
Про нее поет баян,
Про Олену нашу.

У Олены кофта — сад,
Пуговки — росинки,
Бусы — ягодки висят,
Зреют бисеринки.

До земли свисает шаль,
Шелковые кисти.
Поглядишь — горит душа:
Очень девка хороша,
Статна, голосиста!

Приезжал один ученый
Из района.
Приглянулася ученому
Олена.

Говорит: — Нарядный вид!
Бойко пляшет.
Сарафан-то, — говорит, —
Знать, мамашин!

Достоянье старины,
Бисер-жито.
Старый Север! — говорит, —
Интересный, — говорит, —
Пережиток.

А ему Олена прямо
И сердито:
— Перестаньте, гражданин,
Городить-то!

В старопрежнее-то время
И на свадьбе
Мне бы в этаком наряде
Не гулять бы.

Не гадала мама видеть
В нем и внучек.
И чему таких ученых
Только учат?! —

Так отрезала ему
Складно да ладно...

Мы-то знаем, почему
Олена нарядна!

1936

* * *

«А и где мне спелых зернышек
Весной набрать?
А и где найти мне, девушке,
Душевных слов…»

Сло́ва-то красивого
Не подыщешь наскоро.
Как назвать мне милого
Задушевно, ласково,
Чтобы всем понравилось,
Чтобы в песню ставилось,
Чтоб любого про́няло,
Пело б имя до неба?
Ведь не для кого-нибудь
И дает не кто-нибудь.

Что там ни загадывай —
Лучше нету пары мне.
Приголубить надо бы,
А слова все старые.

Назову ль соколиком?
Ненаглядой?
Ягодой?
Ласково, но только
Не такое надо бы.

Долей облюбованной?
Светиком?
Касатиком?
Тоже не по-новому,
Не его касательно.

Дролечкой?
Державушкой?
Золотком? Все дешево:
Не такая славушка
У мово хорошего.

Девушек поспрашивать бы, —
Может, у подруженек
Имя подходящее
Найдено для суженых.

Или лучше вечером
На кругу с баянами
Подойти доверчиво
К самому́ желанному,
Прямо в сердце светлое
Стукнуться отважиться,
И слова заветные,
Может, сами скажутся.

1936

* * *

Шла я нынче за́имкой,
На снега глядела:
Сколько за ночь заинька
Вывертов наделал.

У плетня у каждого,
С умыслом ли, нет ли,
Елочки обхаживал,
Затягивал петли.

А местами пустится
Через пни и кочки:
От куста до кустика
По четыре точки.

С милым я измучилась,
Слушала весь вечер:
До чего ж закручены
У милого речи!

Хоть и непонятные,
Но уж так красивы...
Слушала да пятилась,
Свету не гасила.

Я сноровку дикую,
Заячью-то знаю,
Знаю, когда прыгают,
А когда петляют.

1936

* * *

У ворот в цветах и лентах лошадь.
Заждались девчата за избой.
Ты бы взял гармонику, Алеша,
Ту, что с зеркалами и резьбой.

Ту, с которой на море не зябли, —
Шумную,
В четырнадцать басов.
Мы возьмем твои топор и грабли
И поклажу заберем без слов.

Отвалили бы да затянули:
«Партизаны брали города», —
Травы бы колени подогнули,
Хлынула бы на берег вода,

И березовое мелколесье
Зацвело б, как яблоневый сад...

Захвати с собой, Алеша, песню,
Чтобы сердцу подпевала в лад.

1936

ВОЛОГДА

1

«Ты проедешь волок, еще волок да
Еще волок —
Будет город Вологда.

Как подъедешь ты ко городу ко Вологде,
Где хотел еще царь Грозной править-володеть,
По постоям не ходи, а правь по площади
По базарной, где в продаже скот и лошади,
Где воза с ржаной соломой и сенцом стоят,
Где водой проточной бабы скот поят.
Проезжай, где горы лому, горы хворосту,
По-над речкой Золотухой прямо по мосту
По сосновому, еловому, по шаткому
Со своим конем соловым, со лошадкою.
Про Овдотью Олексеевну выспрашивай,
Все укажут, где хоромы охрой крашены.

В кружева ее хоромы вплетены,
У светелки окна в прошвах платяных.
Старопрежняя Овдотья у окна.
Мастерица-рукодельница она,
Всяку всячину коклюшками плетет:
Косорядку, пучеглазку, волчий рот...*
Пусть припомнит, как поу́тру по росе
Мы с ней путали-мотали валансьен.
Расскажи ты ей, Овдотье Олексеевне,
Как живем мы здесь в колхозе, что посеяли.
Мол, пшеницу мы посеяли на севере,
Хорошо живем, мол, нонче, Олексеевна.
И про сына моего скажи, что знатен он...
Как живет дочурка ваша, кстати, мол?
Что хвальба, мол, это, да не по́хвальба,
Передай Овдотьюшке поклон от баб...»

* Названия вологодских кружевных изделий — *Примеч. А. Яшина*

2

Словно из-за моря, воротился
Из родимой Вологды сосед.
День за днем конца рассказам нет:
— Город изменился,
Обновился
За пять лет, как будто за сто лет.

Евдокия ходит в белой блузе,
Строгая от счастья и забот,
Кадры мастериц в кружевсоюзе
Обучает.
А уж как живет!

Говорит: «Была не в чине долго,
А теперь вот на большом счету:
Завела сношенья со Внешторгом,
Новую тематику плету».

Я и дочку повидал.
У Насти,
Прямо скажем, недоступный вид.
Говорит: на льнозаводе мастер.
А еще учиться норовит.

Что ей старопрежняя недоля!
На закате, перестав летать,
Прямо с неба к ней приходит дроля,
До смерти готов зацеловать.

Сыну твоему привет велела
Передать:
«Владимиру — салют!»
Вологда теперь разбогатела,
Вологжане, брат, взялись за дело,
Только окать не перестают.

1935–1936

МЕТА

Что со мною деется?
Сон меня сторонится;
Сущая безделица,
А какой становится!

В море вышел дролечка,
В северное плаванье,
Ножиком на елочке
Памятку оставил мне.

— Зарастет, — сказал он мне, —
Штормы не помилуют:
Не прийти мне к гавани,
Не увидеть милую.

И томлюсь я, девица,
И хожу на кручи я:
Сущая безделица,
А совсем измучила.

Каждодневно заново
Надрезаю мету я.
Море океаново,
Даль-дорога светлая!

Жив ли, где он по миру
Бродит?
Молви что-нибудь!

Ходят волны по морю,
Ходят тучи по небу.

Дуют ветры свежие,
А не видно дролечку...

Неужели срежу я
Напрочь нашу елочку?!

1936–1937

ДЕВУШКА ЗАТОСКОВАЛА

Столько всяких ягод!
Даже на рябине,
Даже на черемухе солнце засветилось.
Только на березе ни одной единой,
Ничего на белой вновь не уродилось.

В кожаной бездонной сумке почтальона
Столько всяких писем!
С марками, без марок,
Синих и зеленых, по углам клейменных,
Склеенных и связанных...
Каждое — подарок...

Мне одной ни писем, никаких открыток.
Неоткуда, не от кого...
Ветер веет пылью.
Выйду за околицу — все вокруг покрыто
Горькою полынью, черной чернобылью.

1937

* * *

Никогда так низко не свисали
Наливные яблоки в саду.
В жизнь свою так парни не плясали,
Как плясали в нынешнем году.

На угоре павами по кругу
Плыли девушки в красе-басе:
Выбирайте по сердцу подругу!..
Но плясали парни, да не все.

Не для всех роса была душиста,
Шелковисты травы на лугу.
Самого лихого гармониста
Не было со всеми на кругу.

Полуночь в чугун не отстучали
С каланчи, знакомой искони, —
Он ушел один в тоске-печали,
Голову на ро́сстани склонил.

И над полем, над тайгой-лесами
В первый раз в предутренний туман
Всеми бархатистыми басами
Загрустил его большой баян.

Как решетка, тын стоял поодаль.
Сквозь решетку он смотрел во тьму.
Может, друг руки ему не подал?
Изменила девушка ему?

Может, просто парню не поется?
Не судите:
Даже на пиру
Все порой кому-нибудь взгрустнется;
Сосны тоже разные в бору.

Пальцы еле клавишей касались...
А на что уж было веселей:
В жизнь свою так, верно, не плясали,
Как плясали ныне на селе.

1937–1939

СКАЗОЧНИЦА

До глубокой старости
Дожила сердешная —
Не видала радостей;
Душу сказкой тешила.

Сказки полуночные,
Времена досельные...

...Реченьки молочные,
Берега кисельные.

Запасаясь на годы,
Из лесов низинами
Носят чудо-ягоды
Полными корзинами.

За горами-кручами
В старости не старятся,
На пески сыпучие
С неба звезды валятся.

Есть в стеклянной будочке
Золотые бабочки.
На хрустальном блюдечке
Наливные яблочки.

Эта всяка всячина,
Самобранки-скатерти
На замки висячие,
На запоры заперты.

И хранят их черные
Силы несусветные...

Есть ли тропки торные
В те края заветные?..

Где жила — не ведала,
Что вокруг — не видела,
Дальше поля дедова
Не бывала с выдела.

В ноченьку кромешную
Убивалась старая:
«Приюти мя, грешную,
Господи, устала я.

Оборви постылую
Жизнь.
Желаю малого...»
И Господь могилою
Бедную пожаловал.

Гроб сосновый сделали,
В лес дремучий вывезли,
Под березы белые
Крест сосновый вынесли.

Смертыньки выпрашивала,
Чтоб спастись от бремени...

Дожила б до нашего
Золотого времени!

Новыми бы сказками —
Не про ведьм и лешего,
Новыми побасками
Ты внучат потешила.

1938–1940

ВОЛОГОДСКОЕ НОВОГОДНЕЕ*

С новой запевкой на Новый год
Девка на лавке веревку вьет.
Косы у девки до полу, до пят,
В ковте булавки — головки горят,
Брошка на ковте, пуговки в ряд,
Цветики на ковте...
Добер наряд!

А вьюга по окнам ставнями бьет,
В ров за деревней набит сумёт,
Снег повсюду — не видно дров,
И вовки воют у самых дворов.
Гавкают собаки, боров ревет...

---

* При чтении акцентируется «в». Звука «ф» в стихотворении нет — особенность произношения в некоторых районах Севера — *Примеч. А. Яшина*

А девка на лавке веревку вьет,
Веревку вьет да припевку поет,
Припевку-запевку на Новый год.

«Вейся-повейся, крепка, ловка,
Вейся, свивайся, на смерть вовкам.
Справлю обновку, взамуж пойду —
На эту веревку лиху беду,
Чтобы свекровка была не зла,
Чтобы золовка была не в козла,
Чтоб не терять мне девичью стать,
С милым в ладу годов не считать,
Чтобы от сдобных печных пирогов
Духом парным распирало кров.
Вейся ж, свивайся...»

А вьюга ревет,
Девка на лавке веревку вьет.

1935–1936

СОСНА

С головы зелена,
Стволом красна,
Высока, стройна
Растет сосна.

Как невеста на выданье
На большом пиру, —
Лучшей не видано
Во всем бору.

Иглами вышила
Неба треть.
Всем она вышла —
Любо смотреть!

Каких только ягод
Нет под сосной!
Здесь белка-летяга
Гостит весной,

Здесь тетерев грузный
Бруснику ест,
Здесь влажные грузди,
Маслята есть.

Здесь все для соленья
И все для варенья —
Хоть целым селеньем
Живи, ночуй!
А мох для оленя —
Ешь не хочу.

Сколько же дереву
От роду лет?
А столько лет,
Что и счету нет.

Но топор ссечет,
И вот он — счет.

1939

ЗВЕРОЛОВ

Рыжий парнище сел на пенек,
Семечки жареные шелушит.
Сосны шумят промеж двух дорог.
Складный да ладный такой паренек:
Руки —
Медведя за горло душить
И корчевать на нови пеньки,
Ноги — по мерке сапог не найти...
Как опаленные мотыльки,
С губ на траву шелуха летит.

Он неподвижен,
А перед ним,
Косы развеяв по ветерку,
Девушка — белое с золотым —
Белкой сидит на низком суку.

— Ах, — говорит, — до чего ж он мил!
(И зверолов глаза опустил.)
С вами не страшно,
За вашей спиной
Я бы смеялась над сатаной.

Вы сатану согнете в дугу.
Ну, поведите ж меня в тайгу,
В выломки, в глушь, под хвойный навес,
Это же вотчина ваша — лес.

Рыжий чуть слышно гудит:
— Ага! —
Роет песок носком сапога,
Перестает шелушить меледу
И отвечает:
— Не поведу!

Но продолжается разговор.
— Слышала, вы по родне — помор.
Вам сызмалетства своя — волна,
Кровь ваша, как волна, солона.

В море, когда зашумит прибой,
В море возьмите меня с собой,
Не подведу вас, не осрамлюсь!.. —
Парень, потупясь, мычит:
— Боюсь!

Девушка смотрит ему в глаза
И удивляется: вот бирюк!..
Мимо, треща, летит стрекоза,
Дикие пчелы звенят вокруг.

Как этот увалень ей смешон:
Жмется, краснеет средь бела дня.
— Что вам бояться?
Такой большой!
Ну, поведите в горы меня.

Там, говорят, и медведи есть,
Ходят к подножью малину есть.
Горные склоны в густом хмелю...
Может быть, там я вас полюблю...

У зверолова дрожит рука.
Смотрит на девушку:
Как легка!
В пуговках вся, в стеклянном огне...
И не сидится ему на пне.

Если теперь пареньку запеть —
Склонится бор, засвистят стрижи;
В чащу пойти —
Никакой медведь
Лучше и глаз ему не кажи.

Так у него вся душа горит,
Словно кто шепчет ему:
— Не трусь!..

Долго на девушку он глядит
И говорит ей:
— Тебя боюсь!

1940

ПОЖАР В ЛЕСУ

И день, что ночь —
Почти не рассвело.
Какие-то проезжие прохвосты
Зажгли тайгу, —
Кругом в дыму, как остров,
Проснулось беспокойное село.
Бежали звери.
Лопалось стекло.
Земля в лесах коробилась берестой.

Кольцуясь, огневые языки,
Как черные крылатые драконы,
Свистя, взмывали над тайгой зеленой
И с ревом рвали небо на куски
И подбирались к солнцу.

Никогда
Еще в деревне так не волновались,
В дома была наношена вода,
В ушаты, в бочки налита вода.
Баграми в каждом доме запасались.

Лопаты изготовили.
Не мог
Никто глядеть на черный дым без боли.
Колхозники с утра сходили в поле,
Тянулись к небу:
— Дождь бы хлынул, что ли!..
Из города разведчик-самолет,
Гудя, пронесся в сторону пожара.
На миг вздохнул свободнее народ...
Но лес горел,
И воздух был все жáрок.

И вот в деревню в полночь прискакал
Из сельсовета конник.
Все правленье
Сидело в сборе,
Затая волненье,
Он уговаривать правленье стал,
Что понимает, мол, —
Народ устал,
Что, может быть, и поворчит селенье,
Но лес-то ведь — народное добро,
И разъяснять
И убеждать, мол, будем.
Давайте же селение разбудим
И миром —
Кто с пилой, кто с топором...

Тогда в ограде грохнуло ведро:
Под окнами уже собрались люди.

Все девушки — не только мужики,
Сошлись —
Напрасно было опасенье!
И двинулось еще одно селенье
В глухую ночь
В раструб глухой тайги.

Каким же будет наше ополченье,
Когда на нас набросятся враги!

Живу в лесах,
Смотрю не первый год:
Любовь к отчизне люди в сердце носят,
Войны не хочет умный наш народ,
Но, кажется,
Здесь каждый камень ждет,
Когда его врагу навстречу бросят.

1940

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ

Лежал песок, и солнце пекло
Рыхлое желтое темя.
Щепотку одну запаяли в стекло,
И вот:
Земля измеряет время.

Завод у часов на минуты — не дни,
Но время под нашим началом:
Стечет песок — часы поверни,
И станет конец
Началом.

И кажется мне, что и я таков:
Вечером еле сидишь на стуле,
Свалишься, будто мертвый, без слов,
А утром поднимешься — жив-здоров,
Словно перевернули.

Может, и смерть такая придет:
Друзья наготовят тесу,
А смерть тебя, как часы, повернет —
И снова несется за годом год,
И нету тебе износу.

1939

ЗАРЕЧНASS КРАСАВИЦА

Шел к подружке парень вечерком
За реку
По лаве перекошенной.
Сапоги скрипучие на нем,
Поясок малиновый, неношеный.

Шел и думал:
«Встретит, прибежит,
Изловлю веселую за лапушки...»
А река возьми да покажи
Камушки ему со дна и ракушки.

Засмотрелся, словно не видал,
Грохнулся со всей своей обновою.
Хохотнула хитрая вода
И накрыла голову бедовую.

Девушка милого заждалась,
Стала думать всякую напраслину.
Причесалась, в ленты убралась,
Нарядилась в кофточку атласную.

А не видно милого дружка.
За водой пошла,
Глядит: под лавою
На воде-реке от пояска
Кисточки малиновые плавают.

Вскрикнула и ринулася в дол,
На берег тропой, росой вечернею,
Подоткнула ситцевый подол
И давай реку ведром вычерпывать.

Разливает воду по лугам,
А сама клянет реку, горюшица:
— Чтобы этим желтым берегам
На тебя, коварная, обрушиться!

Стой, как лужа старая, мутна,
Тухлой рыбой в заводях запружена.
Чтоб тебе, неладная, ни дна
Ни покрышки
За разлуку с суженым.

Как тебе не жить без ключевой
Без воды,
Не шириться, не вырасти,
Так и мне, сиротке, без него,
Без любимого,
И дня не вынести...

Вычерпала девушка реку
Иль река не стала худославиться,
Но погибнуть милому дружку
Не дала заречная красавица,

Пронесла его через овраг,
Уложила на траву
Под кленами...

Если б жены нас любили так,
Нас водою не разлить бы с женами.

1939–1940

* * *

Мороз расписал оконные стекла,
И сказочной стала моя изба.
Пред этой искусной работой поблёкла
Резьба по кости, по берёсте резьба.

На темном стекле, что на негативе,
Как перья фазаньи, лежат штрихи.
Что́ если б не таяло!
Диво на диве:
То горная круча, то речка в разливе,
То звезды, то ласточки, то лопухи.

Не этой ли индевью, росписью этой
Кудесников Палеха дышит кисть?..
Взгляни на узоры морозные к свету,
В пушок, в завихрения эти вглядись.

Тоскуешь о море —
Увидишь море,
О доме тоскуешь —
Увидишь дом:
Уставшую мать в цветастом уборе,
Старинный колодец на сельском угоре,
Четыре березы под самым окном.

Грустишь, что навек расстался с любимой, —
Глаза ее хлынут в сердце твое,
И станет она ощутимой и зримой.
А ветер, а вьюга, летящие мимо,
Напомнят и голос грудной ее.

Дивлюсь на стекло, поднявшись с рассветом,
И не дыша стою перед ним...
Не так ли читаем любимых поэтов:
Находим все,
Что найти хотим.

1939

* * *

Я родился́ в тринадцатом году.
Нет, не в избе и даже не в постели,
А на гумне, в углу, на холоду,
Но в золоченой был крещен купели.

Мы жили впроголодь, в чаду, в грязи,
Лучиной прокопченные, в коросте.
Но иногда отец домой с погоста
Нам в позолоте пряники возил.

Жизнь — беспросветная нужда,
Все где-то понемножку золотилось.
Мать приучила верить в Божью милость,
Отец твердил, что горе — не беда.

1948

ПРИСКАЗКИ

Бабушке Авдотье Павловне Поповой

1

Метель вертела землю. Падал снег
То хлопьями,
То мелкий, бесноватый.
Все чаще деревянные лопаты
Прокладывали к низким окнам свет.

Чуть прояснится —
Скрипнет журавель,
Возьмут воды хозяйки из колодца,
И вновь сорвется с привязи метель,
И над лесами снова рев несется.

В такие дни закрыты все пути,
И хорошо в одном дому собраться,
Курить, да сеть артельную плести,
Да песни петь, — они всегда в чести! —
С мечтой и шуткою не расставаться.

— Теперь бы нам бы чудо-сапоги,
Ковер летучий да коня-савраску,
Коня такого, чтоб сказал: беги! —
И ни тебе дороги, ни пурги,
Хоть до Москвы —
Ни холода, ни тряски.

— Авдотьюшка,
Давай, родная, сказку!

И, продвигаясь за сосновый стол,
Довольная,
Что вновь ее почтили,
Авдотья начинала:
— Жили-были...

А снег все шел.
И мужики курили.

2

Медведь лежал на берегу реки,
Лениво лапой рыбу выгребая,
И свежевал ее и ел.
Живая,
Широкая, зажатая в клыки,
Хлестала рыба зверя по глазам.
Рычанье разносилось по лесам.

Охотники подкрались с трех сторон.
Договорились: чтоб не портить шкуры,
Стрелять лишь двум.
Но не таков был бурый:
Лишь за семь пуль расстался с жизнью он.

Уже впотьмах спешили к шалашу,
К огню, к вину, к медвежьему борщу.

Тайга уснула.
В темные лога,
На просеки плашмя упало небо.
За мясом рысь пустилась, мышь за хлебом,
Сова за мышью...
Ожила тайга.

И до чего ж была пестра, остра
Охотничья побаска у костра!

3

Девушка спустилась под откос
С золотой косой густых волос.
Под косынку косу убрала,
На стальную косу налегла
Да прошла береговой косой
По зеленой по траве с косой,
Полосой прошла не раз, не два —
Прослезилася росой трава.

Далеко от дома сенокос,
Для бригады надо хлеба воз;
Две недели надо спать в лесу,
По утрам сбивать с травы росу,
В полдень сено теплое грести —
Вёдренной поры не упустить.
Ночью отдыхает молодежь —
Но без сказки разве отдохнешь?

У лесной избушки дым и гам.
Лягут косари у очага,
И тайга замрет, и дым замрет:
Всё глядит седому деду в рот.
Складно врет в делах бывалый дед:
Лыко в строку —
Слово слову вслед.

И пойдут по лесу лешаки,
Опираяся на кушаки,
Вилами азямы повязав,

Ноги в руки,
На ремень глаза,
Дальнюю дорогу на плечо...
Дед их знает всех наперечет.
Машут в соснах лешаки кольем...
Было все.
Да поросло быльем.

Все заснут, придвинувшись к костру,
Лишь не спит бывальщинка в бору.
Складная, как песня на пиру, —
Носа не просунуть комару.

*

Так по сузёмам Юга и Двины
И в клубах новых,
И в домах старинных
Окуренные на века в овинах
Живут поныне сказки и былины,
Бывальщины,
Побаски старины.

Они, как взлет натруженной мечты,
Как дым костра, пьянят и согревают...
Все лето
По всему родному краю
Набрякшие, скрипя, плывут плоты.

И на любом — необходим, как свет,
И обожаем, словно бог удачи, —
Артельный сказочник, кудесник дед,
На весь сезон подряжен и оплачен.

Игольчатая, с блестками свинца,
Струит Двина просмоленные воды.
Плывут плоты при всякой непогоде —
Им нет конца.
И сказке нет конца.

Она шумит, как в ясный день тайга,
Течет рекой, то солнечной, то мглистой,
В узорчатых,
То низких, то скалистых,
Травой и мхом расшитых берегах.

Я до утра порой не мог заснуть
У бабушки.
Чего в тех сказках нету!
День наступал. Душа тянулась к свету.
Наставь, родимая, на светлый путь!

1937–1939

ПРОЗА

Рассказы

УГОЩАЮ PSSБИНОЙ

Мне и доныне
Хочется грызть
Жаркой рябины
Горькую кисть.

Марина Цветаева

Весной в Подмосковье, пряча лыжи на чердак, я заметил развешенные по стропилам кисти рябины, которую осенью сам собирал, сам нанизывал на веревки, а вот забыл о ней и, если бы не лыжи, не вспомнил бы.

В давнее время на моей родине рябину заготовляли к зиме как еду, наравне с брусникой, и клюквой, и грибами. Пользовались ею и как средством от угара, от головной боли.

Помню, вымораживали мы тараканов в избе, открыли дверь и все окна, расперев их створки лучиной, а сами переселились к соседям. За зиму таким способом избавлялись от тараканов почти в каждом доме. В лютый мороз пройдет несколько дней — и ни одного прусака в щелях не остается. Вернулись мы в свою избу через неделю, мать принялась калить печь, да закрыла трубу слишком рано, не рассчитала, и к вечеру мы все валялись на сыром полу, как тараканы. Не знаю, что с нами было бы, если бы не мороженая рябина. Странно, может быть, но сейчас вспоминать об этом мне только приятно.

В Подмосковье я собирал рябину больше из любви к этим своим воспоминаниям о детстве да еще потому, что в прошедшем году уродилось ее на редкость много, и жалко было смотреть, как сочные красивые ягоды расклевывают дрозды.

На темном чердаке под самой крышей связки рябины висели, словно березовые веники. Листья на гроздьях посохли, пожухли и свернулись, и сами ягоды, перемерзшие за зиму, тоже чуть сморщились, вроде изюма, зато были вкусны. Свежая рябина — та и горьковата, и чересчур кисла, есть ее трудно, так же как раннюю клюкву. Но и клюква, и рябина, прихваченные морозом, приобретают ни с чем не сравнимые качества: и от горечи что-то осталось, а все-таки сладко и, главное, никакой оскомины во рту.

Цвет рябиновых ягод тоже за зиму изменился, он стал мягче и богаче по тонам: от коричневого, почти орехового, до янтарного и ярко-желтого, как цвет лимона. Впрочем, почему это нужно сравнивать рябину с лимоном, а лимон с рябиной?

Попробовав ягоды тут же на чердаке, я первым делом обрадовался, что опять смогу как-то побаловать своих детей и лишний раз доказать им, что деревенское детство не только не хуже, а во многих отношениях даже лучше детства городского.

Не знаю, как это передать, объяснить, но всю жизнь я испытываю горечь от того, что между мною и моими детьми существует пропасть.

Нет, дело не в возрасте. Дело в том, что я был и остаюсь деревенским, а дети мои городские, и что тот огромный город, к жизни в котором я так и не привык, для них — любимая родина. И еще дело в том, что я не просто выходец из деревни, из хвойной глухомани, — а я есть сын крестьянина, они же понятия не имеют, что значит быть

сыном крестьянина. Поди втолкуй им, что жизнь моя и поныне целиком зависит от того, как складывается жизнь моей родной деревни. Трудно моим землякам — и мне трудно. Хорошо у них идут дела — и мне легко живется и пишется. Меня касается все, что делается на той земле, на которой я не одну тропку босыми пятками выбил; на полях, которые еще плугом пахал; на пожнях, которые исходил с косой и где метал сено в стога.

Всей кожей своей я чувствую и жду, когда освободится эта земля из-под снега, и мне не все равно, чем засеют ее в нынешнем году, и какой она даст урожай, и будут ли обеспечены на зиму коровы кормами, а люди хлебом.

В недавние годы бригадиры разыскивали в лесах и на заполосках жалкие стожки сена, по охапке собранные колхозниками в нерабочее время для своих коров, и либо вывозили их на колхозные гумна, либо сжигали на месте, чтобы не доставалось добро ни скоту, ни Богу. В озноб кидало людей у таких жарких костров. Неужели подобное может встречаться еще и поныне?

Не могу я не думать изо дня в день и о том, построен ли уже в моей деревне навес для машин или все еще они гниют и ржавеют под открытым небом, и когда же наконец будет поступать для них столько запчастей, сколько нужно, чтобы работа шла без перебоев, и о том, когда появятся первые проезжие дороги в моих родных местах, и когда сосновый сруб станет клубом, и о том, когда мои односельчане перестанут наконец глушить водку, а женщины горевать из-за этого.

А еще: сколько талантливых ребятишек растет сейчас в моей деревне и все ли они выбьются в люди, заметит ли их вовремя кто-нибудь и кем они станут?..

По утрам я будто слышу, как скрипят колодезные журавли на моей неширокой улице и холодная прозрачная вода из деревянной бадьи со звоном льется в оцинкованные ведра. Скрипят ли журавли теперь? Уцелел ли тот колодец вблизи нашей избы, из которого я сам много лет носил воду на коромысле?

Что до всего этого моим сыновьям и дочерям? Во всяком случае, они не крестьянские дети и потому не чувствуют, как мне кажется, и не понимают моего детства. Разные мы люди, из разного теста сделаны и, должно быть, по-разному смотрим на мир, на землю, на небо.

Но, может быть, я не прав, попробуй разберись в этом.

Ревность и обида мучают меня, когда между нами опускается вдруг некий занавес и мои многознающие отпрыски вдруг начинают даже бунтовать, подтрунивать надо мною из-за того, что меня каждое лето тянет не в теплые края, не к синему морю, а все в мои северные дебри, к комарам да мошкам. Они же комаров и мошек терпеть не могут. Да и то сказать, не каждый человек способен свыкнуться с этой нечистью на земле.

Запах скотного двора, унавоженных полей и соломы меня бодрит, я вспоминаю о свежеиспеченном хлебе, а для моих детей запах навоза только вонь, и ничего больше.

У художника Серова есть замечательная картина «Волы» — у старого Серова, не у нынешнего. Вряд ли мои дети чувствуют всю прелесть этого серовского шедевра. Даже когда сыновья мои попадают в деревню, их привлекает больше трактор, а не живая лошадь, совершеннейшее из созданий природы. С машиной управляться легче, чем с живым существом...

Правда, и деревенские ребятишки теперь охотнее играют не в лошадки, а в трактор, в автомобиль, как во время войны играли в войну. И, может быть, мои страхи преувеличены. Но все-таки мне почему-то жаль иногда своих детей. Жаль, что они, городские, меньше общаются с природой, с деревней, чем мне хотелось бы. Они, вероятно, что-то теряют из-за этого, что-то неуловимое, хорошее проходит мимо их души.

Мне думается, что жизнь заодно с природой, любовное участие в ее трудах и преображениях делают человека проще, мягче и добрее. Я не знаю другого рабочего места, кроме земли, которое бы так облагораживало и умиротворяло человека.

В общем, жаль мне своих детей, но я люблю их и потому не упускаю случая постоять перед ними за свою сельскую родословную, за своих отчичей и дедичей.

И сейчас, обнаружив забытую на чердаке рябину и вспомнив, с каким наслаждением мы в детстве ели ее, мороженую, я опять решил про себя: вот угощу — и почувствуют мои птенцы, что значит настоящая природа, настоящая Россия, и мы больше будем понимать друг друга.

Кстати, и цветет-то рябина удивительно красиво, пышно и тоже гроздьями. Каждое соцветие — целый букет. Но весной разных цветов так много, что эти белые кремовые гроздья на деревьях как-то не бросаются в глаза. К тому же весной детям моим не до цветов, не до красот природы, не до поездки в деревню. Школьные перегрузки, часто нелепые, не оставляют времени у них и у преподавателей, чтобы интересоваться живой землей. Да и осенью, когда на полосах поспевает горох, на грядках овощи, а в ле-

сах грибы, брусника, княжая ягода, они, дети, должны быть в городе, за партами, и если что видят, то лишь на торговых лотках.

А все-таки...

Но прежде чем встретиться со своей семьей, я со связкой рябины на веревке появился в кругу товарищей по работе. Всегда приятно чем-нибудь одаривать людей, и потому я особенно обрадовался, когда рябина моя взволновала моих знакомых.

Один из них, ширококостный, шумный, автор колхозных романов, первый шагнул мне навстречу, сказал: «Ого!», взял связку из моих рук, чтобы сначала ощутить ее тяжесть, покачал вверх-вниз и, как знаток, понюхал.

— Ого! — повторил он. — Вот это да! Рябина! Можно?

Он отщипнул одну ягодку, затем другую, взял на язык, почмокал, разжевал.

— Неужель с родины?

— Нет, здешняя, подмосковная.

— Ты смотри! Сколько ни обламывают, а все жива... Вот что значит русская рябина!

И он стал осторожно перебирать сухие, плотно слежавшиеся бурые и серые листья и открывать, как бы развертывать гроздья янтарных и красных ягод.

— Да, северный виноград! Витамины! — причмокивал он. — У нас раньше под каждым окном в деревне два или три дерева обязательно росли. Были одноствольные, а то — кустом, от корня в четыре-пять стволов. Весной аромат по всей избе. Что за дом без своего садика под окнами! Мало под окнами, у нас даже за двором, на участке, где-нибудь около гумна отводили уголок для деревьев. Черемуху на

участке обычно не сажали, от нее заразы много, на сладкое, как известно, всякая пакость лезет. А рябину сажали частенько. Наверно, ведь и в ваших местах палисаднички были? Все помнишь?

— Как не помнить! Любили и мы по черемухам да по рябинам лазить, хлебом не корми.

— Вот, вот, — обрадовался он, — хлебом не корми! А наши дети растут! Даже по крышам не лазят. Что за детство! Лошадей да коров только на картинках видят. Один рвется к бильярду, хлебом не корми, другой мечтает за руль сесть. И развязные какие-то... Мой младший на днях встретил старика Чуковского, Корнея Ивановича, — живого Чуковского! — и спрашивает: «Как жизнь?». Вроде по плечу похлопал. А потом заглянул к нему в открытый гараж и говорит: «Я не знал, что у вас ЗИМ!». Корней Иванович, конечно, расхохотался. Расхохочешься!

«Ну, к моим детям это не относится, — с удовлетворением подумал я. — Мои не такие, и, может, потому, что у меня их много и не так им просто и легко живется».

А он продолжал:

— Между прочим, у нас раньше пироги пекли с черемуховыми ягодами. Зубы у всех были крепкие, ешь — хруст стоит. А из рябины не помню, что делали... Спелые кисти ее раскладывали на зиму промеж оконных рам, это уже для красоты. На белых листочках из школьных тетрадей — красные крапинки... И на рушниках вышивали рябину — хорошо!..

Воспоминаний сельского романиста, его красноречия уже невозможно было остановить. Я слушал и ждал: вспомнит ли об угаре?.. Вспомнил!

— Знаешь ли, что в деревнях рябина спасает людей от угара? Зимой печи топят жарко, поторопится баба закрыть трубу, чтобы тепло сберечь, — и все в лежку лежат. Ну, принесут этакую вот связку с потолка и жрут. От наших морозов тараканы валятся, а рябина становится только слаще. Как говорится, что русскому здорово — то... и так далее. Что ты скажешь, проходит угар, голова не трещит. К чему все эти пирамидоны, анальгины, тройчатки? То ли дело натуральная целебная сила! — И он, шумный, так захохотал, что можно было подумать, не смеется, а кричит на кого-то. — Твоя ягодка уже оттаяла, а все еще вкусна. Я возьму веточку с собой?

— Бери, пожалуйста, не одну.

Он взял и снова начал настраиваться на воспоминания:

— Да, вот ведь как, рябина... А все-таки, что мы такое из рябины делали?..

— Настоечку, настоечку из рябины делали, вот что! Как же забыть такое? — заинтересованно вклинился в разговор другой мой знакомый и тоже с удовольствием стал сощипывать ягоду за ягодой.

А третий неожиданно спросил:

— Что это?

— Рябина, конечно.

— Да? Рябина? — удивился он. — «Что стоишь, качаясь?». Откуда она у вас?

— Осенью красовалась под окном, а зимой висела на чердаке.

— Это интересно, расскажите, расскажите!

Еще не разобравшись толком, действительно ли ему это интересно, я стал рассказывать. Но что, собственно, было рассказывать? Чего такого он мог не знать про рябину?

— Пожалуйста, спрашивайте, что вас интересует?

— Как что интересует? Прежде всего — дикая рябина или садовая?

— Была дикая, сейчас растет на участке. Принес из лесу несколько тоненьких, задавленных кустиков, пересадил под окна, на свободе они принялись, похорошели. Пока за рябиной ухаживаешь, заботишься о ней — она не дикая, и ягода крупнеет, добреет, а перестань заботиться — одичает рябина, запаршивеет, и ягода станет мелкой, горькой, чуть ли не ядовитой.

Любознательный друг мой засиял от догадки:

— Происходит, собственно, то же, что и с людьми?

— Собственно, то же, — подтвердил я. — Вот уже вторую осень от дроздов на моей рябине отбою не было.

— Очень интересно! И дрозды, значит, рябину любят?

— Как же, любят! Есть дрозд, которого так и зовут: рябинник.

Тут первый знакомый снова включился в разговор.

— А ты не замечал, — обратился он ко мне, — когда на рябину урожайный год, дрозды, что ты скажешь, зимовать остаются? Не замечал?

— Замечал, — ответил я.

— Конечно, не все, а которые посмелее, самые отчаянные, так сказать.

— И не одни дрозды, наверно. Кстати, в этом году так и случилось: большие стаи птиц в наших перелесках остались на зимовку, уразумели, что от добра добра не ищут.

— Очень интересно, — заговорил опять городской книгочей. — Вот ведь какое дело! И как же вы ее приготовили, рябину?

— Что ее приготовлять? Обломал гроздья с дерева, прямо с листьями, как видите, взял веревку, привязал к ее концу палочку-выручалочку и нанизал гроздья на веревку. Вот и вся работа.

— Удивительно интересно! А что потом?

Я начал улыбаться забавной обстоятельности его вопросов. Но вправе ли я был ожидать и тем более требовать, чтобы и этот мой товарищ, у которого свой круг жизненных интересов, отличный от моего, но одинаково важный и нужный, чтобы и он смотрел на мою рябину так же, как я на нее смотрю? Не было у меня такого права. Значит, неуместна была и моя ирония. Другое дело — если бы дети мои так же интересовались всем, что касается моего детства!

— Что потом, говорите? А попробуйте! — И я с готовностью протянул ему раскачивающуюся цветастую гирлянду.

— И что же, ягоды замерзли зимой? — продолжал допрашивать меня коренной горожанин.

— Ледышками стали. Да вы отведайте, не бойтесь!

— А вкус их изменился от этого? Кислые они или какие?

Один раз он даже тронул листья, пошуршал ими, но так и не решился взять в рот ни единой ягодки. Что же, выходит, я должен жалеть и его? Хватит ли у меня жалости на всех?

— Ах, что за прелесть, что за прелесть! — восторженно заахала вдруг накрашенная немолодая дама, печатавшая в газетах очерки на морально-бытовые темы. — Это же диво дивное, чудо чудное! И как па-ахнет! Можно я понюхаю?

— Может быть, хотите и попробовать?

— С удовольствием! И вы не пожалеете?

Она быстро клюнула ягодку, съела ее, сморщилась и заахала еще энергичней.

Я снял сверху несколько кистей, протянул ей.

— Ах, что вы, ах, зачем вы! — обрадовалась она. — Разъединять такую прелесть, такое творение природы! Как можно! — Но гроздья рябины приняла. Приняла бережно, из рук в руки, как если бы это был сигнальный экземпляр ее новой книжки. Затем вынесла из своей комнаты огромный оранжевый апельсин и не отступилась, пока я не согласился взять его взамен рябины.

— За добро надо платить добром! — многозначительно сказала она.

А рябиновые кисти тут же опустила в стакан с водой — «Вот так!» — и не переставала ахать от восторга и удовлетворения:

— Какой букет, ах! Он у меня будет стоять на письменном столе. Это же сама Россия!

Сама Россия!.. Я вспомнил о Бобришном Угоре на моей родине. Осенью, когда похолодает, и по утрам река светла до дна, и лесные опушки просвечивают насквозь, когда на мокрой от росы траве посверкивает паутина, а в ясном, прозрачном воздухе носятся стаи молодых уток, — вдруг из всех перелесков выдвигаются на передний план нарядные, увешанные гроздьями рябины: вот они мы, не проглядите, дескать, не пренебрегайте нашей ягодой, мы щедрые! Ветерок их оглаживает, и ерошит сверху донизу, и птицы на каждой ветке жируют, перелетая, как из гостей в гости, с одной золотой вершины на другую, а они стоят себе, чуть покачиваясь, и любуются сами собой...

Хлынет дождь — и засверкает весь речной берег. Стекает вода с рябиновых кистей, капелька за капелькой, ягоды красные и капли

красные; где висела одна ягода — сейчас их две, и обе живые. Чем больше дождя, тем больше ягод в лесу...

Все, конечно, может примелькаться, ко всему со временем привыкаешь, но такое не заметить трудно. Вскинешь голову и неожиданно для себя, как после долгой отлучки, и словно бы уже не глазами, а каким-то внутренним, духовным зрением увидишь всю эту красоту в удивительно чистом, завораживающем сиянии. Увидишь, как в первый раз, все заново, и радуешься за себя, что увидел. Ни на яву, ни во сне этого забыть нельзя. Вот она какая, наша рябина!

Недаром же, истосковавшись по родине, русская поэтесса, сколь ни уверяла себя и других, будто ее уже ничто не может обольстить, что ей «все — равно и все — едино», все безразлично, под конец стихотворения спохватывалась и признавалась:

Но если по дороге куст
Встает, особенно — рябина...

Дальний мой родственник, химик Аркадий Павлович Ростковский, которого судьба забросила на всю жизнь в знойный, раньше далекий от России Ташкент, влюблен был в экзотику Востока, во все эти древние мозаичные медресе, и лепные мечети, и караван-сараи, даже чай пил только из пиалы, а все-таки настойчиво, до конца дней своих пытался заставить расти у себя под окном простую русскую рябину. Правда, не удалось это ему...

Конечно, и рябина может примелькаться. Однажды ко мне на Бобришный Угор, в мою охотничью избу, приехал осенью друг из

Ленинграда. Я не знал, чем порадовать его, а он глянул поутру из окна и, как заговорщик, шепнул мне:

— Под окном-то у вас красавица стоит, не видите?

Я с перепугу принял его слова всерьез, бросился к окну и ахнул: под окном действительно стояла настоящая красавица. Рябина! Как же я раньше ее не заметил?

Сама Россия!.. Вспомнил я и о цветочных горшках на окнах городских квартир, о маленьких жалких клумбочках во дворах многоэтажных зданий, а то прямо у лестниц, справа и слева от входных дверей, о клумбочках, выхаживаемых кропотливо и бережно горожанами. Все они, сознавая или не сознавая, тоскуют по настоящей природе. Горшки и клумбы — разве это природа?

— Позвольте-ка причаститься и мне! — протиснулся к рябине сквозь толпу пожилой грузный литератор с седыми усами, в коричневом шерстяном свитере, в черной академической шапочке на голом черепе. — Редко я сейчас ее вижу, а в юности, бывало, мы носили ее с реки целыми корзинами, пестерями. А то затянем пояса потуже и набьем под рубахи вокруг себя, прямо к голому телу, сколько могло уместиться. С реки отправляемся толстые, как бочки, а по дороге едим да в дудочки постреливаем, и чем ближе к дому, тем тоньше становимся. Как это точно сказать: *тончаем, тонеем, утончаемся?* — (Начались муки слова!) — Нет, *утончаемся* сказать нельзя, смысл другой... Самая бесподобная рябина, конечно, мороженая. Кстати, от угара хорошо помогает...

И он стал вспоминать о том самом, о чем мы уже переговорили. Мы не перебивали его.

— Человек не может не тянуться к природе, он сам ее творение, — сказал он наконец.

— За чем же дело стало? — спросили его не без упрека сразу в несколько голосов. — Ехали бы в деревню, жили бы на подножном корму, примеров не мало.

— Э, молодые люди! Вы, кажется, злитесь? А рассуждали, наверное, о союзе с природой, о том, что она смягчает нравы? Дело простое: сначала нужен был институт, затем потребовались издательства, журналы... Затем городская жена появилась... Сейчас, к сожалению, я уже не могу спать на сеновале и носить воду из колодца. Вот в будущем, на которое мы сейчас работаем, должна наступить гармония между городом и лесом. Зеленоград! Для меня это звучит, как, наверное, для первых русских революционеров звучало слово «социализм»...

По-разному относились знакомые к моему угощению и разными глазами на него смотрели.

Какая-то девушка воткнула рябиновую кисть себе в прическу и тотчас побежала к зеркалу: в черных волосах ее заблестели почти настоящие рубины. Потом она попросила еще две-три кисти ягод, чтобы сделать из них бусы.

— Я каждую ягодку лаком покрою, — объяснила она.

Молодой поэт сказал:

— Сколько песен сложено о рябине, а еще хочется. Ветку рябины надо бы вписать в наш герб...

Случись художник, и он, вероятно, сказал бы нечто подобное:

— Сколько картин написано, а еще одной не хватает. Моей! Странно, что в лепных орнаментах у наших архитекторов много винограда и нет рябины...

А гардеробщица Поля подошла к делу чисто практически:

— Я вот заморю эту веточку по-нашему, по-рязанскому, да чаек заварю, побалуюсь, молодое житье вспомню. Раньше у нас девки рябиной милых привораживали. Помогало. Я уж отворожила...

Ягод у меня было много, я не боялся, что их не хватит для моих детей, только неотступно думал о том, как они примут их, понравится ли им моя северная, моя деревенская снедь.

Но больше всех поразил меня последний из подошедших. Он просто по-дружески сказал мне:

— Слушай, Сашка, продай мне все это!

— Как это продай? — растерялся я.

— Ну так, все эти «витамины». А не хочешь продать — отдай так, я тебе тоже подкину какой-нибудь сувенирчик. — И он стал рыться в своих многочисленных широких карманах, небрежно раздергивая серебристые змейки — «молнии».

Нужна ему моя рябина! Но я все-таки дал веточку и ему. При этом мне очень хотелось сказать: «Поешь, может, на пользу пойдет!».

Но я ничего не сказал.

После разговора с ним я быстро покинул дом, где жили и творили мои товарищи.

А дети мои взялись за рябину сначала недоверчиво, морщась и вздрагивая так же, как осенью, когда ели упругие и сочные ягоды прямо с дерева. Но скоро они набросились на рябину азартно, съели

ее всю с удовольствием и все упрекали меня за то, что я не угощал их такой вкуснотой раньше.

— Это же совсем разные вещи! — говорила мне старшая дочь. — Неужели ты не понимаешь? Это разные рябины.

Вот оно как, я же и виноват оказался. Ладно, кушайте, раз по душе пришлось! И пусть она спасает и вас от любого угара, наша рябина.

А под конец, когда все успокоились, я услышал один доверительный и добрый голос:

— Папа, разве там, на твоей родине, много такой рябины? Может быть, осенью съездим, наберем, а? Той, вашей! Только ведь осенью опять в школу надо...

Март 1965

ПРОВОДЫ СОЛДАТА

Я долго верил, что запомнил, как уходил мой отец на войну. Верил — и сам удивлялся своей памяти: ведь мне было тогда не больше двух лет.

Сердобольные деревенские старушки часто тешили меня рассказами о погибшем батьке. В этих старушечьих воспоминаниях отец мой выглядел всегда только хорошим, и не просто хорошим, а необыкновенным. Он был силен и смел, весел и добр, справедлив и приветлив со всеми. Все односельчане очень любили его и жалели о нем.

Кузнец и охотник, он никого не обижал в своей жизни, а когда уходил на войну, сказал соседям, что будет стоять за родную землю так: «Либо грудь в крестах, либо голова в кустах».

Чем больше слушал я рассказов о своем отце, тем больше тосковал о нем, жалел себя, сироту, и завидовал всем ровесникам, у кого отцы были живы, хоть и без крестов. И все больше мои личные, правда, не очень ясные воспоминания совпадали с тем, что я слышал о нем.

А припоминались мне, главным образом, проводы отца на войну.

Это было в ту осеннюю пору, когда вся земля начинает светиться и шелестеть сухой желтой листвой, когда и восходы и закаты кажутся особенно золотыми. Около нашего дома с незапамятных времен стояли четыре могучих березы. Я отчетливо вспоминаю, что они были совершенно прозрачными, что синее небо было не над березами, не выше их, а в самих березах, в вершинах, в сучьях.

Вся деревня собралась на проводы отца под березами. Народу было очень много, и людской говор и шум листвы сливались. Откуда он взялся в старой деревне, духовой оркестр, но он был, и медные трубы светились так же, как осенняя листва, как вся земля наша, и непрерывно тихо гудели. Отец мой, высокий, красивый, ходил в толпе и разговаривал с соседями, то с одним, то с другим; кому пожмет руку, кого по плечу потреплет. Он был здесь главный, его провожали на войну, его целовали женщины.

Я помню цветистые домотканые сарафаны, яркие желтые платки и фартуки. Потом отец взял меня на руки, и я тоже стал главным в толпе. «Берегите сына!». — говорил он, и ему отвечали всем селом: «Воюй, не тревожься, вырастим!».

Много мелочей об этих проводах вспоминал я отчетливо. Там было все — клятвы, объятия, советы на дорогу. Не запомнил я только слез. На праздниках не плачут, а для меня там все было праздничным. Самый же большой праздник начался, когда подали для отца тройку лошадей. Он сел в плетеную пролетку, которую у нас зовут тарантасом, крикнул: «Эгей, соколики!» — и кони понеслись. Уже вслед ему кто-то озабоченно успел спросить: «Табачок-то взял ли?» — затем все шумы покрылись громом медных ясных труб.

Широкая улица от нашего дома, от четырех могучих берез шла к полю, забирая немного вверх, на подъем. Полевая изгородь и ворота были хорошо видны. С обеих сторон околицы золотились березки. И вот, когда тройка на полном скаку подлетела к воротам, березки вдруг вспыхнули.

Может быть, их осветило в этот момент заходящее солнце, может быть, мне все это когда-нибудь приснилось, но березки вдруг вспыхнули самым настоящим огнем, а от них загорелись ворота. Пламя, очень яркое и совершенно бездымное, сразу охватило все сухие жердочки до единой. Разгоряченные кони не смогли остановиться перед горящими воротами, а открывать их было уже поздно и некому, отец мой вдобавок еще крикнул каким-то развеселым голосом, словно ударил молотом по звонкой наковальне, и кони вдруг взвились в воздух и перенеслись через огонь. Только колеса пролетки слегка задели ворота, из-за чего красные жерди рассыпались и ворох светящихся искр поднялся к небу.

Я хорошо все это запомнил и долго верил, что все было именно так. Позднее сам уходил на войну, и ощущение великой торжественности момента опять совпало с тем, что я вспомнил о проводах отца.

«Но как это могло быть? — спрашивал я себя, — Ведь мне тогда года два исполнилось, не более».

И вот что выяснилось со временем в связи с этими воспоминаниями.

В детстве мне приходилось порой слушать граммофон в доме моего дедушки. Бывали случаи, когда дедушка доверял мне самому проиграть одну-две пластинки. Тогда я раскрывал все окна горницы, ставил удивительный ящик на подоконник, направлял орущую зеленую трубу вдоль деревни и священнодействовал. Конечно, отовсюду сбегались ребятишки и с раскрытыми ртами издалека смотрели в трубу. А мне казалось, что они смотрят на меня, что я становлюсь героем не только в своих глазах, но и в глазах моих сверстников, что все они завидуют мне.

И я торжествовал. Не все же было мне, сироте, завидовать им. Вот я какой, вот я что могу — смотрите! А может быть, мой батько еще не убит, еще вернется он, тогда я вам покажу... Так я мстил за свои маленькие смешные обиды.

Спустя много лет, вернулся я в родную деревню, и в доме покойного дедушки довелось мне еще раз сесть за старый квадратный граммофон. В груде еле живых пластинок с наклейками, на которых были нарисованы то ангелочки, то собачка, сидящая у граммофонной трубы, нашел я одну незнакомую мне, уже с трещиной, пластинку — «Проводы на войну» или «Проводы солдата». Сердце ничего не подсказывало мне, когда я решил проиграть и ее.

Среди ржавых иголок выбрал я одну поострее, снова с усилием несколько раз провернул ржавую ручку, отключил тормоз и, когда собачка и зеленая труба на этикетке пластинки слились в один кру-

жок, опустил рычаг с мембраной. Сначала был только треск ржавой пружины и шум, словно иголку я опустил не на пластинку, а на точильный камень, — ничего нельзя было разобрать. Потом появились голоса, заиграл духовой оркестр, и я услышал первые слова: «Табачок-то не забыл ли?».

И сразу я увидел широкую свою деревенскую улицу, золотой листопад осени, толпу односельчан и родного отца, уходящего на войну. «Берегите сына!» — говорил он соседям. А его целовали и клялись ему: «Воюй, не тревожься, убережем!».

Дорогие мои, родные мои земляки! Что со мною было! Медные трубы оркестра звучали все яснее и взволнованней, их песня пробилась через все шумы времени, через все расстояния и наслоения моей памяти, очищая ее и воскрешая все самое святое в душе. Уже не одно село, а вся Россия клялась солдату сохранить и вырастить его сына. И опять не было слышно слез. Но, может быть, медные трубы заглушали их.

Потом я услышал звон бубенчиков и последние напутствия на дорогу. Вот, значит, откуда шли мои слишком ранние воспоминания. Вот где их истоки.

Но откуда же взялось золотое видение осени и горящие ворота сельской околицы? Это был, конечно, сон.

Ведь приснилось же мне однажды, что гвозди достают из дерева-цветка, который называется гвоздикой, а разноцветные нитки бисера находят готовыми в стогах гнилого сена, и я тоже долго верил, что это именно так и бывает.

Но нет, не только во сне привиделся мне бешеный скач тройки. Живет и поныне в нашем колхозе Петр Сергеевич, талантливый

конюх и лихой наездник. Это он мог часами ехать, не торопясь, лесом, полями — через пень-колоду. А перед деревней, перед людьми преображался он и преображались его лошади. «Эгей, соколики!» — вскрикивал Петр Сергеевич, широкая русская душа, и откуда бралась силушка в мохнатых ногах — со свистом, с вихорьком взлетал тарантас на горку мимо четырех моих берез. Бывало, самая незавидная лошаденка в руках Петра Сергеевича да на глазах у всей деревни, или, как у нас говорят, на миру, превращалась вдруг в конька-горбунка.

Услышал я недавно развеселый, из глубины души вырвавшийся крик моего земляка, как будто он бросился сломя голову вприсядку, и опять живой картиной встали в моей памяти проводы отца. И опять все показалось мне не выдуманным, не приснившимся, а подлинным — даже горящие ворота и сказочные кони, взвившиеся в воздух, — все, как провожала на войну родимая сторона своего солдата.

1954

СТАРЫЙ ВАЛЕНОК

— Ну как жизнь, старина? — ежевечерне спрашивал у своего приятеля седобородый нечесаный Лупп Егорович.

Толстый ленивый кот, давно прозванный Старым Валенком, спросонья поворачивал голову, чуть приоткрывал глаза и нехотя мурлыкал что-то невнятное. Можно было подумать, что он говорил: «И как

тебе не надоест из года в год спрашивать об одном и том же? Ну, живу по-прежнему! Вверх головой! Чего тебе еще? Экий человек, право!».

Лупп Егорович и Старый Валенок много лет жили вместе, и каждый думал, что он старше другого. По этой простой причине, по старости, они были одиноки, и обоим казалось, будто и дружат они лишь потому, что больше дружить не с кем и остается одно — терпеть друг друга.

Но и в их отношениях, кроме семейной привязанности, было взаимное уважение, а временами даже любовь.

Когда кот был молод и прост, он повсюду следовал за своим хозяином. Приохотился Лупп Егорович ходить перед праздником на рыбалку — и кот за ним. Поймает старик мелкую рыбешку: уклейку, пескарика или ершика — выбросит на берег, а кот ее съест.

— Хоть бы посолил! — потешался над Старым Валенком Лупп Егорович.

Но коту нравилась рыба и несоленая, была бы она живая. Сидит старик с удочкой, не шевелится, а рядом у края воды рыбачит кот, сторожит всякую мелочь, проплывающую возле бережка. Подплывет рыбка совсем рядышком, — в прозрачной воде она кажется крупной, — цапнет ее кот лапой и удивляется, что в лапе ничего нет. А Лупп Егорович хохочет:

— Это тебе не мыши!

Приохотился хозяин в силки рябчиков ловить — и кот начал промышлять птичек в лесу и на огороде.

Со временем приятели даже внешне стали походить друг на друга: Лупп Егорович, обзаведясь большой бородой и пышными бровями вроде двух кошачьих хвостов, все больше смахивал на лохматого

кота, а пушистый Старый Валенок — на Луппа Егоровича. Но сами они не замечали этого и любезничали друг с другом редко.

Старый Валенок с годами становился высокомерен, заносчив. Он презрительно смотрел со своей лежанки на возвращающегося поздней ночью волосатого Луппа и не трогался с места, даже когда тот начинал его гладить вдоль спины, только вытягивал хвост, чтобы рука старика прошлась и по хвосту. Мурлыкать от удовольствия, урчать, как положено всякому зверю кошачьей породы, Старый Валенок тоже не всегда находил нужным. А о том, чтобы сойти с лежанки, встретить приятеля у порога с задранным хвостом и потереться о его подшитые и заштопанные во многих местах катанки, он и думать не хотел. Такого случая ни он сам, ни Лупп Егорович уже не помнили. И если кот все-таки мурлыкал, то Лупп Егорович говорил:

— Мурлычешь, сукин кот, значит, жрать хочешь. Так просто, по доброте душевной, ты не замурлычешь.

Если бы не Лупп Егорович, Старого Валенка вообще не было бы на свете. Но разве он это понимает? Покойная жена Луппа Егоровича, Настя, держала в доме кошку, не запрещала ей даже котиться, но всякий раз уничтожала весь приплод. Положила однажды она слепых котят в ямку, прикрыла их камнем, а камень лег неплотно, и котята начали пищать, кошка услышала, заметалась, сама подрыла землю под камнем и вытащила одного котенка живым. Старуха хотела его сразу утопить, но Лупп Егорович воспротивился: «Судьба! — сказал он. — Пущай живет!».

И кот выжил. И стал Старым Валенком.

Лупп Егорович не работал в колхозе, годы вышли, но характер по-прежнему имел беспокойный, во все вмешивался, все и всех су-

дил. В поведении Старого Валенка больше всего старика возмущала его молчаливая сонливость. «Как же ты можешь на все закрывать глаза, если ты живое существо?» — часто с удивлением и гневом допрашивал он кота.

Сегодня Лупп Егорович пришел домой подвыпивший и был особенно словоохотлив. Он повесил на крюк рядом с рожковым умывальником полушубок, смахнул кое-какую мокреть с усов, затем пошел на кухню, повозился ухватом в пекарке, вытянул горшок с остатком щей, принес их на стол и крикнул:

— Ладно, иди, старина, покормлю!

Кот издал в ответ какие-то влажные булькающие звуки, посмотрел, что ему предлагают и стоит ли из-за этого покидать теплое место, и, осторожно приподнявшись и потянувшись, начал неторопливо спускаться с лежанки, с приступка на приступок. Движения его были замедленны, как и у Луппа Егоровича, должно быть, они все-таки подражали друг другу даже в этом.

— Не голоден, значит? — с обидой сказал Лупп Егорович, выжидая, когда Старый Валенок спустится с печурки и подплывет к столу. — Не голоден, старый черт, или пенсию уже успел получить? Лежебок несчастный! Ох и ленив же ты, братец, за что только хлебом тебя кормят! Имечко тоже тебе подходящее дадено, заслуженное имечко: Валенок ты — Валенок и есть!

Кот степенно подошел к столу, понюхал протянутую руку с куском хлеба, смоченным в жидких, нежирных щах, — от руки пахнуло не щами, а табачищем, — и отказался есть. Он недовольно мяукнул. «Твое имя лучше, что ли?» — казалось, выговорил он.

— Мое имя, братец, тоже не ахти какое, так в этом не я виноват. Поп на моего отца сердит был за вольномыслие и досаждал ему, чем мог. Народился сын, он и сыну — мне, стало быть, — еще в купели жизнь испортил на веки вечные. В школе и в деревне раньше мне проходу не давали, каждый перекрещивал, как хотел: «Лупа да Лупа...». А разве я это заслужил? Ты вот заслужил. Твое имя к тебе пристало. Мурлычешь, гад? — ласково заключил свои высказывания Лупп Егорович.

«Мурлычу! — ответил Старый Валенок. — Чего тебе надо?..».

А Луппу Егоровичу ничего не надо было, ему просто хотелось поговорить, ему было хорошо. «Неужто и с котом своим по душам поговорить нельзя?». Уже лет пять, как Настя, старуха, умерла. Дочь вышла замуж, работает вместе с мужем на маслозаводе. «Вот бы тебе, Старому Валенку, где пристроиться надо!». Два сына поучились и уехали из деревни, в начальники ладят выбиться. «Все нынче в начальники лезут!». Об этом бы и хотелось поговорить Луппу Егоровичу, но — кот, что он знает?..

— Есть ли у тебя душа? — спрашивает кота Лупп Егорович. — Думаешь ли ты о жизни и как ее, нынешнюю, понимаешь?

Старый Валенок молчит и, недовольный, возвращается на теплую лежанку, на свое обычное место. Там он поджимает мягкие лапы, укладывает вокруг себя пушистый хвост, словно обертывается широким шерстяным шарфом, и, безучастный ко всему, закрывает зеленые усталые глаза.

— Вот твой главный недостаток: равнодушный ты! Жизнь идет, а ты спишь да спишь, — продолжает выговаривать ему Лупп Егорович. — Нет у тебя души, только шерсть одна. И мышей ты лопа-

ешь с шерстью. Чего глаза закрываешь? Если бы у тебя была душа, ты глаза не закрывал бы, когда с тобой о деле говорят. Ну выпил я, ну и что? Дочка без внимания не оставляет, ей спасибо: в люди выбилась, не зря учил, человеком стала. От нее всегда поддержка — и маслом, и деньгами... Дела, понимаешь, в общем-то, идут, и народ живет, приспособился, а все-таки не надо закрывать глаза, а то движения не будет. Вот говорю я председателю: поставь меня на пасеку, не губи ее, самое это стариковское дело — пасека, выгодно будет. А он что? Не лезь, говорит, не в свое дело, тебе скоро пенсию дадим. Он, стало быть, проявляет инициативу, а мою, эту самую инициативу, куда? Опять же о дочке. Была бы жива старуха, легче было бы, а то мест в яслях не хватает, в детский сад очереди. Вот говорим девкам: учитесь, раскрепощайтесь! А детей кто нянчить будет? Понимаешь, о чем я говорю, или тебе, лежебоку, ни до чего дела нет?

Кот лежал спокойно, ничего не требовал, ни о чем не спрашивал.

В избе наступали сумерки, очертания Старого Валенка начали расплываться. Безразличие кота раздражало Луппа Егоровича, но он понимал, что обижаться на животину бесполезно. Опершись руками о лавку, он тяжело поднялся, прошел к суденке возле печи, ощупью отыскал ложку, кусок хлеба и, вернувшись к столу, похлебал щей. Свет бы зажечь, но к чему? Скоро спать, а пока даже не дремалось. Ночи теперь долгие, спать приходится много, зачем спешить? Охота разговаривать еще не оставила Луппа Егоровича. Он снова повернулся к коту и неожиданно рыкнул:

— Дай закурить!

Старый Валенок промолчал.

— Вот видишь, какой ты: с тобой как с человеком, а ты что? Ну выпили мы с Прокопом маленько, посидели, посовещались, души свои разбередили. Поди, и поворчать старикам нельзя? Сколько уже раз колхоз наш то укрупняли, то разукрупняли — как душе не болеть? Пасеку похерили — пчелы, видишь ли, невыгодны, кур похерили — куры невыгодны, лошадей на колбасу — лошади невыгодны. Земля стала невыгодной, лес наступает на сенокосы, на пашни. Того гляди, и старики станут невыгодны. Что же это такое происходит? Опять же говорю председателю: все берега по реке ивняком затянуло, отдай их мужикам исполу, расчистят, пущай два года косят для своих коров, потом колхозу перейдет, выгодно. А он что? На мелкобуржуазию, говорит, воду льешь... Чего молчишь? — кричит на кота Лупп Егорович. — Ну выпил я маленько, так я дело свое знаю, у меня душа болит. А ты ради чего живешь на земле, за что ты отвечаешь? Где твоя норма? Выполняешь ты свою норму или нет?

Лупп Егорович, у которого язык начинал все больше заплетаться, пришел вдруг в такое возбуждение, что сорвал катанок с ноги и бросил им в кота. Кот встрепенулся, но с лежанки не соскочил, только перешел на другое место. Он, должно быть, привык к подобным выходкам старика, спокойствие не изменило ему. Чуть приоткрылись круглые глаза, блеснул в сумерках зеленый огонек — и мирное течение жизни в доме восстановилось.

— Ну что, братец, поразговаривали мы с тобой? — стал успокаиваться и старик. — Это хорошо, что ты молчать умеешь, а то нарубили бы мы дров сообща. Пожалуй, этак и пенсию не получим. Не могу проходить мимо, братец ты мой, совесть не позволяет. Иные под старость либо косеют, либо слепнут, а я под старость только больше

видеть стал. Вот, скажем, обратно плата за труд. Добавочная оплата есть — по животноводству, по льну, по сену, — это все соблюдается. А сам трудодень опять ничего не стоит. Выгодно это колхозу или невыгодно? А деньги какие хитрые стали!..

Лупп Егорович зевнул. Бесполезность разговора с котом стала для него вдруг настолько очевидной, что он сразу устал и захотел спать. Но заключить разговор надо было так, чтобы на его стороне осталась победа. Он так и сделал:

— Я же не о себе пекусь, понял? Вот сидишь и носом не ведешь. Старый ты Валенок! Брюхач!

Спал Лупп Егорович нераздетым, только катанки снимал и ставил на печку. Один катанок он поставил рядом с котом, другого искать не стал: показалось, кот приоткрыл мудрые глаза и поглядел на него насмешливо, — дескать, сам разбрасываешь, сам и собирай.

— Ну, ладно уж, ладно, поговорили! — сказал Лупп Егорович и погладил кота по голове. Тот не пошевелился.

Обычно Лупп Егорович спал на печи, подостлав под бока ватник. Но на печь лезть трудно, сейчас для этого не было ни сил, ни охоты. Поэтому он взял от стола скамью, придвинул ее к другой скамье у стены, положил в изголовье тот же ватник с печки и лег на спину, закинув руки назад, кулаки под голову. Лохматые брови его сомкнулись у переносья, широкая борода закрыла всю грудь, вытянулась до кушака. Засыпая, Лупп Егорович бормотал про себя:

— Как в людях ни хорошо, а дома лучше. Сколь подушка ни мягка, а свой кулак мягче...

Старый Валенок беззлобно, даже доброжелательно поглядывал сверху, как укладывался его хозяин, а когда в избе раздался первый

легкий храп, он словно преобразился: выгнул спину, легко и мягко соскочил с лежанки и юркнул в подполье на очередную охоту за мышами. Равнодушия его как не бывало: он пошел выполнять свою жизненную норму...

Ночью луна осветила бревенчатые стены избы, разверстую русскую печь, пустую лежанку-подтопок, темный, давно не скобленный стол, на нем горшок с остатками щей, скамьи, сдвинутые вместе и спящего старика с широкой бородой на груди.

При свете луны из подполья неслышно, как привидение, вышел пушистый сибирский кот, крадучись приблизился к своему старому ворчливому другу, легко прыгнул ему на грудь и осторожно, чтобы не разбудить, положил ему в широкую нечесанную бороду полузадушенную мышь — самую крупную, самую жирную из всех, какие удалось ему промыслить за эту ночь.

1962

ЖИВОДЕР

Чудище обло, озорно,
стозевно и лаяй!

Мы нередко говорим: играет, как кошка с мышью. Сегодня ночью я видел, что это такое.

Я живу в деревне у одинокой женщины, моей родственницы, в большой чистой избе, устланной домотканными половиками, уве-

шанной рукотерниками и плакатами. Воздух в избе чистый, клопов сравнительно немного, питание здоровое: ягоды, грибы, капуста...

Но больше всего меня устраивает, что старушка моя рано ложится спать и, перед тем, как лечь, наливает для меня полную лампу керосину и старательно чистит стекло скомканной газетой.

Ночью я люблю сидеть один — читать, думать, писать — в совершеннейшей тишине. Гудит в трубе тепло, суматошится метель под окном и серая молодая кошка мурлычет рядом. Я не терплю кошек за их высокомерие и эгоизм. Говорят, собака привыкает к хозяину, а кошка к дому. По-моему, ни к чему она по-настоящему не привыкает и ни на одну кошку никогда нельзя положиться. Но эту, молодую, серую, я почему-то полюбил.

Сегодня в полночь кошка неожиданно подняла возню, начала мяукать, и я увидел, что она вынесла на середину избы живую мышь. Мышка была еще не измятая, совсем свеженькая, пушистая и маленькая, тоньше кошкиной лапы. Поначалу я не почувствовал к ней никакой жалости, а кошку, наоборот, похвалил про себя: дескать, не дармоедка, знает свое дело!

Кошка положила мышь на половик посреди избы и легла рядом с ней. Мышка припала к полу, вытянув хвостик, и удивленно замерла: ей, наверно, показалось, что она свободна и может убежать, куда хочет. Так и есть: мгновение — и ее не стало.

— Ах, черт! — воскликнул я от огорчения. — Ушла!

Но кошка спружинила, метнулась в задний угол избы, в темноту, успела за мгновение обшарить там своими толстыми лапами весь пол,

нашла мышь, — как мне представилось, ощупью — и уже спокойно, держа ее в зубах, вернулась на середину избы.

— Упустишь, дура! — сказал я.

Кошка положила мышь на прежнее место и снова легла рядом с нею, щурясь и беспрестанно мурлыча. И мышке опять поверилось, что она вольная птица. На этот раз кошка поймала ее у меня в ногах, под столом. В следующий раз — под печкой-лежанкой, затем на кухне. И все это в полумраке, потому что моя керосиновая лампа не освещала всей избы. Половики на полу были смяты, жесткий кошачий хвост, как лисья труба, мелькал то в одном месте, то в другом. Сколько раз я считал, что все кончено, мышь сбежала!

— Прозевала-таки, полоротая! — ворчал я. Но кошка не зевала. И я убедился, что этот зверь знает свое дело.

— Что вы там возитесь? — спросонья спросила хозяйка с печи и, не дождавшись ответа, снова захрапела.

Мышь устала, начала хитрить. Она подолгу не двигалась, вероятно, прикидываясь мертвой. Кошка ложилась на бок, кувыркалась, поднималась на ноги, дугой изгибала спину и легонько, издалека, трогала мышь своей страшной лапой, и мурлыкала, и мяукала. Ей хотелось играть. Она требовала, чтобы и мышь играла с нею, не умирала бы раньше времени.

Я осветил их лучом китайского фонарика и увидел: мышка еще жива, черные глазки ее поблескивают, только она выжидает, ей хочется перехитрить свою смерть. Но, Господи, до чего же она была мала рядом с этим страшилищем! И я вдруг, впервые в своей жизни, пожалел мышь, мне даже захотелось, чтобы она сбежала. И, словно почувствовав, что я на ее стороне, мышка кинулась под печку, но

кошка, даже не вскочив, накрыла ее своей лапой и вместе с ней игриво перевернулась через спину.

Это продолжалось долго. Долго мышку не оставляла призрачная надежда на свободу. Только покажется ей, что наконец-то она перехитрила своего врага, может вздохнуть, скрыться и располагать собою по своему усмотрению, а кошка опять прижмет ее к полу, к земле. Прижмет и отпустит. Отпустит и отвернется, делая вид, что ей все безразлично. И мяучит требовательно, недовольно: «Да беги же снова, играй со мной!». Не мурлычит, а мяучит.

Хозяйка с печи опять подала голос:

— Кошка-то, видно, на улицу просится, выпусти!

— Нет, она мышь поймала, играет! — ответил я.

— У, тигра окаянная! Живодер! — с ненавистью сказала хозяйка.

Наконец и я ощутил ненависть к кошке.

Я направил узкий электрический луч прямо в ее бледно-зеленые, с серым дымком, глаза, когда она, валяясь на спине, жонглировала мышью, как фокусник мячиком, и ослепил ее. Воспользовавшись этим, мышь сделала последнюю попытку уйти в свое подполье. Но у «тигры» кроме зрения был еще звериный слух.

— У, подлая! — с откровенной ненавистью зашипел я. — Поймала-таки опять! Кровопийца! — И я готов был пнуть ее, потому что вся моя застарелая неприязнь к кошачьей породе поднялась во мне.

Мышь больше не подавала признаков жизни. Кошка мяукнула с недоумением, обиженно и гневно толкала ее то левой, то правой лапой, словно бы отступалась от нее, отходила в сторону — мышь не двигалась и лежала либо на боку, либо на спине, задрав кверху голенькие, тонкие, как спички, ножки.

Тогда кошка съела ее. Ела она неторопливо, лениво, щуря глаза и чавкая. Похоже было, что ест без удовольствия, ест и брезгует. Мышиный хвостик долго торчал из ее рта, словно кошка раздумывала: глотать ей эту бечевку или выплюнуть ее. Под конец она проглотила и хвостик.

Хозяйка моя свесила ноги с печи.

— Ты что, полуношник, сегодня долго не спишь?

— Смотрел, как кошка с мышью играла, — ответил я.

— Ой, паре! — охает хозяйка, должно быть удивляясь моей несерьезности.

— Что — «ой, паре»?

— Ну-ко, надо!

— Что — «ну-ко, надо»?

Хозяйка задумывается и наконец, что-то обмозговав, произносит:

— Тигра — она тигра и есть! У нее свое дело, а у тебя свое. Спи давай!

— Ладно! Давай буду спать.

Я ложусь и засыпаю тревожным тоскливым сном. Снится мне моя страшная житейская беспомощность: меня ловят, со мной играют, хотят меня съесть. Захотят — съедят, захотят — оставят до утра. А я — просто игрушка, я — просто для игры.

— Ой, паре! — вскрикиваю я, удивляясь и негодуя на самого себя. — Ну-ко, надо!

1962

Из цикла «СЛАДКИЙ ОСТРОВ»

МАМИНЫ СКАЗКИ

1. Чайка

Какой только рыбы не водится в Новозере, каких только птиц не летает над ним! Однажды утром Миша вышел на песчаную косу, чтобы послушать, как далеко-далеко на болотах, за береговой излучиной, кричат журавли. Солнце уже всходило, и озеро то и дело меняло цвета, будто примеряло разные наряды — какой из них больше подойдет на сегодняшний день. На небе солнце взошло одно, а в озере их отразилось тысячи.

Журавлей Миша никогда не видел. Не увидел он их и сегодня. Зато на песчаную косу вдруг спустилась с неба удивительная птица: вся розовая, только клюв черный да черное пятнышко на голове. Миша видел, когда птица летела, и ее длинные тонкие крылья показались ему похожими на гребни волн. Он всегда рисовал море с такими волнами. Села розовая птица на песчаный откос и так неторопливо сложила свои волнистые крылья, будто кружевной подол платья подобрала.

Прибежал Миша домой, рассказал маме, какую он удивительную птицу видел, а мама выслушала и сказала, что это была чайка.

— Нет, мама, это была не чайка. Чайка же белая!

— Да, это правда, что чайка белая.

Вечером того же дня Миша увидел еще одну необыкновенную птицу — совершенно голубую. Голубую, как вечернее предзакатное небо.

Рассказал он маме и об этой птице, а мама подумала и опять сказала, что и это была чайка.

— Нет, мама, это была не чайка, а какая-то небывалая птица. Чайка же белая.

— Да, чайка бывает белая, это верно. Сходи на берег, присмотрись к ней хорошенько еще раз.

Вернулся Миша на берег озера, когда солнце уже садилось и его нетленный огонь разгорался все больше и больше. Это уже был целый костер. Казалось, коснется солнце своим краем озерной глади — и закипит, забрызжет, запенится под ним вода.

В этом закатном огне увидел Миша в небе целую стаю птиц, похожих на чаек, и все они были золотые, огненно-золотые, из самого настоящего червонного золота.

«Как в сказке! — сказал про себя Миша. — Но это же чайки. Это все одни и те же чайки».

— Это чайки, мама! — согласился, наконец, Миша.

— Ты их видел белыми?

— Нет, я не видел их белыми. Они белые, но на этом озере все как в сказке, все сказочное — и восходы, и закаты, и лунные ночи. И птицы и люди — как в сказке.

2. Лунный мостик

Вечером сидел Миша на берегу озера. Днем озеро казалось совсем мелким, а сейчас в него заглянуло небо, и Миша увидел, что у озера, как у моря, дна нет.

Мише вдруг захотелось попасть на другой берег, где люди с песнями шли с работы, где коровы мычали, возвращаясь с выгона, и трудились грузовики с сеном. Но как попасть?

Тогда вышла на небо луна и перекинула перед Мишей светлый, будто тесовый, мостик.

«Беги, мальчик, не бойся, вот твоя дорожка с острова на Большую землю!».

Весело стало Мише, вскочил он, кинулся к берегу, чтобы перебежать через озеро по лунному мостику. Но за Мишу испугался ветерок, пожалел его, дунул из-за кустов и раскидал, разрушил лунный мостик.

«Не верь, мальчик, луне, возьми лучше лодку. Вон в камышах лодка стоит».

Послушался Миша, спустился к лодке, сел за весла и стал отталкиваться от берега. Но луна рассердилась и на ветер, и на Мишу и торопливо скрылась за облака.

Было светло, как днем, стало темно, как в полночь. Скрылся из глаз большой берег, куда тянуло Мишу. Не стало видно ни земли, ни озера.

А ветерок опять шепнул Мише:

«Не спеши, Миша, подожди до утра. Утром солнце взойдет, и не будет страшно. Все успеешь, подожди до утра!».

Заплакал Миша и вернулся домой.

Утром ему уже не захотелось на Большую землю.

3. Утро

Миша лег в постель и просит:

— Мама, расскажи еще сказку!

— Но сейчас поздно, — отбивается мать. — Все сказки на покой ушли, в камыши спрятались.

— Как это? — удивляется Миша. — Разве они птицы или рыбы?

Миша удивляется притворно, он только делает вид, что всему верит на слово, а на самом деле он все понимает.

— Как это сказки спрятались? — переспрашивает он.

— А вот так. Встань завтра пораньше, выйди на берег и, может быть, увидишь, как сказки начнут из камышей выплывать. Может быть, они и тебе покажутся. Только пораньше встать надо, засыпай скорее.

— Хитрая ты, мама! — говорит Миша, все понимая.

Но поутру он поднялся раньше всех и, наскоро одевшись, вышел к озеру. Ноги сразу стали мокрыми, влажный холодок проник под рубашку, на руках выше локтей появились гусиные пупырышки. Небо чуть-чуть порозовело, но сзади острова, за спиной Миши, поэтому казалось, что утро еще не наступило. Миша спрятался за кустиком напротив камышей и стал ждать.

Долго ничего не происходило. Густой белый туман над озером побелел еще больше и начал медленно передвигаться. Вдали за озером объявились верхушки деревьев, только верхушки, до этого лес не был виден совсем. Говорят, что утром туман поднимается. Как же он поднимается, если из тумана сначала показались верхушки леса?.. Значит, туман не поднимается, а опускается, уходит в воду. «Хитрые!» — думает Миша.

Крякнула утка в камышах. Очень интересно крякнула, громко. Еще раз крякнула. Может, она не в камышах, а где-нибудь на чистом месте, только из-за тумана ничего не видно, и кажется, что она в

камышах. Утром каждый звук далеко-далеко слышно. Опять крякнула утка. Как-то странно она все-таки крякает... «Не обманешь! — говорит про себя Миша. — Это самая настоящая утка, а никакая не сказка!».

Почти у самого берега плавают круглые листья, словно зеленые тарелочки, и между ними белые твердые цветы. Это водяные лилии, их очень много. Одни совсем распустились, а есть такие, что как маленькие зеленые горшочки с трещинками. А в горшочках белое молоко.

Лилий становилось все больше, они видны уже за камышами, потому что туман уходит в воду. Утром цветы, наверно, холодные и хрупкие. Миша вспоминает, что лягушка-царевна со стрелой во рту сидела вот около таких лилий. А где это он ее видел и когда? Но видел же ведь, точно, без обмана.

Миша почти не дышит и внимательно вглядывается в чашечки цветов на озерной глади. Тихо-то как! И вдруг из воды, прямо из воды, на глазах у Миши вылезает из воды новый цветок и развертывает во всю ширину свои лепестки. Да нет, Мише это не показалось! Так вот прямо взял да и развернулся целый белый цветок, хоть кричи. Это же удивительно! Это же здорово!

Но Миша не закричал и даже не пошевелился. И правильно сделал. А вдруг это не цветок вовсе? Вдруг это и есть сказка, самая настоящая? Скрывалась всю ночь под водой, а когда пришло время, когда посветлело да потеплело, она и появилась и развернулась. Ух-ты!

Потом из камышей выплыла утка. Нарядная, разноцветная и большая. Очень большая. И глаза у нее черные, блестящие, как пришитые круглые пуговки. Миша никогда не видал дикую утку так близко.

Только вот в чем дело: если бы утка была далеко, то, конечно, это была бы утка, понятно. Дикие утки все боязливые, дикие. Но эта совсем рядышком, ну просто невозможно как близко. Разве могут настоящие утки подплывать к человеку так близко? Не могут — в этом все дело. Это же сказка! Видно, мама не обманывала его. Хитрая! Конечно же, это и есть сказка, да еще с серыми утятами, — вот они!

Утята, серые комочки, выкатились из камышового тростника, как из глухой таежной трущобы, и заскользили вокруг своей матери, брызгаясь и попискивая. Они были очень похожи на куриных цыплят, только сказочные и катышками катались не по земле, а по воде.

Теперь Миша уже во все мог поверить. Он сидел как завороженный, как зачарованный и ждал: что же будет дальше? А дальше было вот что: утка исчезла, утята исчезли, и на воде появилась змея. Это была третья сказка. Черный уж плыл по озеру, извиваясь, тела его не было видно, над водой торчала одна черная голова, но почему-то само собой разумелось, что и сам он весь черный. Черный змей плыл по воде, а след за собой оставлял красный, почти кровавый, и Мише стало страшно. Но когда он обернулся, словно хотел найти защиту, то увидел, что с другой стороны острова всходит красное солнце, и потому все вокруг становится розовым и красным. Зеленые листья на деревьях побагровели, будто осенью; травяной луг покрылся цветами, на оконных стеклах заиграли отсветы огня, словно в каждой избе затопилась печь. Лодка, стоявшая у мостков, с веслами, опущенными в воду, вдруг стала прозрачной, и вокруг нее заиграли солнечные зайчики. Порозовели даже камышинки на воде, и в этих густых розовых зарослях запела птичка. Вероятно, это была птичка, кто же еще?.. Но какая?.. А черный змей уже доплыл до берега и пропал. Все как в сказке.

Миша встал на ноги. Начинался день, и он хотел идти домой. Наверно, мама заждалась его, волнуется. Не может быть, чтобы она не заметила, когда он уходил из дому. Но в это время на озере кто-то громко чмокнул. Миша замер. Опять кто-то чмокнул — смачно, влажно. Целуются? Нет. Скорее кто-то чавкает. Все как в сказке. И поет, поет птичка в камышах.

Чавканье продолжалось. Миша стал догадываться, что под зелеными тарелочками лилий рыба ловит ртом воздух. А может быть, это не рыба? Как же не рыба, если ее даже видно? И зеленые тарелочки вздрагивают и покачиваются после каждого поцелуя.

А здорово было бы, думает Миша, если бы сейчас вдруг приплыла к нему щука и спросила: «Чего тебе надобно, Миша?». А он бы ей: «По щучьему веленью, по моему хотенью...». Вот бы все ребята удивились! И девочки тоже! И мама бы с ума сошла! И папа бы... И Сашка...

— По щучьему веленью, по моему хотенью, — шепчет Миша, — чего бы мне такого пожелать?

Огромная щука подплыла к самому берегу, и Миша ее увидел, но у нее была такая пасть, что ни с каким делом обращаться к ней он не захотел. Это была не та щука, эта щука была из страшной сказки.

— Миша! Где ты? — звала его мать. — Не заснул ли где-нибудь?

Нет, Миша не заснул. Разве можно было бы столько всего увидеть и услышать, если бы он заснул?

— Иду, мама! — крикнул он, и сразу все сказки исчезли, и страшная щука уплыла от берега. Только невидимая птичка все пела и пела в камышах, хорошо пела. Она так и не показалась Мише. Наверно, это была самая интересная сказка.

СПАСИБО, ЧТО РАЗБУДИЛ MEHSS

— Прости, родная, что я разбудил тебя.

— А что случилось?

— Скорей оденься и выйдем на берег. Там удивительно хорошо!

— Ты знаешь, что я и вчера не спала?

— Знаю, прости, пожалуйста, одевайся скорей!

В окна проникал свет: то ли сияние неба, то ли сияние озера. По полу и по стенам двигались белые лунные полосы. Женщина тяжело поднялась с постели, набросила на плечи легкий ситцевый халатик, и он тоже засветился на ней.

— Пойдем скорей, в такую ночь нельзя сидеть в доме, — повторял мужчина.

— Я не сидела. Я только что заснула. Ты знаешь об этом?

— Да!

— Знаешь, что я очень трудно засыпаю?

— Да!

— Что я опять принимала снотворное?

— Да! Я все знаю. Пойдем скорей!

Когда они вышли на крыльцо, женщина ахнула и заторопилась на берег озера. На ходу она сдернула с плеч халатик и надела его как следует, в рукава. Мужчина теперь шел сзади, он даже отставал.

Озеро посверкивало и ликовало от берега до берега, все насквозь; и оттого, что оно было рядом, мир казался шире и глубже. Луна сияла одинаково кругло и в небе и в озере, только представлялось, будто в озере отражается ее обратная сторона.

К черным камышам на середине озера и дальше — к черному лесу на горизонте был перекинут лунный мостик из круглых березовых плашек. Мостик был наплавной, и, если ступить на него, побежать по нему, он, конечно, закачается и начнет прогибаться.

Женщина остановилась у самого лунного мостика, на песчаной отмели, и обернулась к мужчине.

— А у твоих ног тоже лунный мостик! — сказала она, сказала так весело, что мужчина заулыбался.

В этот миг далеко за озером раздался крик птицы, будто потревоженный петух спросонок вскинул голову и спросил кого-то: все ли в порядке?

Крик повторился. Женщина замерла как зачарованная.

— Это петух?

— Нет. В той стороне только болота, жилья нет.

— Кто же это?

— Догадайся сама.

— Не могу.

— Это журавли кричат.

— Почему же они кричат?

— Не спится, наверно. Такая ночь...

— Понятно.

Журавли успокоились, и стало слышно, как над головой зашелестели листья, еле слышно зашелестели, а у самых ног, там, где песок и галька, вдруг легонько плеснула вода. Плеснула, откатилась и опять плеснула. Ночной плеск волны — как плеск времени. Боже мой, как все интересно!

— Спасибо тебе, родной мой! — сказала женщина.

— Прости, что я разбудил тебя.

— Спасибо, что разбудил. Иначе бы я ничего не знала об этих ночах, об этом нашем мире. Спасибо, что ты не даешь мне спать.

1960

Из цикла «ВМЕСТЕ С ПРИШВИНЫМ»

ПОДАРКИ ПРИШВИНА

Дунинская дача — на крутом склоне горы, который, по всей видимости, был когда-то берегом реки. Спереди деревня, садики, заливные луга, открытые солнцу дали, а сзади, на высокой гриве, густой темный лес. Заливные солнечные луга и темный ельник — это как два мира, два континента. Ходим по сверкающему берегу реки — одни разговоры, ходим по лесу — и разговоры другие. Даже и погода в этих разных местах словно бы всегда разная. Может быть, это преувеличение, но сейчас мне кажется, что среди цветов и трав Михаил Михайлович ходил бодрее, больше улыбался и шутил чаще, во всем его облике и в его словах было больше света.

— Все, что нужно человеку, то и цветам нужно, — раздумчиво говорил Михаил Михайлович, когда мы ходили по лугам. — Особенно верно это применительно к цветам домашним, комнатным, — продолжал он свою мысль, когда мы возвращались на дачу. — Питание давайте им разное — полезен чай, сок лимона... Я даже водкой их пою... И во всем прочем то же. Если человек долго не умывается, он запаршивеет. Так и цветок. Без омовения он совсем зачахнуть может. Дождь не только поит, но и умывает. Цветы очень чистоплотны, очень!

На Михаиле Михайловиче просторный полотняный костюм. Почему-то хотелось думать, что полотно это из нашего вологодского

льна и выткано на нашей Красавинской фабрике близ Великого Устюга. Злата Константиновна сейчас вспоминает, что, может, всего-то раза два-три видела Михаила Михайловича в этом полотняном костюме, но после, в чем бы он ни появлялся, ей все представлялось, что неизменно на нем широкий, подбитый ветерком светло-серый пиджак и такие же серые брюки. Да и поныне она ни в чем ином не может себе представить Михаила Михайловича. Пришвину полотняный костюм шел, как шла длинная вельветовая рубаха к облику Льва Толстого.

Палка у Михаила Михайловича — складной стульчик. Воткнет он палку в землю, ручка раскроется, и он сидит на этой ручке, как на стуле, отдыхает. Кажется, точно такая же палка была и у старого Льва Николаевича. И к тому же оба они были такие русские...

С годами палка не всегда выручала Пришвина. Он не мог ходить с нами за реку по узкому, шаткому мостику-лаве в дальние села, на заречные сенокосы. Но, возвращаясь, мы рассказывали ему о местах, где были, и оказывалось, что он все эти места знал, все помнил и понимал нас с полуслова. И получалось так, будто он был вместе с нами повсюду.

— Там обрыв крутой и две колодинки через ручеек, у одной сучок застарелый, смолевой, — подсказывал он и спрашивал: — Не сгнили колодинки?

Или еще:

— Крапива там справа. По-прежнему растет или нет? Вы не обожглись? — и смотрел на босые ноги Златы Константиновны.

По тому, какие цветы мы приносили с собой, Михаил Михайлович узнавал, где мы были.

— С того лужка никто без цветов не возвращается! — радовался он. — А если для цветов не время, несут сосновые ветки, либо дудки. Богатые места, веселые...

В хвойном лесу на высокой гриве Михаил Михайлович больше молчал. А может, это мне сейчас так кажется?

Лесом ходили мы чаще по дорогам, а не по тропинкам. По тропинке идти — надо в затылок друг другу и то и дело кланяться, пролезать под деревьями, отгибать тяжело опустившиеся ветви, и света не увидишь. А по дороге можно двигаться всем троим рядом.

Все-таки Михаил Михайлович в лесу был менее разговорчив, чем на реке, на открытых местах. Он внимательно провожал глазами каждую птицу, перелетавшую через дорогу, была ли то ворона, или сойка, или синичка. Казалось, он истосковался по ним.

Однажды Злата Константиновна подарила Михаилу Михайловичу двух птиц. Случилось это так. Впереди нас на деревьях уселись ворона и сорока. Сорока-непоседа перепрыгивала с ветки на ветку, а ворона как опустилась на сучок, так ни разу и не передвинулась на нем, только сучок от ее грузной посадки раскачался и ворона показывалась то в тени, то на солнце да изредка для равновесия чуть взмахивала хвостом: вверх-вниз, вверх-вниз. Пока ворона раскачивалась на одном и том же суку — из света в тень, из света в тень, — сорока на своем дереве пять или шесть ветвей переменила.

Злата Константиновна пригляделась к ним и сказала:

— Михаил Михайлович, примите от меня в подарок этих птиц. Они не простые.

Пришвин поддержал игру, принял подарок и начал внимательно осматриваться вокруг. Когда мы уже выходили из леса к полю и за

бугорком дороги показалась крыша амбара с двумя скрещенными над коньком жердочками, как с усиками, он обрадовался:

— А я вам дарю вот этого жука! — и указал на выдвигавшуюся из-за холма крышу с усиками, в которой мы приглядевшись, действительно признали сходство с каким-то большим сказочным жуком.

Неумеренно ликовала Злата Константиновна, и довольно улыбался в усы Михаил Михайлович. Той порой ворона и сорока снялись с деревьев и улетели, а жук стал амбаром. Но подарки уже были сделаны друг другу, поэзия посетила нас.

— А мне? — ревниво взмолился я. — Ну хоть что-нибудь, Михаил Михайлович!

Пришвин подошел к толстой березе с поперечными черточками на коре, словно строчками стихов, разбитыми лесенкой, осмотрел ствол с одной, с другой стороны и сказал:

— Тут записей разных немало. Поэзии на целую книжку может хватить. Сколько разберете — все ваше.

Потом выбрал на стволе место почище, огладил его ладошкой — на землю полетела белая шелуха — и добавил:

— Вот вам и обложка для книги стихов.

Я вынул перочинный нож:

— Маловато будет для книжки, но ладно, попробую.

— Уберите нож, — сказал Михаил Михайлович. — Сфотографируйте крупным планом и дайте художнику, все остальное сделает он.

Я понял, но возразил:

— Темно, ничего не выйдет.

— А вы утром приходите, солнце с дороги подсветит...

Стихов в такой обложке я не издал, но посмотрите на переплет книги, которую вы сейчас читаете, — это и есть подарок Пришвина.

1961–1963

ПОСЛЕДНSSSS ТРОПИНКА

Квадратный двор могоэтажного дома по Лаврушинскому переулку, в котором мы живем, неширок, но глубок. Такие дворы обычно называют колодцами. На уровне верхних этажей летают голуби. На крышах — телевизионные антенны и круглая бетонная водонапорная башня.

Под окнами почти всех квартир, внутри двора, балконы — простые, грубые, узкие, но достаточно длинные — по ним можно прогуливаться. Зимой балконы заставлены разными ненужными вещами, цветочными ящиками, старой мебелью, и редко кто выходит на них ради прогулки, разве что на мгновение откроют дверь да высыплют кулек корма для голубей.

Балкон Пришвиных также был всегда загромождeн. Но в эту зиму его очистили. В любую погоду в середине дня Михаил Михайлович, одетый в шубу и валенки, закутанный в шерстяной платок, выбирался на балкон и ходил по нему из конца в конец, изредка останавливаясь, отдыхая. Красивая борода, усы и пышные стариковские брови от

мороза индевели, курчавились и были не просто седыми, а белыми. Когда сыпал снежок, Михаил Михайлович походил на деда-мороза.

Пришвин заболел и никуда не выходил из дому, кроме как на балкон. Да и балкон-то был в его распоряжении не весь — часть его, отделенная барьерчиком, принадлежала соседям.

До чего же укоротились пришвинские тропинки!

С балкона открывается только небольшой кусочек Москвы — несколько железных крыш в просвете колодца, Баженовская, недавно отремонтированная церковь, да вдали шпили высотного дома на Котельнической набережной, и еще голуби в небе. Вот и все.

А в каких только краях не бывал этот неутомимый следопыт, сколько дорог исходил он за свою жизнь! И вот из всех дорог осталась одна, и не дорога, а тропинка, да и та за решеткой балкона, вдоль стены, от угла до угла, в колодце сумрачного двора. Правда, рядом и над головой опять непуганые птицы, но это же московские голуби, они что куры: и птицы, а невольницы. Разве они понимают, что такое настоящие просторы, настоящая свобода!

Пришвин ходил по балкону неторопливо, держа голову высоко, и смотрел на стены домов, на окна соседских квартир, на крыши и в небо, главное — в небо. Иногда по старой привычке он пытался сцепить руки за спиной, но это ему не удавалось, может, из-за болезни, а может, потому, что на нем было слишком много теплой одежды. Порой он останавливался и клал руку на перила, либо брался за металлические балясины, а однажды на ходу по-озорному провел по балясинам деревянной палочкой, как по клавиатуре ксилофона.

Как-то выглянуло солнце, мы открыли свой балкон, напротив пришвинского, и выкатили на воздух коляску с ребенком. Я крикнул:

— Как здоровье, Михаил Михайлович?

Он поднял палочку к небу:

— Солнце-то какое, а весны еще нет и в помине!

Мне показалось, что он не чувствует себя за балконной решеткой и видит вокруг не стены и крыши, а что-то другое, далекое.

Но вот он спросил глуховатым голосом:

— Как сын?

— Все еще без имени, — ответил я. — Второй месяц пошел.

Чуть позднее он дал имя моему сыну.

В конце декабря на пришвинском балконе появилась лесная гостья, свежая лохматая елочка для встречи Нового года. Михаил Михайлович несколько дней не показывался на балконе, и мы, посматривая во двор из окон своей квартиры, решили, что он начал выходить гулять на улицу. Елочка стояла в углу чуть запорошенная снежком — к ней никто не прикасался, никто ее не шевелил. Казалось, сам лес пришел к Пришвину в гости.

День стоит елка, два дня стоит...

Я перед Новым годом попал в больницу, а жена моя не выпускала елочку из глаз. На балкон к ней время от времени выбегала Жалька — последняя собака Пришвина.

Наступило тридцать первое декабря. Со всех балконов елки давно исчезли. По вечерам они, наряженные, сияли огнями в окнах квартир. А пришвинская елочка так и осталась на морозе, необласканная, непраздничная.

Злата Константиновна почуяла недоброе, заволновалась, но, вспомнив, что Пришвины по давней традиции справляют Новый год по старому календарю, успокоилась.

Только прошло и тринадцатое января, а Михаил Михайлович за все это время ни разу не появлялся на балконе, и елочка от ветра упала. Так и не внесли ее в комнату, так и не нарядили...

— Значит, не до нее! — решили соседи. — Значит, не состоится в эту зиму в пришвинской семье новогодний праздник.

— Нет, праздник все-таки состоялся, — рассказала после Валерия Дмитриевна Пришвина. — Вышла «Весна света», и друзья из «Молодой гвардии» вместе с первым экземпляром книги принесли Михаилу Михайловичу небольшую елочку от издательства.

А та елочка пролежала под открытым небом до снеготаяния. Короткая тропинка на расчищенном узеньком балконе с хвойным клочком леса на уровне шестого этажа стала последней тропинкой Пришвина.

Но вот что удивительно: с годами и я перестал видеть, что она за балконной решеткой и что она короткая и узкая.

Она широкая и уходит далеко, далеко, через Дунино и Загорск, через мою Вологду, откуда Пришвин начинал свое первое путешествие в края непуганых птиц, к карельским озерам, бежит она в приморские дебри, где растет женьшень, к былинному Китеж-граду, к животворным родникам Берендея, в гущу народную, к тем, кто работает на земле и в лесах, и сказки складывает, и песни поет, и на ком вся земля держится, — к людям, к людям. Бежит и разветвляется на много разных тропинок, таких же бесконечных и непохожих одна на другую.

И кажется мне, что по одной из этих тропинок, уже не по пришвинской, а по своей, иду я сам. И может статься, еще не поздно, я расскажу людям обо всем, что увижу и услышу на своей родной стороне...

1961, 1963

Повести

ВОЛОГОДСКАSS СВАДЬБА

Из самолетов Ан-2 выходят жители вологодских и костромских деревень, хлеборобы, служащие. У старушки, одетой в дубленый полушубок, в руках фанерный чемоданчик и туесок, наверное, с рыжиками: видно, отправилась старая «на города», на побывку к сынку или к дочери. Старик, кроме такого же фанерного баула и привязанной к нему пары новеньких лаптей с липовыми оборами, тащит берестяный заплечный пестерь, на котором сбоку торчат две веревочные петли. С пестерями такими ходят на сенокосы, на дальнюю охоту, на лесные промыслы, в петли вдевается топор, — мне это знакомо.

На старика ворчит пилот:

— Весь самолет мне закровенил. Что у тебя течет из пестеря, отец? Мясо, что ли?

— Журавлиха, не мясо. Растаяла, окаянная!

Журавлиха — клюква: старик везет ее кому-то в подарок.

— А лапти зачем? — спрашивает пилот.

— Сын просил сплести для баловства. В Ленинград еду.

Все очень буднично. Но именно эта будничность и волнует: авиация вошла в быт.

Пассажиры устраиваются на грузовик-такси и отправляются на железнодорожную станцию. А оттуда на аэродром подъезжают новые пассажиры, уже побывавшие в гостях: в руках у них не баулы, а чемоданы, и сами приоделись — вместо ватников и затасканных полушубков на многих городские пальто, на головах добротные шерстяные шали, меховые шапки.

Мне, грешному, кажется, что, отправляясь «на города», мои земляки сознательно одеваются похуже, прибедняются, чтобы вернее разжалобить своих «выбившихся в люди» родственников.

Покупают билеты, выстраиваются в очередь к самолету. Я слежу: не охнет ли хоть одна старушка, не перекрестится ли? Нет, ни одна не перекрестилась, ко всему привыкли.

А я лечу в деревню на свадьбу.

Я уже не очень верил, что сохранилось что-нибудь от старинных свадебных обрядов, и потому не особенно рвался за тысячу верст киселя хлебать, когда получал время от времени приглашения на свадьбы. К тому же приглашения эти приходили из родных мест обычно с запозданием на два-три дня и не обещали ничего интересного.

«Шура, приезжай, Тонька с Венькой безруким уписываются».

Или:

«Дуньку Волкову пропивать будем, приезжай, погуляем!».

А тут пришло письмо, написанное какими-то иными, душевными словами и, главное, вовремя:

«Дядя Шура, наша Галя выходит замуж. Жених работает на льнозаводе. Пиво мама спроворила, и все будет по-честному, как следно

быть. Приезжайте, дядя, обязательно, не откажите в нашей просьбе. Едьте, пожалуйста!».

Письмо писала сама невеста, хотя от третьего лица и без подписи. Казалось, от того, буду я на свадьбе или не буду, зависит ее дальнейшая судьба. Я отбросил все дела, наспех «спроворил» кое-какие подарки для невесты и для родных и выехал.

Поездом до станции Шарья двенадцать часов да самолетом над лесами минут сорок пять, если, конечно, самолеты ходят, это не очень уж страшно. Правда, в Шарьинском аэропорту из-за плохой погоды можно проторчать и несколько суток. Но другой возможности благополучно добраться до моего района, по существу, нет. Грузовики ходят нерегулярно, и никогда нельзя надеяться, что вы на грузовике доберетесь быстрее, чем пешим.

Раньше, на конных подводах, можно было рассчитывать время довольно уверенно, теперь же дороги разбиты настолько, что в весенне-осенние распутицы, а зимой в метели и снегопады движение по тракту надолго прекращается вовсе. «Золотая дорожка!» — с горькой иронией говорят героические вологодские шоферы. Три-четыре рейса — и новая мощная машина сдается в капитальный ремонт.

Мне повезло. На третий день после выезда из Москвы я был уже у невесты в гостях. Последние километры пути шел на лыжах по заячьим тропкам среди сказочных березовых рощ с тетеревиными стаями на вершинах.

— Ой, приехал! А я ведь и думать не думала! — удивленно вскрикнула Галя.

Круглолицая, розовощекая, очень подвижная, она взволнована предстоящим — и радуется, и тревожится. Но работы столько, что на переживания ни сил, ни времени не остается.

Галю почти невозможно разглядеть, она носится по дому — не ходит, не бегает, а носится. Но я-то ее знаю давно, и что мне ее разглядывать?

С тех пор, как я ее не видал, Галя не стала выше ростом, не стала пригляднее, осанистей или, как здесь говорят, становитей. А между тем в деревне своей она считалась одной из лучших невест. Почему? Потому ли, что единственная дочка у матери и наследница всего дома? Отчасти, может быть, и поэтому. Но такие невесты в деревне есть и кроме нее. Все они не дорожат своим наследством, стараются бежать из дому, устроиться на какую-либо неколхозную работу, как это сделала и Галя, перебравшись на льнозавод.

Нет, достоинства Гали — недородной, нерослой, несильной — в другом. Она из очень работящего рода, а уважение к такому наследству живет в крестьянах и поныне. Большое и хорошо налаженное хозяйство ее дедушки по материнской линии было в горячее время коллективизации развалено твердыми заданиями. Кажется, то же случилось с дедушкиным домом и по отцовской линии. Но так как ни в том, ни в другом хозяйстве никогда не пользовались наемным трудом, то в народе осталось лишь сожаление о случившемся и доброе сочувствие к напрасно пострадавшим людям.

А извечное трудолюбие и непоседливость перешли от дедушек и бабушек к нынешней невесте и стали ее главным приданым, которое скрашивало в глазах женихов ее низкорослость и

неприглядность. По-видимому, страсть к работе она успела показать уже и на льнозаводе.

Мать Гали, Мария Герасимовна, вдова, много рожавшая и много страдавшая на своем веку, и сейчас, после гибели мужа на войне, расстающаяся с последней своей опорой, даже спать перестала. Лицо ее осунулось, глаза испуганно мечутся по избе: все кажется, чего-то еще не сделано, что-то она просмотрела, упустила. Пол выскреблен и вымыт до блеска, посредине избы постланы лучшие половики своего тканья, рамки с открытками и фотографиями висят как будто не косо, на окнах тюлевые занавески, на гвоздиках расшитые вафельные рукотерники и платы старинной работы, сохранившиеся еще из девок, от того времени, когда она сама замуж выходила. Платы и рукотерники висят и на божнице, и на рамках с фотографиями. А в рамках вместе с изображениями родных и знакомых, и совершенно случайных, никому не известных людей красуются цветастые открытки, посвященные Дню Парижской коммуны, Восьмому марта, Первому мая, Новому году и первым космическим полетам. Тут же открытки с корзинками аляповатых цветов и со смазливыми нарумяненными личиками в сердечках, с надписями: «Люби меня, как я тебя», «Поздравляю с днем рождения», «Помню о тебе», и с неграмотными стишками:

Быть может, волны света
Умчат меня куда-нибудь,
Пускай тогда открытка эта
На помнит вам что нибудь!

Я переписал их с сохранением орфографии.

Все издано в наше время. Среди этих произведений прикладного искусства вложены, видимо для заполнения пустых мест, листки из отрывных календарей разных лет: на одном — портрет Луи Арагона, на другом — маршала Тимошенко, на третьем — диаграмма неуклонного роста надоя молока по годам в процентах.

В отдельной рамке цвета пасхальных яиц вставлена Почетная грамота невесты, подписанная директором льнозавода и председателем фабрично-заводского комитета: «За отличные показатели в выполнении производственного плана, в честь сорок третьей годовщины Великой Октябрьской социалистической революции».

Мария Герасимовна заправляет керосином и развешивает под потолком в разных местах пять ламп — две свои и три взятые у соседей. Затем придирчиво осматривает все снова, поправляет несколько покосившихся фотоснимков, встряхивает полотенца, чтобы получше видна была вышивка на них, еще раз протирает зеркало...

— Кажется, все как следно быть?

Ей особенно нравится картина, написанная молодым местным зоотехником. На огромном и страшном звере, должно быть волке, хотя морда у зверя явно лисья, Иван-царевич увозит куда-то свою ненаглядную Елену Прекрасную. Полотно во всю стену, золота много, деревья и цветы небывалых размеров. Уж она ли, Мария Герасимовна, не знает лесов темных, дремучи-их — сама всю жизнь в лесу прожила, но таких диковинных стволов даже во сне не видывала. И этакую красотищу зоотехник отдал всего за два килограмма сливочного

масла, подумать только! Не порядился даже, добрый человек! Из всех его картин, какие висят теперь в окрестных деревнях, ей досталась самая большая, самая баска́я, самая яркая. Даже три толстых мужика на богатырских кобылах ей меньше приглянулись, чем дикий лес и этот волк — страшилище мохнатое.

Верит Мария Герасимовна, что, если бы не малевание зоотехника, не так нарядно было бы в ее избе.

А все-таки увозит Иван-царевич свою сугрёвушку из ее родного дома, от батьки с маткой! Увозит! Вот и у нее, у Марии Герасимовны, увезут на днях дочку Галю за сорок километров. Приедут на грузовике вместе с директором льнозавода, выпьют все пиво и заберут девушку. Хорошо, конечно, а все-таки жалко и жутко: одна теперь, старая, останется.

Мария Герасимовна напоследок перевела стрелки ходиков — отстают шибко, — перевела на глазок, наугад. А другие ходики, что давно висят без гири и без стрелок, украсила вафельным свежим рукотерником: зачем их снимать со стены? Пусть не ходят, а все-таки еще одна картинка в доме — цветочки, и лесок, и поле.

Теперь совсем хорошо стало!

— Что так далеко замуж отдаешь дочку? — спрашиваю я.

— Шибко далеко! — горестно подтверждает Мария Герасимовна. — Захочется повидать — не добежишь до нее. Заплачешь — слезы утереть некому. Сорок километров — шутка ли!

— Где же они встретились?

— Там и встретились, на льнозаводе. Галя там работает третий год, тресту в машину подает, а он, жених, на прессе лен в кипу укла-

дывает. Года два они гуляли: как из армии пришел, так и заприметил ее, углядел и уж больше ни на одной гулянке от нее не отходил — люди рассказывают. Все по-хорошему!

Для Марии Герасимовны главное, чтобы все было по-хорошему. А маленькая Галя краснеет, даже разговоров о своей свадьбе стесняется.

— Как будете свадьбу справлять — по-старинному или по-новому?

— Какое уж по-старинному, ничего, поди-ко, не выйдет, — отвечает Мария Герасимовна, — да и по-новому тоже не свадьба. По-старинному бы надо! — заключает она и затем начинает рассказывать, как все должно быть, чтобы все по-хорошему: — Вот приедут они завтра, жених с дружкой, да сваха, да тысяцкой, ну и все жениховы гости, и начнет дружка невесту у девок выкупать. Он им конфетки дает, а они требуют денег, он им вина, а они не уступают за вино, продешевить боятся, невесту осрамить. Ну, конечно, шум, шутки-прибаутки, весело. Ежели хороший дружка, разговористой, так и невесте не до слез, все помирают со смеху.

— А невеста плакать должна?

— В голос реветь должна, как же! Еще до приезда жениха соберутся подружки и начнут ее отпевать под гармошку, все-таки на чужую сторону уходит.

— Она же там работает три года?

— Мало ли что работает, а все чужая сторона. Да и заведено так: родной дом покидает.

— Не умею я реветь, — испуганно говорит Галя, — да и Петя не велел.

— Мало ли что не велел, а пореветь надо хоть немного. По-твоему, расписались в сельсовете — и все тут? Какая же это свадьба!

— Не умею я реветь! — повторяет невеста.

— Ничего, девушки помогут. А то молодицу нашу позовем, у нее слезы сами текут и голос подходящий. Ей реветь не привыкать.

— В загсе были?

— В сельсовете были, как же. Сразу после сватовства съездили. Все по-хорошему. Только ведь что в сельсовете? Расписались и дело с концом. Никакой красоты.

— Жених приезжал сюда?

— Два раза приезжал. Сначала со свахой, с теткой своей, а потом с суслом, один. Когда сусло поспевает, жених берет бутылку сусла от своего пива и привозит к невесте. А у невесты наливают ему в ту же бутылку своего сусла и договариваются, в какой день ему за невестой приезжать. Наш Петрован даже пиво складывать нам помог.

— Каков жених-то? — спрашиваю.

— Ничего парень, парень как парень. Худощавой! Брови белые. В армии уже побывал — и ладно. Какие нынче в деревне женихи пошли? Все норовят уехать да жениться где-нибудь на стороне, на городах. — Мария Герасимовна задумывается и добавляет: — Ничего парень! Высокой!

Когда Галю просватали, она сняла мерку со своего жениха и две недели сама, и ее мать, и тетя, старушка из соседней деревни, до самого дня свадьбы шили так называемое приданое. Кое-какая

мануфактура была заготовлена заранее, недостающее закупали в последнее время. Дирекция льнозавода дала девушке отпуск и месячную зарплату в пятьдесят рублей: все-таки передовая работница. Мать выложила свои многолетние сбережения. Приданое — это и новая одежда невесты, и белье для жениха, и подарки всей жениховой родне: рубашки, фартуки, носовые и головные платки, табачные кисеты.

Кофточку и новое платье на невесте после сватовства порвали ее подружки. Так заведено! Раньше жгли куделю на пряснице, ныне девушки не прядут, а обычай соблюсти надо. Кофточку порвали на заводе, а платье в родной деревне, куда она пришла уже просватанная. Не порвешь одежду на невесте — не бывать замужем подружкам ее. Бьют же стеклянную посуду на счастье!

Для приданого последней дочери мать отдала свой девический кованый сундук, который когда-то был доверху набит ее собственным приданым. Ныне, сколько ни старались, сундук оставался наполовину пустым, пока не догадались сложить в него и домотканые половики, и пару валенок, и даже ватник.

В день свадьбы задолго до приезда жениха собрались к невесте на кухню, в куть, как здесь говорят, ее сверстницы. Никакого намека на слезы пока не было. Разноцветные сарафаны с широкими сборками по подолу, кофты с кружевными воланами, сатиновые фартуки, шелковые и шерстяные полушалки шуршали, шелестели, и рябило в глазах. Только невеста была в простом ситцевом платьице: ее нарядят, когда поведут к жениху за стол.

Молодость шумно справляла свой праздник.

— Девочки, дешевле десяти рублей не брать!

— За такую невесту можно и больше вырядить.

— Жених-то ведь не колхозник, раскошелится.

— За тридевять земель увозят, да чтобы за так!

— Только уступать не надо!

— Это какой дружка попадется. Ежели вроде нашего Генки, так с него голову снимешь, а он все равно зубы заговорит.

Пришел гармонист — паренек лет восемнадцати. Ему подали стакан пива, он немедля уселся на скамью и деловито заиграл. Так же деловито девушки запели первые частушки, которые должны были разжалобить невесту, помочь ей плакать. Начиналась так называемая *в е ч е р и н а.*

Я последний вечерочек
У родителей в гостях.
Тятя с маменькой заплачут
На моих на радостях.

Я у тяти на покосе
Заломила веточку,
Придет тятенька на поженьку —
Вспомянет девочку.

В самом углу, за спинами девушек, за разноцветными кофтами и сарафанами, укрылась невеста, счастливая, розовощекая, кругломи-

цая, — ей пора плакать, а она никак не может начать. Рядом с ней сидит ее двоюродная сестра Вера, приготовившая платок и фартук свой, чтобы утирать слезы невесте, расставившая даже колени, на которые Галя должна падать лицом вниз. А невеста все не плачет.

— Плачь, плачь! — уговаривает ее Вера.

Признаюсь, я подумал, что Галя стесняется меня, и уже собирался выйти из кухни. Но вот наконец она решилась, всхлипнула, подала голос. Гармонист, склонив голову, поднажал на басы, девушки запели громче:

Запросватали меня
И Богу помолилися.
У меня на белый фартук
Слезы повалилися.

Сидит тятенька на стуле,
Разливает чай с вином,
Пропивает мою голову
Навеки в чужой дом.

Галя плакала плохо, вскрикивала фальшиво, и тогда на выручку ей пришла молодица, жена брата. Она пробилась в угол и с ходу взяла такую высокую ноту, так взвизгнула, прижав голову золовки-невесты к своей груди, что все вздрогнули. А девушки подхватили ее крик и запели частушки, более подходившие к судьбе этой молодки:

Не ходи, товарка, замуж
За немилого дружка,
Лучше в реченьку скатиться
Со крутого бережка.

Не ходи, товарка, замуж,
Замужем неловко жить:
С половицы на другую
Не дают переступить.

Дела сразу пошли лучше: по-серьезному разжалобилась и завыла невеста, хотя лицо ее от слез только больше разгорелось, начали прикрывать глаза платками ее товарки, в голос заревели вдовы. Даже я едва сдерживал слезы: так получалось все естественно и горестно.

Но для матери, Марии Герасимовны, все было мало. Она привела причитальницу-плакальщицу, соседку Наталью Семеновну. Гармонист перестал играть, девушки затихли, когда вошла в куть эта черноглазая, с тонкими чертами лица, старая, но и сейчас еще красивая, несогнувшаяся женщина.

— Давай-ко, Наташа, помоги! — попросила ее Мария Герасимовна.

— А чего это вы коротышки поете? — с упреком обратилась ко всем Наталья Семеновна. — Надо во́локнистые песни петь, нельзя без волокнистых. Поди-ко и *к р а с о т у* не с́правляли, что за свадьба такая? Позвали бы меня вчера, я ведь и́ красоту всю помню. Раньше мне Митиха Лискина — вот уж причитальница-то была! — скажет, бывало: «Садись-ко, Наташка, возле, у тебя голос вольной,

учись!». И я с ее голоса, еще девчонкой, все волокнистые, протяжные песни запомнила. Памятью меня Бог не обидел. Сколько своих девок после замуж отдавала, ни много ни мало шесть дочерей в люди вывела — как причеты не запомнить! А грамоты не знаю: азбуку прошла и оспой заболела. Потом уж дотягивала, когда взрослых учили, да самоуком. Могу, конечно, прибауточки прочитать и варакать умею, расписываюсь, а все неграмотная. Была ли кра́сота-то у вас?

Никакой кра́соты в доме Марии Герасимовны не было: мать и дочь бегали как угорелые, чтобы все приготовить к приезду жениха и новых гостей как следно быть. Не до волокнистых песен было, не до свадебных обрядов.

— Тогда уж давайте и кра́соты немного прихватим, — решила Наталья Семеновна. — Может, кто подтянет? Или нет?

— Подтянем! — неуверенно отвечали ей. — Ты только запой.

Мария Герасимовна поднесла старушке стакан пива:

— Прочисти горлышко-то, Наташа, легче запоется.

Наталья Семеновна выпила пиво, вытерла губы тыльной стороной ладони и запела печально, волокнисто:

Солнышко закаѓается, дивьёй век коротáется.
Дивьёй век короѓается, да пошел день нá вечер.
И пошел день ńа вечер, да прошел век девичьёй.
И да прошел век девичьёй, да прошло девичьёё житьё.
И прошло девичьёё житьё, всё хожéньё да гу́ляньё.
Отходила я да отѓу́ляла летом по шелкóвой траве,
И летом по шелḱовой траве, зимой по белому́ снегу...

Казалось, изба стала просторнее, потолок поднялся, а сарафаны да кофты запестрели еще ярче.

Голос у Натальи Семеновны высокий, чистый, не старушечий, пела она неторопливо, старательно, без робости: просто делала нужное людям дело, из-за чего же тут робеть?

Девушки начали подтягивать ей, но вряд ли хоть одна из девушек знала эти старинные свадебные причеты. Подтягивать было легко, потому что каждый стих (строка) причета исполнялся дважды, вернее, окончание каждого стиха переходило в начало стиха следующего, и так без конца.

По этой же причине и записывать причеты с голоса было нетрудно, что я и сделал.

— Приставайте, приставайте, девки! — говорила время от времени Наталья Семеновна. — Подхватывайте! — И сама продолжала петь.

Невеста перестала плакать, она, должно быть, просто забыла о себе, растерялась, настолько необычными показались Натальины плачи после немудрых жалостливых коротышек под гармошку.

Колокольчики сбрякали, да сердечико дрогнуло.
И да сердечико дрогнуло, ретивое приодрóгнуло.
И ретивое приодрóгнуло, да не вё-ошная вóда,
И да не вёшная вóда под гору разливалася,
И да под гору разливалася, подворотни вымывала...

— За невестой приехали, вот о чем поется! — пояснила Наталья Семеновна и попросила: — Налей-ко мне, сватья, белушечку, что ты один стаканчик подала, в горле першит. Ведь говорят: сколько пива, столько и песен.

Мария Герасимовна поднесла ей полную белую чашку пива, считавшуюся почетной, как в старину братыня. Старушка встала со скамейки, приняла белушку с поклоном, обеими руками, но выпила не всю: важна была честь! Затем тщательно вытерла губы и снова запела:

И да не ком снегу бросило, да не искры рассыпались,
И да не искры рассыпались, да во весь высок терём,
И да во весь высок терём ко родимому батюшке,
И ко родимому батюшке, да ко мне молодёхоньке,
Да ко мне молодёхоньке, да во куть да во кутеньку.
Ещё дружко-то княжая под окошком колотится.
Под окошком колотится, да в избу дружка просится,
И в избу дружка просится — я сама дружке откажу...
Я сама дружке откажу: дружка, прочь от терёма!
Дружка, прочь от высока — не одна сижу в тереме,
И не одна сижу в тереме — со своими подружками...

Кроме теремов высоки-их и столбов белодубы-их были в песне и князья, и бо́яры, и дивьёй мона́стырь со монашками, были и Дунай-быстра река, и Великий Устюг, Осмоловский сельсовет и колхозное правленьице. Рассказывалось в последовательном порядке, как

приезжают сваха и дружка, жених и свекор-батюшка, и свекровь-матушка, как они входят на мост — в сени, затем ступают за порог в избу, садятся за стол, требуют к себе невесту, и как невеста дары раздает и просит благословенья у отца с матерью, которое «из синя моря вынесет, из темна лесу выведет, и от ветру — застиньице, и от дождя — притульице, от людей — оборонушка». Ведется песня от лица невесты, умоляющей защитить ее от чуж-чуженина — жениха, от князьёв и́ бояров, ступивших в сени: «И подруби-ко ты, батюшко, да мосты калиновы, да переводы малиновы», либо от лица девушек, высмеивающих сваху: «У нас сваха-то княжая, она три года не пряла, она три года не ткала, все на дары надеялась», а еще высмеивающих скупого дружку: «Что у дружки у нашего еще ноги лучинные, еще ноги лучинные да глаза заячинные...».

Наталья Семеновна увлеклась, распелась, а все нет-нет да пояснит что-нибудь: так мало, должно быть, верила она, что содержание старинного причета понятно всем нынешним, трясоголовым; нет-нет да и вставит какую-нибудь прозаическую фразу между строк. Кажется, свадьба эта воспринималась ею не всерьез, а лишь как игра, в которой ей, старой причитальи́це и рассказчице, отведена главная роль.

— Это ничего, что про монастырь пою? — спрашивает она вдруг. — Нынче ведь нет монастырей-то.

Или вдруг:

— Может, надоело кому? Укоротить, поди, надо? Раньше ведь подолгу пели да ревели, а нынче живо дело отвертят...

Спросит и, не дожидаясь ответа, продолжает петь. А однажды она приказала девушкам:

— Теперь переходите на другой голос, чтобы невесте еще тоскливее стало! — И сама изменила мотив.

Услышав эти слова, Галя, давно молчавшая в своем углу, заревела снова громко, надрывно, всерьез. Совсем свободно заплакалось ей, когда Наталья Семеновна помянула в песне родимого батюшку: Галя осиротела рано и поныне тоскует по своем отце-солдате.

Жених, сваха, тысяцкий, дружка и все гости со стороны жениха приехали за невестой на самосвале: другой свободной машины на льнозаводе не оказалось. В кузове самосвала толстым слоем лежало свалявшееся за сорок километров желтое сено.

Ничего похожего на серого волка!

Раньше забирали невесту и справляли свадьбу сначала в родном дому жениха, затем возвращались пировать к родителям невесты. От заведенного порядка пришлось отступить и сделать все наоборот: отпировать у невесты и лишь после этого везти ее «на чужую сторону». Такая перемена диктовалась отсутствием транспорта и слишком большими перегонами взад-вперед.

Как приложение к даровому самосвалу пировать к невесте прибыли несколько конторских работников с льнозавода во главе с директором. Эти гости считались почетными.

Перед въездом в деревню гостей встретила бревенчатая баррикада — ее соорудили местные молодые ребята. По обычаю, свадебный поезд следовало задерживать в пути и брать за невесту выкуп, а грузовик не тройка с колокольчиками, его живой людской цепочкой не остановишь.

Стоял большой мороз, не меньше тридцати градусов, и, конечно, парни работали и топтались на холоду не из-за корысти, не из-за бутылки водки. Для них свадьба была чем-то вроде самодеятельного спектакля. В огромной деревне Сушинове до сих пор нет ни электричества, ни радио, ни библиотеки, ни клуба. За два последних года сюда не заглянула ни одна кинопередвижка. А молодости праздники необходимы! Пожилые колхозники по вечерам дуются в карты, собираясь из года в год в избе Нестора Сергеевича, оплачивая этому добровольному мученику за помещение, за грязь, за керосин с кона. А куда деться молодым? К тому же почти все они обременены семилетним и восьмилетним образованием. Раньше девушки пряли лен, собирались на беседки к одной, к другой поочередно, туда же тянулись и парни. Теперь лен трестой сдают на завод. И вот каждая свадьба в деревне становится всеобщим праздником, всеобщей радостью. Не потому ли и сохраняются здесь почти в неприкосновенности все былые обычаи и обряды с волокнистыми песнями про князей и бояр?

Перекрытые полевые ворота зимой не объедешь и даже не обойдешь: снежные сугробы достигают здесь двухметровой глубины. Счастливые озорные парни торжествовали: гости, закоченев в самосвале, не торговались, и долго расхваливать невесту не пришлось. А главное, было весело.

Весело стало и в избе невесты, как только ворвался туда дружка Григорий Кириллович. Бывалый человек, с неуемным озорным характером, прошедший во время войны многие страны Западной Европы как освободитель и победитель, он сохранил в памяти бесчис-

ленное количество присловий и прибауток из старинного дружкиного багажа и не пренебрегал ими.

Сват да сватья,
Наехала сварьба,
Мне не веритё —
Сами увидитё! —

закричал он, стуча кнутовищем по крашеной лазоревой заборке, отделяющей горницу от кухни.

Невеста еще плакала, причитальница пела, девушки подпевали, как умели, но всем было уже не до того и невесте не до слез. Гриша завладел общим вниманием, властно подчинил все звуки своему немного охрипшему на морозе голосу.

Ворвался на кухню и жених. Он оказался и впрямь несообразно высоким и худосочным. Вспомнились слова Марии Герасимовны: «Какие нынче женихи пошли, в армии побывал — и ладно. Ничего парень! Брови белые!..». Звали его Петром Петровичем.

Чтобы довезти жениха до невесты живым, не заморозить, ему разрешено было по дороге пить со всеми наравне, и Петр Петрович ввалился на кухню пьяным и гордым собою не в меру.

Галя сразу притихла, начала поспешно вытирать слезы. Стало понятно, почему она так долго отказывалась выполнять старые обычаи на своей вечерине.

— Я тебе что сказал? — с ходу властно заорал Петр Петрович. — Я тебе сказал не реветь! А ты что? Что, я тебя спрашиваю?

— О, Господи! — ужаснулась испуганная Наталья Семеновна. — Еще не мужик, а уж форс задает. Что потом-то будет?

— Что ты, Натаха, неладно-то говоришь? — с упреком кинулась на нее Мария Герасимовна. — Что он такое сделал? — И начала уговаривать, успокаивать своего будущего зятька: — Петя, Петенька! Ничего, Петенька! Ну, поревела маленько, так ведь ничего это, Петенька! Так заведено, Петенька!

А невеста от страха вдруг заревела пуще прежнего. Ее прикрыли собою девушки.

— Кому венчаться, а мне разоряться, — продолжал балагурить Гриша. — Сколько с меня, девки?

У каждого дружки своя манера балагурить. Кроме расхожего, известного повсюду набора острот и поговорок, у него должны быть и свои шутки-прибаутки. Чувство юмора и находчивость для него обязательны. Это уже область творчества. Не всякого приглашают в дружки.

Григорий Кириллович сначала кинул в сарафанные подолы девушек несколько горстей конфет, а затем стал с силой забрасывать их серебряными монетами. Делал он это с ожесточением — не то от злости, не то от великой щедрости. Деньги покатились по полу, под стол, под скамейки. Зазвенели окна, лопнуло стекло у иконы, казалось, вот-вот разлетится вдребезги и ламповое стекло; кто-то завизжал от страха, Наталья Семеновна прикрыла фартуком лицо.

Но все монеты оказались устаревшими, дореформенными. Смех и грех! Собственно, греха не было, был только смех и новый повод для взаимных острот и насмешек.

Девушки все же настояли на своем: жениху и дружке пришлось дать приличный выкуп за невесту вином и настоящими деньгами.

После этого к Гале была допущена сваха. Пожилая женщина проделала истово и торжественно все, что полагается согласно старым обрядам. Она помогла невесте одеться тепло, по-зимнему, как бы в дальнюю дорогу, хотя уже все знали, что сегодня никакой дороги не будет, и так, в зимнем пальто, вывела ее из кухни, маленькую, толстенькую, и посадила за стол в красный угол рядом с женихом, который также был одет по-зимнему, в чем приехал. Под сиденье жениху и невесте постелили кошули — полушубки, поддетые материей, чтобы молодые возвышались, «как на троне». Невесте под сиденье положили кошулю потолще. Долговязый жених, взгромоздившись на трон, едва не достал головой до потолка.

Начался пир, по кругу пошла белушка, родственники первыми поздравляли молодых, кричали им «горько», требовали «посластить». Молодым разрешалось пить только из одного стакана — за этим следили строго, чтобы жених не переложил еще больше. Как видно, слабость эта за ним водилась.

Начали собираться гости и со стороны невесты. Каждого входящего встречали еще у порога стаканом пива либо белушкой.

Понесли «сладкие пироги».

Сладкие пироги на северных сельских свадьбах и других праздничных пирах обязательны. Традиция эта давняя, может, многовековая.

Сладкий пирог — белый, сдобный, круглый, величиной с решето, а то и больше. Сверху на нем всякие завитушки, плетеные узоры

из теста и разноцветных монпансье («лампасея») да еще изюм. Нынешние свадебные пироги из-за отсутствия в районе изюма и ландрина украшены были бледными конфетами-подушечками с повидловой начинкой.

Вот когда я пожалел, что не вспомнил в Москве об этих сладких пирогах. Каких бы разноцветных атласных и прочих подушечек мог набрать я в гастрономическом магазине «Ударник»! Леденцы там по своему разнообразию и многоцветности не уступают коктебельским камушкам. Все это дешевое богатство я мог привезти с собой, и оно успело бы попасть на свадебные столы.

Вспоминаю свое детство: после праздников мы, малые ребятишки, допускались к сладким пирогам и с вожделением выковыривали «глазки» — ландринки, запеченные в тесто.

Сладкие пироги на Севере такое же народное творчество, как резные наличники на окнах, петухи и коньки на крышах, фигурные расписные прясницы и кустарные ткацкие станы, как колокольчики «дар Валдая» под дугой и бубенчики (воркунцы, ширкунцы) на ошейниках у лошадей.

Каждая семья, приглашенная в гости, на свадьбу, идет со своим сладким пирогом. Большачиха, она же стряпуха, несет пирог в широкой круглой лубяной «хлебнице» либо на «веке» — крышке от хлебницы, и прикрыт пирог красной вырывной салфеткой с кисточками. Кроме этого главного гостинца, в корзине или в хлебнице могут быть и простые белые пироги, колобаны.

— Горько! — все чаще раздается то в одном углу избы, то в другом, и жених с невестой встают и троекратно неумело целуются. Петр

Петрович при этом сгибается, а Галя плотно сжимает губы и от смущения закрывает глаза.

— Горько! — требовательно кричат снова.

Счастливая Галя отпивает несколько глотков из общего стакана и передает остаток пива жениху. Тот, не разгибаясь, опрокидывает стакан в рот и шутит:

— Если б знал, не женился бы, даже выпить как следует не дают.

Сваха с тревогой посматривает на него, что он такое еще сделает и не наговорил бы чего-нибудь лишнего.

— Горько!

Любой пир — прежде всего люди. Человеческие характеры легко и свободно раскрываются на пиру. На всяком сельском празднике обязательно пляшут и плачут, спорят и вздорят, смеются и дерутся; одни молчат, другие кричат; молодицы поют, вдовы слезы льют.

Среди мужчин на пиру очень скоро объявляются типично русские правдоискатели, ратующие за справедливость, за счастье для всех. Достается от них и немцам, и американцам, и туркам, но больше всего, пожалуй, достается самим себе, своим соотечественникам. Таким людям не до веселья, не до песен, не до плясок. Они обличают, разоблачают, требуют возмездия, протестуют и все время спрашивают: что делать? как быть? кто виноват? и знают ли о наших бедах наши *г л а в н ы е ?* видят ли*?* В этой неуемности проявляются, должно быть, черты национального характера. Но не дай Бог попасться на целый вечер в руки такому самосожженцу: ни пира, ни мира не будет, ничего не увидишь, ничего не услышишь.

Объявляются также и заурядные хвастуны — люди самодовольные, недалекие, кичащиеся своим служебным положением, своим заработком, даже неправедным, нечистым; хвастающие своим домом, домашней утварью, домашним скотом и, наконец, женой и тещей.

В древних русских былинах говорится о том, как добрые молодцы садятся за стол и — «один хвастает родным батюшкой, другой хвастает родной матушкой, умный хвастает золотой казной, глупый хвастает молодой женой». Современные хвастуны скромнее. Весь первый вечер ходил от стола к столу пожилой колхозник и, не переставая сам удивляться и радоваться, хвалился своими пластмассовыми недавно вставленными зубами. Почокается со всеми, выпьет стакан пива, вынет челюсть, всем покажет ее, и опять вставит.

— А теперь смотрите, как я жевать буду. Кости грызть могу — чудо! В нашем районе сделали!

Редко, но встречаются хвастуны и незаурядные, необыкновенные. Слушать таких — одно удовольствие. Это счастливцы, жизнелюбцы и своего рода художники слова, своеобразные сельские лакировщики действительности.

Хвастаются, например, изобретательностью. В прошлом году, чтобы обеспечить кормом своих коров, колхозники ухитрились выкосить на озерах всю осоку уже после ледостава.

— Никогда бы раньше мужику до такого не додуматься, головы не те были. Ледок тоненький, похрустывает, а ты идешь с косой и в полную силушку поверх льда — вжик, вжик! Вот пишут: на заводах то, сё, смекалка, а мы разве без смекалки живем?..

Другие вторят:

— До многого раньше умом не доходили. Вот, скажем, коза. Раньше у нас считали козу поганой животиной, от молока ее с души воротило, хармовали. А коза чем хороша? Ей корму меньше надо. Дашь осинового листу либо коры сосновой — она и сыта. Афиши и газеты жрет — все ей на пользу. В деревнях теперь козы в ход пошли!

— У меня коза Манька восемь литров за сутки дает!

— Ну, знаешь!..

Хвастаются тем, что хлеб растет иной год даже на неудобренных и не обработанных землях...

А многие просто сидят молча и пьют, ни о чем не думают, ни о чем не спрашивают — отдыхают. Конечно, кто-то и перепивается. На всякой пирушке хоть один да сваливается под стол либо начинает шуметь, требовать к себе особого внимания, задирается, скандалит.

На разных людей хмель действует по-разному: одним ударяет в голову, другим в ноги, третьим в руки. Одни становятся ласковыми, влюбчивыми, со всеми готовы перецеловаться, другие — злобными.

Слез и жалоб больше всего среди женщин. Неудачно вышедшие замуж плачут на любом пиру, и так всю жизнь. Старые матери плачут о потерянных детях, о непутевых дочерях, сходившихся с мужиками не по-людски, без закона и теперь мающихся из-за этой уступчивости; вдовы — об убитых на войне мужьях («даже похоронной не было!»).

А встречаются вдовы и довольные своей судьбой: озорные, разбитные, первые певицы и плясуньи. Замужем они были, как на каторге: ни одного доброго слова, только зуботычины да — «Пошла ты на три буквы», — а сейчас освободились, расправились и в колхозе

всем равны, и дома сами себе хозяйки, они и погулять, и поозоровать непрочь.

Сразу напился и пошел кренделя вертеть дядя жениха. Он еще до женитьбы судился дважды за хулиганство. Жена его, Груня, бухгалтер на льнозаводе, настоящая великомученица: то возится с ним, как с малым ребенком, то прячется от него на кухне, на полатях, в сенях — все зависит от настроения загулявшего его величества («А тверёзый-то он — человек как человек!»). В первый же вечер этого дядю родственники вынуждены были связать, а на другой вечер прибегли к более современному и гуманному средству: дали ему в стакане пива лошадиную дозу снотворного.

Груня нашла себе подругу по несчастью, и вот две женщины — у одной владыка спал, у другой, у Тони, — смазливенький, с лисьим тонким личиком, ненасытный женолюб, увивался около дородных вдовиц, — сидели две женщины на кухне, в уголке, целый вечер вдвоем и одна перед другой изливали свои души.

— Мой тоже побывал в милиции, — рассказывала Тоня. — Взяли с него подписку, что больше фулиганить не будет, он расписался — и все. Я говорю им: «Он же меня убить грозится, ребятишки ведь без матери останутся. Свою избу однажды поджигать стал». А они говорят: «Вот когда допустит чего-нибудь этакое, тогда мы и заберем его и приструним!».

— Твоего только в милицию возили, а мой уже в тюрьме сидел не раз, — завидовала подружке Груня.

— Думаешь, мой не сидел? — машет рукой Тоня. — Только я об этом не рассказываю. Сидел и принудиловку отбывал. Первый раз

сидел, когда еще холостой был. Подрались, и он на па́ру со своим отцом человека убил. Обоих по амнистии освободили. Другой раз, уже при мне, был десятником стройконторы, работал на ремонте дороги, сговорился с кем-то и украл камни: камни эти никто для дороги не собирал, никто в глаза их не видывал, а он выписал наряд на них, будто собраны, и деньги пропили. Дали ему за эти камни два года. Просидел только один год и два месяца. Вернулся, поставили его завхозом на льнозаводе, второй раз завхозом. Чего только не тащили тогда с завода, чтобы пропить! Водка все смывала с рук.

— Вот-вот, все водка, — вставляет свое слово Груня. — И мой такой же!

Тоня продолжает:

— Поехал мой в командировку, в Карныш, и там, опять с кем-то в сговоре, украл чужое сено: продали его в стогах, пропили. Дали принудиловки шесть месяцев. Работал пожарником, работал на пилораме — весь лес в его руках. Лес воровал. И все для водки, все для зеленого змия. Хоть бы домой нес, так уж ладно бы... А то приходит домой пьяный. «Клади, говорит, голову на плаху!» — «Не положу, говорю, ребятишек жалко, что с ними с тремя будешь делать?» — «Полезай, говорит, в петлю сама, чтобы на меня подозренья не было!» — «Не полезу», — говорю. «Тогда лезь в подполье и не показывайся мне на глаза весь день». — «В подполье, говорю, полезу». Запрет он меня в подполье и держит там, сидит надо мной. А ребятишки ревут, дрожат, боятся его. Надоест ему этот рев, он и откроет подполье: «Вылезай, говорит, утешай их, корми!». А сам опять уйдет к дружкам да к приятелям водку пить. Кабы не водка, может, мы и по-людски бы жили.

Тверёзый он у меня тоже ничего, обходительный: человек как человек. Шибко много водки стали пить после войны.

Груня слушала, сочувствовала, но казалось ей, что у Тони положение все-таки лучше, чем у нее.

— У тебя, может, хоть дерется не так грозно, все-таки ведь безрукий, ударить сильно, поди, не может... Мой-то — зверь настоящий, кулаки у него железные. Стукнет по столу, так от косточек ямочки на досках остаются.

— Ой, что ты! — обижается Тоня. — Безрукий, а хуже троерукого. Силищи у него, у окаянного, как у дракона. Если не помогут, все равно повешусь, либо сам топором меня зарубит. Он ничего не боится. «Я, говорит, всю войну прошел!». Недавно у нас баба удавилась, тоже из-за мужика, из-за пьянства. И мне со своим не совладать, он и вправду всю войну прошел, руку свою отдал, все ходы и выходы знает. Что я для него?..

Сидят две свободные, раскрепощенные, чуть подвыпившие женщины на кухоньке, укрывшись от общего шума и песен, и разговаривают, и плачут, и тоже шумят иногда, и уж не поймешь: жалуются они на своих мужей друг другу или хвалятся ими — до того оба они сильные да бесстрашные.

Брат невесты, тоже маленького роста, Николай Иванович — помощник колхозного бригадира, человек небойкий, малозаметный, но безотказный, работяга, из тех работяг, на которых везде воду возят, — неторопливо ходил из кухни в горницу, из горницы в кухню то с белушкой, то с пивным стаканом, то с графинчиком и стограммовой стопкой, продирался за столы, за скамейки, появлялся у

порога перед новыми гостями, не забывая ни молчаливых, ни спорящих. Он был, так сказать, главным подающим на пиру, что-то вроде тамады. Но тостов он не произносил, красноречием не отличался, только настойчиво предлагал каждому выпить — и все тут. Отбиться от его угощения было невозможно, он прилипал к человеку, изнурял его своим терпением, не отходил до тех пор, пока тот, в безнадежном отчаянье махнув рукой, не выпивал все, что бы ему ни предлагалось. Считается, что если на свадьбе нет пьяных, счастья молодым не будет, и Николай Иванович понимал всю глубину ответственности, возложенной на него.

Время от времени он тащил то одного, то другого дорогого гостенька на кухню, за печушку, к матери своей, и Мария Герасимовна угощала их чем-то из судёнки, по секрету. Появился там и директор льнозавода.

— Откушай-ко! Горит! — шепнула ему Мария Герасимовна.

— Ну? Горит? — обрадовался директор. — Тогда давай, за дальнейший рост!

— Кушай на здоровье!

Выпил директор секретную стопку, повеселел, подобрел к Марии Герасимовне и поговорил с ней.

— Дочка у тебя хорошая — Галя, все планы выполняет и перевыполняет. Сейчас и на сына посмотрел: тоже хороший мужик. Лишнего не болтает, ходит, угощает всех. Все люди у нас хорошие! У тебя двое?

— Двое осталось, девять было. Все умирали до году, — пожалобилась Мария Герасимовна.

— Отчего такое, жилось худо?

— Да нельзя сказать, что худо жилось. Только работала, себя не жалела. Ни одного ребенка до дому не донесла, то на поле родишь, то на пожне, а бывало, что и на дорогу вываливались.

— И оба у тебя мелкие ростом, и Галя, и сын этот, Николай. Отчего такое?

— Поди, оттого и мелкие, — не обидевшись, ответила Мария Герасимовна, — что ни себя, ни их не жалела. Дом большой, скота было много, а мужик еще охотой занимался. Потом овдовела, муж-то на войне остался, смертью храбрых. Да меня еще в депутатки не по один год посылали, тоже угомону не было.

— Куда в депутатки?

— Да в этот — как его? — в сельсовет.

— Значит, ты и общественную нагрузку несла?

— Несла, как же. На все заседания таскали.

Директор удовлетворенно заключил:

— Оттого у тебя и дети в люди вышли. Николай-то бригадиром?

— Помощником. Не знает уж, как избавиться от этой бедолаги, затаскали совсем. Раз в члены вступил, так терпи.

Выбравшись из кухни, подобревший директор попал в руки правдоискателей.

Три невестиных братана — так зовут здесь двоюродных братьев — работают вместе на дальнем лесозаготовительном участке: один шофером, другой пильщиком-мотористом, третий заведует школьными производственными мастерскими и одновременно преподает физкультуру в восьмилетке. Три человека — три разных характера, а друг с другом не расстаются.

Шофер Василий Прокопьевич — бунтарь по натуре. Он забывает про еду и пиво, как только начинает рассказывать о непорядках в лесу, при этом лицо его бледнеет, глаза блестят и требуют ответа сразу на все вопросы, какие ставит перед ним жизнь. А ездит он широко и знает много.

Другой братан — Ленька, человек веселый до легкомыслия, знает печальных историй не меньше, но непреодолимая жизнерадостность не дает ему надолго впадать в тоску и негодовать из-за каких-то несуразностей жизни. Он любит пошутить, посмеяться и вовремя рассказанным анекдотом смягчает острые разговоры и тяжелое настроение Василия Прокопьевича. Может быть, в этом больше мудрости, чем легкомыслия?

Третий — преподаватель физкультуры — вторит то одному, то другому из братанов. Он легко воспринимает чужие настроения, легко поддается им и в спорах и разговорах может становиться на любую из сторон. Где перевес — там и Михаил Кузьмич. Разгорячится Василий Прокопьевич — горячится и он и еще больше добавляет огня в костер самосожженца; развеселит всех Ленька — и он расскажет подходящий к случаю анекдот.

Я узнал, что жена Михаила Кузьмича называет своего благоверного бескостной миногой. Ей больше нравится шофер Василий Прокопьевич.

Директор льнозавода сам подошел к братанам, сидящим за столом. Они смеялись.

— Ну что, воины, как живется?

— Живем помаленьку! — ответил Михаил Кузьмич.

— Помаленьку нельзя. Вы молодые, вам надо хорошо жить. Время у нас такое. А пьется как?

— Пьем по маленькой, — отрапортовал Ленька.

— Маленькую и я сейчас выпил — хорошо прошла. А смеетесь над чем?

— Над директорами.

— Что такое? — встревожился директор.

— Да вот, понимаете, — Михаил Кузьмич повторил анекдот, только что рассказанный Ленькой: — угробил у нас один шофер новую машину и вместе с ней директора, стоит, в затылке чешет: «Ладно, говорит, директора дадут нового, а вот где я теперь запчасти достану?».

Рассказал и от удовольствия расхохотался снова. Засмеялся и Василий Прокопьевич. А Ленька, моторист, смотрит в глаза директору и ждет, как тот примет шутку. Но директор только нахмурился и задумался. Тогда Ленька рассказал еще один анекдот:

— Расхвастался иностранец своей чудо-техникой. «Смотрите, дескать, что у нас могут делать. Вот, скажем, курица. — Ленька развернул ладошку перед носом директора льнозавода и дунул на нее. — Фу — и вместо курицы яйцо. Фу — опять курица». Тогда наш инженер обиделся и сказал: «Подумаешь, чудо! У нас и не такое могут делать. Вот, скажем, — Ленька опять развернул ладошку, — директор!.. Фу — дерьмо. Фу — опять директор».

Братаны, все трое, дружно расхохотались, а подвыпивший директор льнозавода нахмурился и задумался еще больше и наконец сурово спросил:

— Вы где работаете?

Василий Прокопьевич сразу посерьезнел и пошел в атаку:

— А вам, собственно, для чего нужны наши сведения? Анкетку хотите заполнить?

По недоразумению или по злобе многие считают всех шоферов без исключения «леваками» и «калымщиками», бесстыже подрабатывающими на случайных пассажирах, и «малопьющими» в том смысле, что, сколько ни пьют, им все мало. Василия Прокопьевича ни в каком левачестве не заподозришь: не таков он человек, не тем живет, не о длинных рублях думает. К тому же и возит он не людей, а лес, ему не с кого собирать подорожные.

— Мы работаем в лесу, у нас свои порядки, и мы про них знаем, — запальчиво продолжал он. — А вот вы — директор. Знаете ли вы, что у вас на льнозаводе делается? Знаете? Ваши приемщики колхозы грабят, номера тресты занижают. Вы калымщик, вот вы кто! А ведь в партии, наверно, состоите?

Директор поначалу опешил, но, услышав слова о партии, воспрянул духом:

— Ты вот что, парень, меня критикуй, а партию не трожь!

— Партию я не трожу! — сказал Василий Прокопьевич. — А вы зачем колхозы обсчитываете? Партия с вас все равно спросит. Не прикроетесь!

Весельчак Ленька и Михаил Кузьмич дружно поддержали своего братана.

В разговор о льнотресте немедленно включились соседи по столу, и давний конфликт вышел наружу. Суть его в следующем.

На заводе старое, почти допотопное оборудование, из-за чего при первичной обработке льна получается очень большой, недопустимый по нормам процент отходов. Чтобы не прогореть даже при этом древнем оборудовании и выполнить и перевыполнить производственный план (обязательно перевыполнить — для отчетности, для премиальных!), работники льнозавода приноровились умышленно занижать сортность поступающей тресты. А лен — основной источник колхозных доходов. Треста оплачивается государством щедро, и разница в цене за лучший номер, даже за половину номера очень велика. Райком партии установил свой контроль за приемкой льнотресты, первый секретарь сам досконально изучил правила определения сортности льна, но этого контроля оказалось недостаточно. Колхозы и колхозники продолжают терпеть убытки и очень обижаются.

Пиво развязало языки, гости наговорили служащим льнозавода немало резкостей.

— Критиканы вы все, вот что, очернители! — огрызался директор.

А с кухни снова зазвенел высокий нестарушечий голос Натальи Семеновны — и полилась песня про князьев да бояров.

— Ладно, треста трестой, а вы скажите, долго ли у нас в лесу щепки будут лететь? — переключился на новые разоблачения Василий Прокопьевич. Он кричал, чтобы заглушить песню: — Почему везде человек человеку друг, а у нас в делянке один закон: совесть на совесть, кто кого обставит да обсчитает?

В наступление были пущены смазочные масла и горючее, нормы выработки в кубометрах и километраж, и запчасти, запчасти для машин и трелевочных тракторов — главное, запчасти.

— Почему для одних шоферов запчасти есть, а для других нет? И почему все надо доставать, а не получать, не покупать?

Василию Прокопьевичу подают белушку пива, он принимает ее, не глядя, обеими руками, выпивает всю, до дна, не заметив даже, что пьет́ и сколько пьет, и, вытирая губы рукавом, продолжает говорить, говорить и спрашивать. В душе его горит страстный огонь правдолюбца, он в запале и уже не видит и не воспринимает ничего, что не касается прямо и непосредственно его производственных бед и обид...

Михаил Кузьмич, заведующий школьными мастерскими, впадая в тот же тон, рассказывает, в свою очередь, что ребят приходится знакомить не с современной техникой, не с трактором, не с бензопилой «Дружба», потому что их в школе нет, а с утилем, собранным на кладбищах машин, а то и просто использовать школьников как чернорабочих, только бы заполнить часы, отведенные для производственного обучения; что зарплата для учителей все еще не упорядочена и многие уходят на лесозаготовки, становятся механиками, шоферами.

Наступило время для Леньки. Чтобы разрядить атмосферу, он вдруг начинает неистово кричать:

— Горько! Горько!

Его крик подхватывают гости из-за других столов:

— Горько!

Молодые послушно встают и чинно-благородно целуются.

— Ну как теперь? — спрашивает Петр Петрович.

— Горько, — не уступает Ленька.

Молодые целуются снова и уже не садятся.

— Теперь сладко? — спрашивает жених.

— Теперь ничего, жить можно!

Все пьют. Петр Петрович тоже поднимает стакан, но бдительная сваха останавливает его, и жених в который уже раз шутит:

— Даже выпить не дают как следует. Если б знал, не женился бы.

Гости с готовностью смеются. Смеется и счастливая невеста. Но разошедшийся Василий Прокопьевич все еще не смеется. Он услышал вдруг сладкоголосую Наталью Семеновну и обрушил на нее остатки ćвоего ґражданского гнева:

— Бояры-бояры, а сама тянет из колхоза все, что плохо лежит — то лен, то сено охапками, то ржаные снопы. Прижмут ее — она в слезы: плакальщица ведь, артистка! А когда муж стоял в председателях, от нее никому житья не было. Однажды Ванька Вихтерков подкараулил ее в поле да забрался под суслон, будто от дождя, ждет, что будет. Причитальница добралась и до этого суслона, снимает хлобук, а он ей: «Хлобук-то оставь, Натаха, а то меня дождь смочит!».

— Брось обижать старуху! — вступился за Наталью Семеновну Ленька. — Наговоры одни, да еще заглазно.

— Я и при ней скажу.

— Чего скажешь, коли сам не видел.

— Я не видел, другие видели.

— Никто ничего не видал.

— Конечно, одни наговоры, — поддержали Леньку сидевшие рядом женщины. — Худославие одно. Ее, Наталью, тоже понять надо.

— Ладно! — начал сдаваться Василий Прокопьевич. — Только ведь сожгла же она недавно соседский стожок на лесной дербе. Все об этом знают...

— Опять все!

— А вы дайте ему договорить! — вмешался в спор Михаил Кузьмич.

И Василий Прокопьевич договорил:

— Дерёбку эту она скашивала сама не по один год, а тут приходит — сено сметано. Подумала, что это колхоз выкосил́ и сгреб, ну и п́одожгла. Срамили ее!.. Вот тебе и бояры, и монастыри с монашками!

Молчун Николай Иванович, главный подающий, слушал, слушал эти слишком серьезные для него разговоры да как грохнет пустым стаканом об пол. Гости от неожиданности вздрогнули: что это с ним, с тихоней? А с ним ничего! Он просто хочет, чтобы молодые жили счастливо. Добиться же этого нетрудно, надо бить стеклянную посуду.

И еще: Николаю Ивановичу тоже поговорить захотелось.

— Вон какую свадьбу отгрохали! — хвастливо показывает он на столы.

А на столах полно сладких пирогов, которых никто не решается трогать, они лежат для украшения. Едят мясо, жареную треску, яичницу на широких сковородках, называемую селянкой, рассыпчатую кашу из овсяной крупы — заспы, все соленое-пересоленое.

— Пей горько да ешь солоно — никогда не закиснешь! — сказал дружка Григорий Кириллович.

— Горько!

— Сколько у вас присчиталось в этом году? — спрашивают Николая Ивановича. Вероятно, кто-то почувствовал его неутоленное желание вступить в общий разговор.

— На трудодень-то?

— Да.

— А ничего не присчиталось. Только добавочные платим.

— Совсем на трудодни не выдавали?

— Нет, выдавали, как же.

— Сколько выдали?

— Да ничего не выдали.

— И ты ничего не получил?

— Получил, как же. Не я один.

— Сколько же ты получил?

— Один раз пять рублей под расписку, а другой раз — так.

— А так — это сколько?

— Да рублей двадцать, не больше.

Все идет «как следно быть, все по-хорошему», как и хотелось Марии Герасимовне. Ей самой ни поесть, ни выпить некогда.

Женщины усадили гармониста на высокую лежанку и плясали до упаду, то и дело обтирая потные лица платками и фартуками. Гармонисту обтирать свое лицо было некогда, и за него это делала какая-то услужливая молодая девушка — дроля, наверно.

Дробили с припевками, с выкриками. Особенно отличался кокетливый, не по-деревенски смазливый паренек — почтальон из сельсовета, до того смазливый, что казался подкрашенным, напомаженным. Он знал много современных частушек, которые называл частухами.

Сидит милка на скамейке,
Не достанет до земли.
В кассу я отнес копейки,
Через год возьму рубли.

Наверно, он сам сочиняет эти частухи.

Плясали, пока у гармониста не вывалилась гармонь из рук.

Седой бородатый мужик продолжал хвастать своей пластмассовой челюстью. Нашлись хвастуны и похлеще.

— В этом году наш колхозный план все-таки утвердили. Пять раз пересматривали в райисполкоме, заставляли переделывать, а на шестой раз утвердили. Правда, от наших первых наметок ничего не осталось. Так ведь что поделаешь: у нас свои расчеты, у них свои — им цифры сверху спущены.

— Мы тоже своего добились — закрыли птицеферму. По пятку яиц в год на несушку выходило. Золотые яички, одно разорение! Разрешили прикрыть.

— Как же план по яйцу?

— Выполним! Пашем на колхозных лошадях приусадебные участки: тридцать яиц с участка подай — и никаких хлопот!

Не обошлось и без охотничьих бухтин.

— Иду это я раз вдоль осёков*, гляжу — что-то шевелича. Вдруг, думаю, заяч? Дай, думаю, стрелю! Стрелил, прихожу — и верно, заяч.

Добычливого охотника тут же поднимают на смех:

* Изгороди из жердей вокруг полей и сенокосов — *Прим. автора*

— Бежала овча мимо нашего крыльча да как стукнечча да перевернечча. «Овча, овча, возьми сенча!». А овча не шевеличча. С той поры овча и не ягнечча.

— Самая доходная охота, ребята, все-таки на медведе́й. Ежели год выпадет ягодный, то в лесах на каждом горелом месте от малинников проходу нет. Кукуруза, и только! И набирается в эти малинники медведей видимо-невидимо: сладкое любят. Нажрутся они малины и дрыхнут вповалку. А спящих медве́дей, ребята, можно голыми руками брать. Иду это я раз по малиннику с топором: одному медведю напрочь голову отрубаю, другого глушу обухом по лбу. А ежели какой проснется, так все равно от медвежьей болезни сразу силы теряет, с таким тоже долго чикаться нечего. Прямо на тракторе вывозили — столько их вокруг меня положено было.

В минуту, когда разговор шел еще о птицеферме, дружка Григорий Кириллович, вдруг словно бы спохватившись, вышел из избы. Сейчас он вернулся с живой курицей в руках. Соблюдая какой-то древний языческий обряд, он остановился посреди избы, взял курицу за голову, с силой встряхнул ее — и обезглавленная тушка запрыгала по полу, брызгая кровью, теряя перья.

Курицу зажарили и со свежей курятиной и пивом обходили гостей.

В деревне Сушиново этот обряд до сих пор никому не был известен, и в чем его смысл — никто растолковать не смог, но свежая курятинка всем понравилась.

Вездесущий дружка балагурил и колобродил в течение всего вечера, и пил он не меньше других. Дружке все позволено, все проща-

ется. Совершенно по-другому — строго, сдержанно, с достоинством — ведут себя сваха и тысяцкий. Особенно тысяцкий, дядя жениха, — здоровенный, высоченный, он словно бы стесняется своего роста и своей могутности. Но дело, оказывается, не в этом. Несколько лет тому назад тысяцкий был в Сушинове председателем колхоза, а такое не забывается. Каждое его слово здесь и поныне должно быть, конечно, дороже золота.

Но ни сваха, ни тысяцкий не уследили за своим подопечным. Под конец напился-таки Петр Петрович. Вероятнее всего, затащил его Николай Иванович по секрету в куть, к матери своей, и та не пожалела самодельного зелья дорогому зятьку.

Напился молодой князь и начал куражиться. Нашел где-то каракулевую шапку, нацепил ее на ухо и кричит:

— Я Чапай! Кто на моем пути? Всем приказываю: долой!

Испуганно заметались по избе женщины, будто овцы в хлеву, мужики смотрят на нового своего родственника с недоумением, думают: не связать ли и этого, а Мария Герасимовна так и стелется перед ним, заласкивает, улещивает:

— Петенька, Петенька, Петенька!

Расстилает перед ним ковры и молодая княгиня Галя, хватает его за длинные, непроизвольно болтающиеся руки, поддерживает его, чтобы ходули не подогнулись. А князь чванится, хорохорится, рубаху на себе рвет, ваньку валяет.

— Ты кто? — спрашивает он Галю, подбираясь худосочным кулачишком к ее заплаканному, розовощекому лицу. — Жена ты мне или нет? Я Чапай! Понимаешь ты это: я — Чапай!

— Ты, Галька, уйди с глаз, не мельтеши, не дразни его! — шепчет дочери Мария Герасимовна и вытирает Петру Петровичу рот.

— Э, куда я теперь уйду? — вскидывает Галя голову и вдруг ожесточается. В первый раз. — Ну ладно, ты Чапай, — говорит она мужу. — А только я больше тебя зарабатываю. Понял? Чего ломаешься-то? — И, резко повернувшись, скрывается с глаз.

«Что ж, для начала, пожалуй, неплохо!» — подумал я.

Совет да любовь вам, дорогие мои земляки!

Тысяцкий выкручивает руки молодому князю, своему племяннику, и уводит его куда-то спать.

Под гармошку девушки прокричали несколько частушек-коротышек, возвещающих о том, что время уже позднее:

Пойдемте, девочки, домой,
Будет, насиделися:
Моего милого нет,
На ваших нагляделися!

И на этом первый день свадьбы закончился.

Правда, по деревне под ясным звездным небом долго еще ходили молодые мужики и ребята, но мороз стоял градусов за тридцать, и гармонь, вынесенная из жаркой избы, не пела. Гармонист разводит ее «от плеча и до плеча», парни со страшной силой изрыгают частушки, а гармонь не издает ни звука, даже не хрипит.

Вспомнилось: как-то в Москве, на перекрестке у Ленинской библиотеки, вот на таком же морозе милиционер приложил свисток к

губам, а он не засвистел — застыл, должно быть. Дует в него регулировщик и сам смеется. Тем дело и кончилось: повезло шоферу-нарушителю.

* * *

Ночевали гости в разных избах, в одной места для всех не хватило бы. Я провел ночь у соседки Дуни, вдовы, два сына которой находились в армии. Одна в своей избе она никогда не ночует, боится нечистой силы, ей «блазнит».

Не могу сказать наверное, чтобы я эту ночь спал спокойно, хотя с нечистой силой дела иметь не пришлось. Но с вечера в избе беспрерывно визжал месячный поросенок — в хлеву Дуня его не держит, опасаясь, как бы не замерз. А в полночь неожиданно у самого изголовья дико заорал петух — оказалось, что в заднем углу избы под лавкой-скамейкой сосредоточилась вся личная птицеферма Дуни. За всю ночь ни одна курица не подала голоса, петух же принимался кричать неоднократно и с каждым разом, как мне казалось, пел все громче, все высокомерней. За один прием он кричал свое «ку-ку-ре-ку» раз пятнадцать, если не больше.

Принято считать, что песня петуха музыкальна. Я тоже так считал и даже стихи об этом сочинял не единожды. Теперь же мне его песня музыкальной не показалась, да и песней я ее не назвал бы. Поневоле думалось только о нечистой силе.

Когда все пиво в доме невесты было выпито, шофер при помощи паяльной лампы завел самосвал — и свадьба отправилась за сорок километров, на родину жениха, в деревню Грибаево. Из невестиной

родни в самосвал уселся брат Николай Иванович и еще кто-то. Братаны не поехали.

Товарищи из райкома партии сделали мне одолжение, послали легковушку, и мы с Виктором Семеновичем Сладковым, водителем вездепроходящего «газика», решили посадить к себе молодых. Молодые сели в машину, а сваха с иконой в руках недоуменно топталась у дверцы: ей не положено оставлять жениха с невестой ни на минуту, пока не доставит их в дом к родителям.

— Ну, садись, сваха, ничего не поделаешь! — с некоторой растерянностью согласился водитель. — Кого только я ни возил на своем веку, чего только ни возил, но икону на райкомовской машине возить не приходилось.

Получился настоящий свадебный поезд. Жалко только, снег не шел: когда свадьба выезжает в снег или в дождь — к счастью.

И никаких черепков девушки вслед не бросали. А раньше полагалось. Перед выездом невеста умывалась, девушки разбивали глиняный рукомойник и этими черепками забрасывали отъезжающих, чтобы невеста не вернулась домой, чтобы жилось ей счастливо и в новой семье.

На улице на морозе долго фотографировались. Увидев в моих руках фотоаппарат, женщины поснимали с себя полушубки и ватники, они хотели «сняться на карточку» обязательно в праздничных сарафанах. В деревнях очень любят фотографироваться. Но сделать живой снимок трудно: все лица перед объективом мгновенно напрягаются, деревенеют.

Мария Герасимовна с нами не поехала. Со слезами на глазах она наказывала дочери:

— Не забывай, бегай в гости почаще, ничего, что далеко — ноги молодые. И не приходи без гостинца: без гостинца придешь — уревусь, подумаю, что от мужика сбежала.

Самосвал облепили мальчишки, чтобы прокатиться до конца деревни.

Все-таки раньше мальчишкам жилось, наверно, легче и, пожалуй, веселей, когда свадьбы справлялись не на грузовиках, а на тройках. В свое время я пронесся на задке свадебной кошёвки целых двадцать километров — от районного городка, где учился в четвертом или в пятом классе, до своей деревни. Мой дядя, только что вернувшийся из Красной Армии и еще не расставшийся со своей остроконечной буденовкой, вез невесту из далекого Шалашнева мимо нашей школы. Мне с утра не сиделось за партой, ждал свадьбу и, когда завидел ее, опрометью вырвался из класса, успел на ходу схватить полушубок и вскочил на концы полозьев последней раскрашенной кошёвки. Пели колокольцы, развевались цветные ленты, вплетенные в гривы и в хвосты лошадей, сердце замирало от восторга и страха.

Из-за того, что у дяди на голове была прославленная буденовка, свадьба представлялась мне каким-то военным походом. Конечно, я обмерз, но вспоминаю об этом своем путешествии, как о самой лучшей из бабушкиных сказок.

Дядя погиб в прошедшую войну. Анна Григорьевна, бывшая тогда невестой, живет теперь на Бобровской запани под Архангельском в окружении сыновей и внуков. Недавно она сказала мне:

— Верно, какой-то парнишка висел тогда на запятках. Если бы знатьё, я бы тебя с собой рядом в кошёвку посадила.

На машинах мы ехали ночью — полями, перелесками. Дорога оказалась расчищенной от снега, приглаженной: на днях из города в колхоз прошли шесть гусеничных тракторов с волокушами для вывозки торфа на поля. Волокушу — широченный громоздкий металлический лист — почему-то называют «пеной». Торф загружается на такую волокушу бульдозером, пёхом, и сгружается так же. Не потому ли «пена», что в поля на ней тянут больше снега, чем торфа?

Виктор Сладков не просто вел машину, а, как экскурсовод, показывал нам свои памятные места: здесь вот зайцы обычно дорогу перебегают; с тех высоких берез совсем недавно он снял из малокалиберки трех косачей; а на этой вот пашенке еще сегодня видел, как лисица мышковала.

Сладков — главный райкомовский водитель, и для всех шоферов района он царь и добрый бог. Это авторитет не только власти, но и опыта. Его машина больше других носится по непроходимым районным дорогам. Многих своих коллег Сладков вытаскивал из канав, из грязи, многим молодым устранял в пути неполадки в моторе, а главное — он всем помогает доставать запчасти. Хорошо знают райкомовского шофера и пешеходы: если свободен, остановится, посадит — и все за спасибо, не то, что некоторые. Справедливый человек!

Ехать ночью по зимней проселочной дороге то с дальним, то с ближним светом автомобильных прожекторов сказочно хорошо. Дорога извивается, и никогда не знаешь, что откроется за следующим поворотом. Из тьмы вылетают навстречу какие-то призраки: причудливые пестрые кусты, кривые деревья, пни под снежными шапками,

будто отпрянувшие в сторону прохожие, огромные, полузаметенные снегом выворотни с зияющими черными дырами, в каждой из которых чудится медвежья берлога. Перелесок и поле, лес и опять поле. Снег то синий, то рыжий, а все время ждешь, что за сплошным зеленым ельником и поле будет зеленое.

Сладков рассказывает о зайцах и лисицах, и я вижу их следы: в кустах они глубокие, четкие, резко оттененные светом фар, а на открытых местах выпуклые — ветер выдул сухой сыпучий снежок, уплотнения же остались и поднялись над белой равниной, как маленькие побеленные столбики на обочинах шоссе.

Через все поле прошла лисица, столбики ее следа протянулись цепочкой от леса до леса.

Взбугрившаяся лыжня напоминает узкоколейку.

В полях было по-ночному тихо, а когда наши машины врывались в лесную чащу, вся она начинала шуметь и гудеть, наполняясь свистом шин и завыванием моторов. Казалось, что звуки по стволам уходят в звездное небо.

А я ехал и твердил про себя пушкинские строки: «Колокольчик однозвучный утомительно гремит».

До чего же все-таки не хватает колокольчиков!

* * *

В доме жениха сваха и тысяцкий остановили молодых в темных сенях и ждали, пока вынесут лампу и выйдут навстречу им родители.

Жениху и невесте положили на головы по караваю ржаного хлеба, отец и мать благословили их, поцеловали — опять в ход пошла

икона. Петр Петрович очень стеснялся этого обряда, подшучивал, но обижать стариков не хотел, все сносил.

Отец ростом был еще выше сына и настолько здоровей, становитей, что длинноногий сухопарый жених при нем выглядел совершенным мальчишкой. Отца хотелось называть торжественно: родитель. Он, так же, как его брат, тысяцкий, был скуп на слова, держался с привычным достоинством. Может быть, и он в свое время служил где-нибудь председателем колхоза?

А мать крутилась, вертелась, как юла, и звали ее Лия.

Деревня Грибаево уже была радиофицирована, в избе около божницы висела коробка громкоговорителя, и под потолком горело электричество. Во всем сказывалась близость промышленного объекта. Правда, чтобы свет воссиял с достаточной силой, потребовалось ввернуть лампочки в сто пятьдесят свечей и меньшего вольтажа.

И красочных плакатов, и лозунгов в избе было больше, чем у Марии Герасимовны. В том простенке, где у Марии Герасимовны громоздилось чудотворное произведение зоотехника «Иван-царевич на сером волке», здесь висел плакат «Всегда с партией!». Рядом — краснощекая колхозница среди корзин с фруктами и овощами держит в руках огромный, как джазовый барабан, капустный кочан, и надпись:

За труд, мастера огородов, садов,
Теперь за вами слово.
Вдосталь дадим овощей и плодов,
Сочных, вкусных, дешевых!

Неужели такое сочиняют вологодские поэты, мои друзья?

И еще плакаты: «Разводите водоплавующую птицу! Это большой резерв увеличения производства питательного дешевого мяса!».

Язык-то какой!

Мы за мир, чтоб на планете
Были счастливы все дети!

И еще, и еще...

В деревне находится восьмилетняя школа, и среди гостей на свадьбе много учителей. Еще больше служащих и рабочих с льнозавода.

Снова жениха и невесту посадили за стол и опять в верхней одежде; так они и сидели долго, пока от них пар не пошел.

Опять было пиво, тосты в одно слово: «Горько!», «Горько!» и пляска. Опять картинно целовались молодые, но Петр Петрович пил уже из белушки — добился-таки своего! А невеста то и дело кланялась, как заведенная, — таков был наказ матери.

— Теперь сладко! Пейте! — шутил жених и опрокидывал очередную белушку.

Каждого нового гостя и здесь встречали у порога стаканом пива. Хозяйка Лия раздевала гостей сама и с таким радушием, что пуговицы летели на пол. В этом, конечно, сказывался неукротимый ее темперамент, но главное — так было принято, и это считалось высшим шиком гостеприимства.

Опять завязался спор, и с еще большим ожесточением, между работниками льнозавода и колхозниками относительно сортности сдаваемой льнотресты.

Все было как в доме невесты, все повторялось. Только Николай Иванович здесь никого не угощал, и ему совсем нечего было делать и не о чем говорить, он просто пил и молчал.

Бросилось в глаза кое-что и новое.

Гостей поначалу угощали пивом — хлебным, густым, бархатистым, а как только они начинали веселеть, им в ту же посуду подливали жидкую мутную брагу. Брага тоже пьянит, но после нее дико болит голова, из-за чего и прозвали брагу «головоломкой». Зато обходится она гораздо дешевле пива. Пивом поят, брагой с ног сбивают.

Кто-то из родственников невесты захотел повторить понравившийся обряд со свежей курятиной. Хозяйка Лия пришла в неистовство:

— Совести у вас нет — живой курице голову отрывать!

Табакуры попросили спичек, Лия подала коробку и предупредила:

— Останется что — верните!

Сначала подумали: примета на счастье. Вроде битья стеклянной посуды. Нет, оказывается, дело вовсе не в приметах.

— Вы чего скупитесь, свадьба ведь! — сказали ей не без опасения обидеть. — Где пьют, там и льют, где едят, там и бьют.

Лия не обиделась:

— А вы сразу разорить нас хотите. И без того расходы велики.

— Какая же свадьба без расходов? Этак ваш сынок захочет жениться по другому разу. Разорить надо, чтобы он о разводе не помышлял.

— Ладно, пейте, коли подают!

Утром невеста в присутствии гостей подметала пол в избе, а ей то и дело бросали под ноги разный мусор: проверялось, умеет ли она хозяйствовать. Обряд этот продолжался долго и был, пожалуй, самым развеселым. Родственники и гости изощрялись, приносили в избу сенную труху, изношенные лапти-ошметки, с грохотом кидали в углы битые горшки, всевозможный хлам и лом. Один разыскал где-то остатки кавалерийского седла и бухнул их на середину пола. Невеста только радовалась: с мусором на пол кидали деньги, чаще медные монеты, иногда бумажки. Правда, в старом седле она ничего не нашла, хотя содрала с него всю кожу и войлок.

— Ищи, ищи! Плохо метешь, нечисто метешь! — кричали ей.

Галя старалась: у нее действительно все поглотила свадьба, все, что было ею заработано, скоплено за несколько лет. Но стоило ей зазеваться, как озорники хватали веник, и его приходилось выкупать.

Затем невеста — ее уже стали называть молодицей — обходила всех присутствующих с блюдом свежих блинов в масле. Гость выпивал почетный стакан, закусывал блином и выкладывал на блюдо свою мелочишку.

Еще позднее молодица в присутствии гостей раздавала подарки новой родне: свекру — голубую штапельную рубаху, свекрови — отрезы на сарафан и нижнее белье — подстав, свахе — ситец на кофту, золовке, сестре жениха, красивой статной девушке, недавно окончившей десятилетку и работающей в колхозе, — платье и алую ленту в косу, тысяцкому — отрез на рубаху, бабушке — головной платок, остальным — кому носовой платок, кому кисет для махорки. Все, что

шилось и вышивалось в течение многих недель самою невестой и ее матерью и подругами, было роздано за несколько минут. Кажется, никто не обижался.

Я, приезжий человек, тоже не был обойден. В дни свадьбы наградили меня бесценными подарками дружка Григорий Кириллович и колхозный шофер Иван Иванович Поповский. Они облазили немало чердаков и поветей и нашли для меня набор литых поддужных колокольчиков да воркуны-бубенцы на кожаном конском ошейнике. Скоро таких не будет и на Севере: не на грузовики же, не на самосвалы же свадебные их навешивать!

Подарили мне также резную раскрашенную прясницу столетней, по крайней мере, давности. Такие тоже, наверно, скоро исчезнут с лица земли. А к пряснице — плетеную веретеницу с веретенами. Еще молотило березовое — цеп, валявшийся без надобности почти с начала коллективизации. Удалось мне также достать два заплечных пестеря из березового лыка.

С этими свадебными подарками я и вернулся в Москву. Один пестерь подарил Константину Георгиевичу Паустовскому к его семидесятилетию, другой — знакомому поэту в день его свадьбы, и еще в придачу лапти собственного плетения.

Все раздарил. Себе оставил только берестяную солоницу, колокольцы да воркуны на кожаном ошейнике.

Сижу за столом, пишу да позваниваю иногда, слушаю: хорошо поют!

1962

БАБА SSГА

Председатель колхоза даже обрадовался, когда деревня Отшибково перестала наконец существовать. Всего десяток хозяйств на небольшом островке посреди озера, оторванных от большой земли, — какая же это деревня?! Самостоятельную бригаду там организовать было нельзя, мост к ним не построишь, сселиться предлагали на центральную усадьбу — не соглашаются... Что было с ними делать, как их укрупнять! А без руководства не оставишь. И вот, почитай, раза два в неделю выгребал председатель к ним на лодочке через все озеро, чтобы присмотреть за землей, за сенокосами и дать нужные распоряжения и указания. Трудная была деревня, сплошной хуторской пережиток. И хорошо, что самоликвидировалась, забот меньше.

Разбежались люди по разным сторонам. Одни, из молодых, уехали на строительство Череповецкого металлургического комбината и там нашли свое счастье. Другие окончили техникумы, институты и ныне работают в местах, куда направили их по разнарядке. Были девушки, что вышли замуж за парней из соседних деревень, либо за военных, и кочуют вместе с ними по всей земле. Из стариков и старух кое-кто перебрался на жительство к своим сыновьям и дочерям на новые пристанища, а большинство благополучно дождалось

своей смерти у родного порога, на своей печи. Опустела деревня. Несколько домов проданы на своз, раскатаны по бревну и переброшены в другие деревни, либо на жилье, либо на дрова. У остальных окна и двери заколочены, гниют дома помаленьку, перекашиваются, уходят в землю. Вот когда развалятся окончательно и следы быльем порастут — остров примет свой первоначальный божеский вид и можно будет начать его благоустраивать, либо распахать целиком, либо использовать под сенокосные угодья, а то и просто — пускай лес растет. Для колхоза лес тоже нужен.

В одном только доме теплится еще жизнь. Обитает в нем неорганизованная старуха, лет семидесяти пяти, крепкая и ядовитая, как мухомор. Умирать не хочет и не переселяется никуда. В колхозе она состоит, но какая уж это колхозница! Законов ничьих признавать не желает, на собрания не ходит, ни за кого никогда не голосует, правда, и пенсии не требует, как некоторые, зато уж и работать ее не заставишь, лучше не тронь и близко не подходи.

Как же она живет, чем питается, Божья раба? Может, кто-нибудь из родных со стороны посылает на хлеб, на соль? Нет! Никто ей ничего ниоткуда не посылает. Да и нет у нее никого — ни сыновей, ни дочерей, ни внуков, ни правнуков. И не было никогда. Есть будто бы сестра где-то. Но сестра ли это ей?..

А живет раба Божья неплохо. Коровы у нее, конечно, нет. Зато есть коза и семь овец. От козы молоко — много ли одной старухе молока надо? А овцы это и мясо, и шерсть на валенки, на пряжу и на полушубок. Для себя хватит, и на хлеб, на сахар остается. И ведь не запретишь ей иметь такую прорву скота — стара, ни под какие зако-

ны не подведешь. Есть у старухи еще куры и гуси, а сколько их, она, верно, и сама не знает. Весь остров в ее руках, кругом только ее владения, бродят овцы и куры по всему острову, плавают гуси по озеру, никто им не указ, других хозяев на этом пятачке нет.

Но главное богатство у старухи — лодка. Давно уже не осталось ни у кого в личном пользовании ни одной рабочей лошади. А лодка чем не рабочая лошадь? Больше того, настоящая живая лошадь на острове даже не нужна, а без лодки здесь никуда. Свой приусадебный участочек старуха вспахивает лопатой, зачем ей плуг, зачем тягловая сила? А без лодки она была бы отрезана от всего мира. Лодка для нее и транспортное средство, и орудие производства — на лодке старуха рыбу ловит. Конечно, в приозерных селениях в каждом доме по лодке, только надо признать, что во всем колхозе нет другой такой лодки, которая бы не протекала. А у старухи не протекает, у старухи лодка всегда ухоженная, залатанная, проконопаченная, просмоленная, можно сказать, как новенькая всегда. С такой лодкой что ей не жить! С такой лодкой старуха может протянуть еще сто лет. Она даже не дряхлеет — как состарилась однажды, так и держится. Задубела, как баба-яга...

Председателю колхоза одинокая старуха на острове была явно не по душе. Его раздражало, что никогда не обращается она к нему ни с какими просьбами, ничем не докучает, что приусадебный участок у нее тоже ухоженный, разделанный, удобренный — ни сорняков, ни беспорядка, а урожаи такие, что всему колхозу в поношение. Такие урожаи явно были рассчитаны на то, чтобы подрывать на селе его, председательский, авторитет и народ смущать. Ведь если с каждого

приусадебного участка можно собрать столько пшеницы, ячменя, картофеля, капусты, моркови, огурцов и других овощей, то стоит ли... и так далее. Подрывная старуха! На колхозных неудобренных и неухоженных полях урожаи были далеко не образцовые. Лучше бы она уехала куда-нибудь — и остров бы очистила, и дурного примера не было бы. Или умерла бы уж...

Но старуха не умирала и не уезжала никуда.

Звали эту одинокую старуху Устиньей. Но за глаза, с легкой руки председателя колхоза, все называли ее Бабой Ягой. Должно быть, многим не была она по душе, если такая злобная кличка пристала к ней сразу и навсегда.

* * *

Штормовая погодка на озере не редкость. Ни с того ни с сего на тихой синей глади появляется мелкая рябь, словно вдруг задрожит все озеро от предчувствия беды, суматошно побегут в разные стороны ветровые дороги, одна, другая, третья — то расширяясь и удлиняясь, то свертываясь, мечутся они, скрещиваются, как на росстанях, то в одном, то в другом месте. Потом сразу навалится ветер с берега, пригнет деревья и начнет баламутить воду, набивать белую пену, словно намыленное белье прополаскивает. В такие часы рыбаки на озере не задерживаются, убирают сети, сматывают удочки и спешат к надежной земле. Не раз бывало, что после шторма находили где-нибудь в прибрежных кустах разбитую лодку, и только после выяснялось, какой рыболов не отнесся с должным уважением к крутому характеру незнаменитого и небольшого, но очень капризного озера.

Свистит ветер, пронизывая насквозь камыши и кустарники, доламывает старые ветряные мельницы вблизи деревни Канашкино. А на берегу стоят председатель колхоза Павлухин Парфен Иванович с мотористом Веточкиным и ругаются, что не добрались куда хотели, пришлось высадиться и пережидать штормовой налет. Лодка была самодельная, простая и далеко не новая, а мотор сильный, с таким мотором она даже без волны постанывала и потрескивала — того и гляди, разлетится по швам. Еще бы несколько минут — и завернули бы за острова, на плес, в сторону деревни Боро́к, где наверняка тихо, где ветер дует с другой стороны. Да ведь и председатель колхоза не все предусмотреть может...

Парфен Иванович был в кожаных сапогах с галошами, в сером габардиновом пальто-плаще, модных ныне среди ответственных работников всего района, и в серой шляпе. Среднего роста, полноватый, но здоровый, не рыхлый, с лицом красным, словно обожженный кирпич, и круглым; с лицом, на котором было все, кроме глаз, потому что глаза, и без того узкие, в щелочках, прикрывались еще широкими полями шляпы, Парфен Иванович ничем не напоминал старых русских крестьян-хлеборобов, так же как ничем не походил и на современного крестьянина-колхозника, да никогда и не был таковым.

Выдвинутый на почетный пост председателя колхоза лет десять назад, Парфен Иванович все это время отдавал новой работе свое время и силы, — но с редким упорством и последовательностью старался не отдавать деревне своей души. Он считал, что это его право, и потому сохранил в райцентре свою квартиру, не перевез к себе ни

жены, ни детей, тщательно оберегал все свои старые приятельские и служебные связи, ревниво следил за городскими модами, сам одевался только так, как одевались районные ответственные служащие, и по-прежнему оставался в душе тем же, кем и был: работником торговой сети.

Моторист Веточкин, молодой плутоватый парень, одет был просто: промасленный ватник, заменявший ему летом и зимой рабочий комбинезон, такая же промасленная кепка и резиновые сапоги, пригодные на озере на все случаи жизни: в них он работал, в них рыбу ловил и в них же по вечерам ходил на гулянки к девушкам.

Парфен Иванович ругался, нервничал, и, соответственно с его настроением, полы габардинового пальто раздувались, трепетали по ветру. А моторист Веточкин молчал — знал свое место.

Но вот оба они повернулись в одну сторону, всмотрелись в бурную озерную гладь и переглянулись.

— Видали, Парфен Иванович? — с удивлением спросил Веточкин.

Павлухин не сразу ответил, чтобы не произносить незначительных слов. А помолчав, промолвил:

— Видал. Баба Яга — она и есть Баба Яга!

— Ей бы летать на помеле, Парфен Иванович! — хитровато подмигнул Веточкин.

— Если бы не лодка, обязательно бы летала на помеле. А впрочем, кто ее знает... может, и так... Ведь не увидишь. Куда же она? А может, это не она?

— Она! Никто, кроме нее, в Отшибкове не живет, людей на острове нет.

Издалека хорошо было видно, как от безлюдного острова отчалила лодка. Сухопарая старуха в платке, сидевшая на веслах, то сгибалась в три погибели, и тогда концы весел мелькали над гребнями волн, то резко откидывалась назад. Она гребла, по-видимому, с большим напряжением. Но все ее движения, все ее усилия, казалось, не влияли на поведение лодки. Женщина делала одно, лодка другое. Движения Устиньи были ритмичны и строго осмысленны, они подчинялись определенным законам целесообразности, а лодка прыгала с волны на волну, вверх-вниз, кренилась то на левый борт, то на правый, словно она только и ждет случая, чтобы перевернуться и навсегда исчезнуть в кипящем котле.

— Вот чертова женщина! — восхищенно воскликнул Павлухин. — Ведь семьдесят пять лет, а хоть замуж выдавай. Куда ее несет в такую штормягу, кто ее гонит? Переждала бы...

— В бурю, Парфен Иванович, нечистой силе завсегда не сидится на месте. А кто ее несет, куда гонит — давно известно. Об этом мы еще в школе читали: «Сколько их! куда их гонят?». Наверно, захотела попить чайку, а сахару в сахарнице не оказалось, ну и давай в магазин за три километра по озеру. Либо наловила много рыбы, а соли нет...

— Чертова женщина! — повторил Павлухин.

— Да уж точно, чертова баба! А скорей всего, она душу свою тешит. Ей нужно, чтобы качало. Она не может, чтобы не качало.

— Сильная женщина, — сказал Парфен Иванович.

— Могучая! — подтвердил Веточкин. — Мотор! Вы знаете, как она тонула? Годов пять уж прошло...

— Не слыхал.

— Быть не может! Об этом все знают.

— Я говорю, не слыхал.

— Где же вы тогда пребывали, Парфен Иванович? Ведь только пять годов прошло со времени этого приключения. Состоялся здесь какой-то праздник... Какие у нас старинные праздники осенью бывают?

— Я же не знаю!

— Религиозный какой-то, древний. Главное, что выпить было что. Вот, значит, захотела она на праздник выйти, захотела — удержу нет. А на озере лед, не лед — каша. Не все в тот день решились в озеро лезть, с горя пили на дому. А она села в лодку и сломя голову взялась за весла. Одна!

— Я слыхал про это! — остановил его председатель. — Она же не утонула!

— Она, конечно, не утонула. Но ведь четыре часа сидела затертая льдом!

— Я слыхал про это.

— Значит, не рассказывать?

— А ты сам видел?

— Все от начала до конца этими глазами.

— Рассказывай!

Мотористу совершенно неважно было, слыхал Парфен Иванович про эту историю с Устиньей или не слыхал, ему хотелось рассказать обо всем самому.

— Вот, значит, вышла Баба Яга из своего дому и села в лодку. А на озере лед, не лед — каша. Только отчалила от острова — газанул

ветер. Ну, не такой, как сейчас, послабей, но ветер. И развернуло ее, бессмертную, вокруг своей оси и потащило в кювет, вон к тому берегу, в камыши, вместе с «кашей». Стала она отбиваться, стала выгребать, а лодку прет юзом прямо в камыши. Чем больше она гребет, тем хуже: на веслах намерзает лед, не весла уже, а колотушки. Казалось бы, хорошо — к берегу несет. Хорошо, кабы к берегу. Но у берега камыши, а в камышах каша. Ни выскочить нельзя, ни назад обратно не выбраться. А на берегу народ празднует. Сбежались к камышам: Бабу Ягу во льду затерло, сейчас тонуть будет. Стоят все, шумят, ждут, когда Баба Яга кричать будет. А она не кричит. Она не обращается к народу. Сарафан на Бабе Яге праздничный, старинный, кофта какая-то с воланами да с оборками, полушалок шерстяной, черный с красными цветочками, все, — заледенело.

«Лодка-то крепкая у нее, не треснет?» — спрашивают. — «Крепкая лодка, выдержит, наверно». — «Ну, тогда ничего, пущай посидит». Я тоже смотрю на нее с берега, думаю: помочь бы надо. А никто не помогает. Решительный народ, пьяный. Да и как ей поможешь?

Стала Яга разгребать ледяную кашу руками, весла уже не поднимешь: круглые стали, как культяпки. Схватится она за камыши, и подтягивается, и выкарабкивается вместе с лодкой все в сторону от берега. Это она правильно решила, что надо в сторону от берега. К берегу не выберешься, только на чистую воду надо. Работает она так — не то замерзает, посинела вся, не то вспотела, не поймешь. Час проходит, два часа проходит. Людям уже скучно стало. Расходиться начали, вино пить. А были и терпеливые, стоят на берегу, сами на

ветру, мерзнут и все советуют, как и что делать, чтобы не утонула. Кричат ей: мол, выгребай, уже добра желают, а Баба Яга только шипит, согнулась, чуть не носом лед расталкивает. Знаете, Парфен Иванович, жалко было ее, все-таки старуха. И страшно было: а вдруг она и вправду баба-яга, вдруг да рассердится, в гнев войдет... Это же не в сказке. Тут живые люди на берегу. Мне показалось, что у нее глаза сверкают, огнем горят. Но ничего, все обошлось благополучно. Ветер стих, и старуха сама выбралась из камышей. Нам прямо легче стало. Думаем, сейчас поплывет обратно, на свой остров, обсыхать станет. А она как только на чистую воду выбралась, так и повернула к берегу, опять к берегу, только подальше от камышей. Тут мы и увидели, что она синяя вся. А глаза, и верно, горят. «Водки! — хрипит. — Дайте водки. Намучилась», — говорит.

— Всё? — спросил Парфен Иванович.

— Как всё, Парфен Иванович? Вон как ее качает, видите? Другая бы на ее месте после такого случая и в лодку больше не села.

— Родных у нее в деревне нет, что ли?

— Нигде никого нет. А вы про ее жизнь слыхали?

— Слыхал.

— Значит, не рассказывать?

— Не рассказывать.

— Еще удивительно, почему она вдруг на праздник захотела. Не любит она бывать на народе, особенно в праздник. И людей не любит.

— А где ты видал бабу-ягу такую, чтобы она людей любила? — спросил председатель.

— Это точно. В праздники, когда люди выпивают, они спрашивать охочи да вспоминать. А Устинья не любит, когда ее спрашивают о чем-нибудь да вспоминают про ее житье-бытье. Не рассказывать?

— Я уже сказал: не рассказывать.

Пока они разговаривали, лодка Устиньи ушла далеко в озеро. Ее все так же раскачивало и кидало в разные стороны, но продвигалась она все-таки в одном направлении.

— В магазин отправилась, в Корлипки, — констатировал моторист.

— Да! — согласился председатель.

Погода начала успокаиваться. Здесь это происходит так же быстро, как быстро поднимается волновая суматоха.

— Поехали, — сказал Парфен Иванович. — Баба Яга за нас работу нашу не сделает.

— Да, можно ехать. Можно было и не приставать к берегу. Все-таки это еще не волны.

Они забрались в лодку и оттолкнулись от берега. Председатель уселся на скамейку, подобрав полы габардинового плаща, а моторист рванул за веревку стартовый маховичок и, когда мотор заработал, стоя, взялся за рулевое весло. Рулевое устройство на самодельной моторке напоминало рулевое бревно на плоту, ручка от него, длинная и толстая, поднималась высоко над лодкой, и держать ее можно было только стоя. Поэтому моторист в лодке всегда стоял, а Парфен Иванович сидел. Так и полагалось выезжать на озеро с начальством.

Лодка круто развернулась и легко пошла вразрез волне. Ветер еще дул, и качка еще была, но уже незначительная.

— Может, догоним ее? — спросил вдруг Павлухин.

— Кого? — встрепенулся Веточкин и удивленно взглянул на председателя сверху вниз.

— Устинью.

— Бабу Ягу?

— Да.

— Догоним, Парфен Иванович, это нам ничего не стоит. Механизация!

— А зачем? — так же неожиданно спросил Павлухин.

— Значит, не будем догонять! — ответил моторист.

— Не будем, Борис! — в первый раз назвал он Веточкина по имени. — Лучше зайдем к ней на дом как-нибудь.

— А зачем? — спросил на этот раз Веточкин.

— Там увидим. Может быть, и незачем.

Сказал это Парфен Иванович и задумался: действительно, зачем? Сама она в контору ни по каким делам не обращается. И правильно! Зачем же напрашиваться на возможные неприятности? Женщина она грубая, резкая. Еще скажет что-нибудь не так. Обидеть может. Живет себе и пускай живет. А как живет? Чем живет? Что у нее на душе? Может, она вовсе и не баба-яга, а человек? Кто ее знает... А человек к человеку заходить должен. Надо зайти...

* * *

Устинья ездила в Корлипки в магазин за хлебом. Почему в такую погоду? Ну, разве это погода!.. Такую ли погоду видывала Устинья на своем веку. И волна летом легкая, потому что вода теплая. Вот

если осенью, то, конечно, и небольшая волна может беды наделать. Осенью волна тяжелая, тогда ее бояться надо. А сейчас Устинья даже не подумала, что лодка может не выдержать, перевернуться, что надо бояться чего-то. Совсем нечего было бояться. К тому же — за хлебом, а не баловства ради вышла она на озеро.

Вернувшись домой уже по тихой воде, Устинья легко вытащила лодку по каткам на сушу. Это была ее пристань, ее причал. Таких, как у нее, катков не было и в соседних деревнях. Два больших длинных бревна уходят концами в воду. Между ними закреплены поперечные болванки, которые вращаются свободно. Лодка заходит носом на первую болванку еще в воде, и тогда ее, скользящую по этим вращающимся каткам, можно без напряжения поднимать выше, как по роликам.

Весла остались в лодке, не снятые с уключин, — здесь красть некому, остров безлюдный.

Нет, Устинья не была сгорбленной старухой, и это стало заметно, когда она, управившись с лодкой, вышла на берег. Сухопарая и высокая, длинная, как удилище, она напоминала сосенку, выросшую в густой, непроходимой чащобе и потому всю жизнь тянувшуюся к солнцу, а теперь вдруг оставшуюся в одиночку, совсем открытую ветрам и грозам, потому что все деревья вокруг либо полегли под топором, либо сгнили. Сосна не сгибалась, но была настолько не защищенной на этом юру, что, казалось, в любую минуту может согнуться либо совсем сломаться даже от небольшого, негрозового ветерка.

На берегу Устинья осмотрелась, словно проверяла: не изменилось ли что-нибудь на островке за ее отсутствие. Ничего не изменилось.

Круглая деревенская площадь густо заросла травой. Интересно, догадается ли в этом году председатель скосить траву для колхоза или снова можно будет сенокосничать ей одной. С такой площади хватит сена овцам почти на всю зиму. А сколько травы наросло в этом году на заброшенных участках, даже на развалинах, в ямах, оставшихся после того, как дома были раскатаны по бревну и увезены с острова. Хорош травостой в этом году!

Четыре избы еще сохранились, стоят на старых местах, образуя полукруг. Давно сгнили на шестах скворечники, и скворцы в них уже не залетают, зато весь остров заселили дрозды. Сначала они только навещали его в осеннюю пору, когда поспевала рябина, а потом начали и гнездиться здесь, птенцов выводить. Никогда раньше, при людях, они на острове не гнездились.

На одном из заброшенных участков, ближе к берегу озера, вся земля была расковыряна разными случайными рыбаками: сюда они причаливали за дождевыми червями.

Дом, в котором жила Устинья, издали казался тоже заброшенным, если не шел дымок из трубы и не возились у крылечка куры. Гуси же обычно пропадали на озере, в камышах, и их легко можно было принять за диких. Овцы тоже одичали и около своего двора табунились редко, а пугливо носились по всему острову. Во дворе они почти никогда не ночевали, летом в нем было душно и грязно. Приусадебный ухоженный участок был вдали от дома, на другой стороне острова.

Окна дома Устиньи выходили на круглую площадь, как и у других деревенских домов. Но у других домов окна выходили и в сторону озера, чаще всего это были добавочные избы. К избе Устиньи со

стороны озера примыкал двор, и помещался он под одной крышей с домом. А у самого берега, почти у кромки воды, стояла еще банька — маленькая, горбатенькая, но доставлявшая Устинье раза два-три в месяц великое наслаждение своим вольным жарким духом, калеными вениками и склизким щелоком. Ни у баньки, ни вокруг дома не было ни одного деревца, их никогда тут не было. Зато вокруг других домов уцелели черемухи, рябины. Уцелели небольшие садочки и на местах развалин. В отдельных случаях только по этим группам деревьев и можно было определить, где стояло некогда людское жилье. Высоко в небо поднималась единственная на острове лиственница — северный дуб. Массивные ответвления ее, как рычаги, раздвинутые во все стороны, образовали зонт, под который в летние праздники собиралась, бывало, молодежь. Это место называлось угором. Тут заливались гармошки и криком выкрикивались задушевные и хлесткие частушки, в которых даже слова о безответной любви, о тоске-печали звучали с вызовом, дерзко.

Не от чая выцветает
Моя чашка чайная.
Никому я не скажу,
Зачем хожу печальная.

Либо пелись настоящие песни, но уже такие раздумчивые да протяжные, что даже не умещались на островке и потому расходились по воде кругами, плыли и летели далеко за озерные рубежи до ближайших сельских гулянок на большой земле.

Что же ты, лучинушка, не ясно горишь,
Не ясно горишь, не вспыхиваишь?
Или ты, лучинушка, в печи не была,
Отчего, березовая, не высохла?

Многое в жизни старой Устиньи было связано с этим угором, с этой широкой разлапистой лиственницей — много всяких надежд, невысказанных желаний, радостей, а позднее — горя. В девушках Устя была красивой, горячей, резкой на слова и на дела. Сил ей было дано столько, что, казалось, хватит на три, на четыре жизни. Эти силы полыхали в ее широко распахнутых глазищах, горели яркой заревой краской на щеках либо вдруг проступали мгновенной бледностью. Платья и сарафаны не успевали на ней раскручиваться — с такой быстротой она закручивала их, вращаясь то в одну, то в другую сторону. Новых ботинок ей хватало на месяц, не больше, — так усердно она плясала и на угоре, и на берегу озера, и в любом доме, и куда бы ни шла с молодежью, и где бы ни останавливалась хоть на минуту. Однажды мать запретила ей плясать в ботинках. Тогда Устя совсем перестала носить ботинки и привыкла дробить босыми пятками так, что другие и каблуками не могли.

И попеть Устя любила и умела. Пела она не громко, без видимого напряжения, никогда не переходила на крик, на визг в угоду нетрезвым бабам, считавшим, что чем громче поют девки, тем красивше у них выходит. Нет, пела Устинья как будто для себя, для своей души, поет и сама прислушивается, так ли у нее получается, про то ли голос

выводит, про что в песне сказано. И многие хвалили ее — не только за разбитную пляску, но и за разымчивую песню.

— Не поет она, а ведет! — скажет, бывало, про Устинью какая-нибудь старуха под окнами.

— Что и говорить, зазнобистая девка растет, дай ей Бог счастья! — скажет другая. — Худа́ только шибко, не кругла.

— Округлится еще!

Услышит это Устинья, и вспыхнет вся, и побледнеет, и так и взовьется, будто в озеро прыгнуть хочет.

Недолго все это продолжалось. Очень недолго. Только-только начала она появляться на гулянках вместе со взрослыми девушками, полгодика всего погуляла, да и не гуляла еще, а присматривалась больше, — и все кончилось. Из подростков еще не вышла, девушкой-то еще не была — и кончилось все...

— Эвон, старая, с ума я спятила аль что? — вслух сказала вдруг Устинья, словно вздрогнула от своего раздумья, и пошла с берега к дому. — Ишь чего припомнилось!

А какая старуха, какой старик не вспоминают с сожалением о своей молодости? С годами воспоминания становятся все дороже, все привлекательней, и сама она, молодость, кажется совсем, совсем близкой, будто все было так недавно и быльем еще не поросло. Думалось раньше, что жизни конца не будет. Попробуй-ка в пятнадцать лет от роду представить себе, что ты дотянешь до семидесяти — с ума можно сойти.

А вот Устинье уже семьдесят пять лет, а частенько кажется, будто молодость была так недавно, ну, совсем-совсем недавно. Счастливое,

беззлобное времечко! Сколько нас ни унижали в эту пору, как ни били, ни трепали, мы все перезабыли, все простили, и в памяти остались только счастливые встречи, шумные праздники, веселая работа на полях да на лугах да многолюдные выходы за грибами, за ягодами. Никто нас тогда не обижал, все думали о нас только хорошее, да ведь и на самом деле тогда, в ту далекую пору, мы были самыми хорошими на всей земле. Голодать приходилось — мы вспоминали только дни, когда были сыты; носить было нечего — ну и что ж, зато какое было здоровье и как хорошо было ходить босиком по родной сырой земле! Если же вдобавок ко всему жили у нас в соседней деревне добрые родственники, особенно если бабушка и дедушка, — Боже мой, какое наслаждение вспоминать до мельчайших подробностей время, когда мы гостили у них, пусть только день, пусть один час, но были в гостях, и нас угощали всем, что было в доме лучшего, уговаривали отдохнуть с дороги, обязательно отдохнуть, а потом вели к соседям, опять в гости — в один дом, в другой дом.

— Ишь, старая ведьма, разнюнилась, слезу пустила! — ворчала Устинья на себя, но воспоминания уже захлестнули ее и остановиться было невозможно.

Войдя в избу, Устинья положила купленную буханку пшеничного хлеба в лукошко, есть уже не стала, потому что по дороге изжевала хлебный довесок и чувствовала себя сытой.

«Вот тебе и Баба Яга», — подумала она о себе. Тоскливо стало, тоскливо. А когда тоскливо, опять старое приходит на ум. Опять себя жалко... И воспоминания о молодости тут как тут. Такие воспоминания всегда рядом, словно ждут, когда человеку станет тоскливо.

* * *

Известие о смерти отца Устя переживала не очень тяжело и недолго. Она перестала ходить в школу, чтобы помогать матери по хозяйству, и это ей поначалу даже понравилось. А мать поплакала, поплакала и приняла в дом приемка. Одной жить, видно, показалось невмоготу. Да и кому одной жить вмоготу? Усте стало легче, но в школу она все-таки не вернулась, к тому же у матери появились новые дети, и Устя стала нянчится с ними, сначала с одним, потом с двумя сразу. Отчим с Устей был ласков, очень ласков, но она почему-то никогда не смогла назвать его папой или тятей, как требовала мать. Может быть, уже предчувствовала недоброе.

В праздники и по вечерам девочка ходила на угор петь и плясать вместе со взрослыми. Мать не удерживала ее, только приказала не плясать в ботинках. «Хоть в лаптях пляши, а чтобы ботинки были целы, еще изорвешь не одни, придет время». Устя научилась плясать босая. Время для ботинок так и не пришло. Отчим изнасиловал ее, когда девочке едва исполнилось пятнадцать лет, и счастливая, бойкая молодость оборвалась грубо и резко.

Как-то, возвратившись с дальнего сенокоса, Устя начала заикаться.

Мать спросила:

— Ты чего рот закрыть не можешь, напугалась, что ли, чего?

Девочка с трудом выговорила, что эт-то т-та-ак, что он-на н-ничего-го, не н-напугалась, — и зарыдала.

— Доплясалась, окаянная, докружилась! — со злостью сказала мать. — Шибко рано приохотилась на угор бегать, все гулёнки да гулёнки. Спать надо больше. Вертоголовая!

Никакого другого разговора у них не было, и мать так ничего, может, и не узнала бы о горе своей дочери, если бы для Усти не потребовалась срочная врачебная помощь. Родной матери она никогда не решилась бы сказать ни одного слова — не матери, а лишь старой тетке, сестре отца, которая пришла посидеть у ее постели, под страшным секретом рассказала, что она вся в крови и что ей больше никогда не встать на ноги. Сметливая тетка скоренько отправила приемка за волостной фельдшерицей и, пока он ездил, дозналась до всего остального, а выпытав все, тут же пересказала матери. Мать не сразу поняла, о чем идет речь, а когда поняла, то не поверила, до того чудовищным показалось ей все.

— Что ты, подлая, тут плетешь, на кого напраслину возводишь? — закричала она на бледную рыдающую девочку.

Но поверить все-таки пришлось. Тогда она испугалась и за дочь, и за своего мужа, и за участь своих младших детей, и за себя — за всех сразу. Но больше всего, кажется, испугалась она за судьбу своего мужа.

— Только не говори, Христа ради, никому! — взмолилась она родственнице. — Ничего никому не говори! Устя не пикнет, только ты не разноси. Господи, что будет, если народ узнает! Слышишь, Устя, — поворачивалась она к дочери, — смотри, чтобы ни слова! Простить надо, а то всю семью загубят, хозяйство рухнет. Ведь посадят его.

— Не жалко тебе дочери своей! — ужасалась тетка.

— Как не жалко! Да ведь ничего не вернешь, а у меня не одна дочь, у меня их еще две. Простить надо!

— Я не прощу! — сказала вдруг Устя с какой-то недетской озлобленностью и перестала плакать.

— Ты мне характер свой не показывай! — взъелась мать. — Всех загубить хочешь? Как это так — «не прощу»! А если я тебе приказываю? Ты смотри у меня! Как это ты отца своего не простишь?

— С ума спятила баба! — тетка ушам своим не верила. — Что ты говоришь? Какой же он отец ей после этого? Опомнись!

— Не опомнюсь. Он мне муж!

— И тебе он не муж. Он разбойник. Его судить надо.

— Не дам судить. Устю из дому выгоню, а его судить не дам.

— Не прощу! — сухо и негромко повторила Устинья.

Фельдшерица осмотрела девочку и в тот же день отвезла ее в уездную больницу, в хирургическое отделение. Там был составлен протокол, и уголовное дело попало в суд. Отчима посадили в тюрьму на десять лет.

Устинья вышла из больницы и первое время жила у тетки. Она заметно повзрослела, но не только не округлилась, как предсказывали старухи, а исхудала совсем и стала еще бледнее, чем была. Только глаза ее горели яростным черным огнем. На улицу Устя почти не выходила. Ей нельзя стало показываться на народе. Отчима засудили, и ей не давали житья — над Устиньей издевались, в нее тыкали пальцами: «Видали плясунью!» — и громко говорили про нее стыдные слова и напевали скабрезные частушки. Жить у себя на родине стало невозможно, а о том, чтобы уехать куда-либо, Устинья и думать не могла: кроме своей деревни, она нигде еще не бывала и боялась всего. Попытка покончить жизнь самоубийством не удалась. Устинью вынули из петли, при этом сбежалось много народу, молодые парни видели ее голые ноги и стали еще больше смеяться над

ней. Подростки не давали проходу, приставали к ней и в поле и на лугах, даже хулиганили.

Мать осталась с малыми детьми одна, а надо было вести хозяйство, тянуть и за себя и за мужа. Кроме Устиньи, некому было помочь ей, не с кем лошадь отправить в ночное. Теперь она пахала сама, а Устя могла бы боронить. Утром мать подоит коров, а Устя могла бы их отогнать на пастбище. Почти все по хозяйству могла бы делать Устя. Мать решила, что без своей старшей дочери она жить не может. И все чаще стала навещать ее, все ласковей заговаривала с ней.

— Ты домой-то скоро вернешься? — спрашивала она ее.

— А где мой дом, мама? — всерьез недоумевала дочь.

— Где мать, там и дом твой.

— Не мой это дом.

— Как это не твой? Что ты, доченька?

— Если бы ты одна была, другое бы дело.

— Да разве они тебе помешать могут? Крохи ведь! Сестры ведь твои это.

Устинья надолго замолкала. Мать не выдерживала и снова начинала разговор.

— Ну что же ты молчишь?

— А что мне сказать?

— Скажи что-нибудь.

— А что мне сказать, мам?

— Вернись домой. Трудно мне без тебя, Устя.

— Не могу я.

— Да ведь прошло уже все. Что было, то сплыло.

— Никогда не пройдет.

— Сестры ведь твои.

— Не могу я, мама.

— Чего ты не можешь? Здоровая, а злая.

— Нездорова я. Не могу.

— Задумала опять что-нибудь?

Ничего Устинья не задумала, просто она видела, что маленькие сестры очень похожи на своего отца, и это отпугивало ее от них. Как-то Устинье даже показалось, что вырастут они — и тоже будут волосатые и бородатые, и ей стало страшно. Устинью стали подозревать, будто она решила выжить младших девочек из их родного дома. Это была неправда. Но когда мать отвезла девочек на летние месяцы в другую деревню, к бабушке и дедушке, Устинья поняла, что именно этого она и хотела.

— Сейчас пойдешь домой? — спросила ее мать.

— Пойду.

— Значит, ты их совсем извести захотела?

— Нет.

— Как нет?

— Я только с тобой хочу жить с одной.

— А их куда?

Устя опять промолчала. Потом она спросила:

— Они вернутся?

— Вернутся. И ты опять уйдешь?

— Не знаю, мама. Я не люблю их.

— Кажется, ты никого не любишь. Злая ты стала.

— Не знаю, мама.

Мать очень затосковала по своим девочкам и винить в этом стала Устю. Чем больше тосковала и чаще вспоминала о маленьких, тем больше не любила она старшую дочь.

— От бабушки пришла весточка, что девочек взять надо, — сказала она как-то Усте. — Здоровье у стариков плохое, с детьми возиться некому. Может, отдадим их на воспитание в город, в приют? — спросила и ждет, что скажет, что думает Устя.

— Ничего я не знаю, — только и ответила Устинья.

— Как это ты, подлая, ничего не знаешь? — взъелась мать. — Всех из дому хочешь выжить и меня потом выживешь.

— Не знаю! — сказала Устя.

И как ни нужна была в доме помощница, как ни торовата была Устя на любой работе, мать все-таки выпроводила ее из дому.

К тетке Устинья не вернулась — жить в деревне все равно было невозможно. Она ушла из родных мест, и несколько лет о ней ничего не было слышно. Передавали только, будто она живет где-то «на городах».

* * *

А жила Устинья и в няньках, и в кухарках, и в прачках. Работала и на попа, и на купца, и на дохлого вдового интеллигента. И сладко бывало, и несладко бывало. Работала много, тосковала по родной деревне и думала только об одном: «Забудут или не забудут?». Каждый месяц откладывала понемногу деньжат, берегла в сундучке всякие праздничные подарочки и подношения, любая светлая безделушка

казалась ей драгоценностью; обзаводилась бельем, одежонкой. «Вот приеду в деревню барыня барыней, — думала она, — всем по подарочку поднесу, да как выйду в круг под лиственницей, и не босая, а в городских ботиночках на высоком каблучке, да как топну, да как... и всё простят!».

«А разве я в чем виновата?» — тут же спрашивала она себя, и горькая обида выступала красными пятнами на ее лице и шее, а нередко и слезы заливали глаза. Жалко было загубленной молодости, оставленной родины — всего было жалко. Но казалось, что все хорошее еще вернется к ней. Время для Устиньи как бы остановилось. В ее представлении родная деревня оставалась, какой была: не старели дома, не разрушались изгороди, каждая весна начиналась с престольных праздников, а осенью варили пиво и справляли свадьбы, и обязательно каждый вечер собиралась молодежь под лиственницей. Все по-прежнему, по-хорошему. И молодежь на кругу была все та же — те же подруги, те же парни. Поколения не сменялись, никто не старился; и замуж выходили и женились, казалось, не те знакомые ей с детства девушки и ребята, а какие-то другие. Самое себя Устя видела тоже, какой была в те последние счастливые деньки, почти девочкой. Только теперь она уже была не босая, а в начищенных ботиночках, и не в сарафане, а в платье — либо сатиновом, либо атласном, а не в каких-нибудь обносках, и в ушах у нее сережки, а на голове шерстяной узорный полушалок. Выйдет вот так — и все начнется, как было раньше, жизнь продолжится, будто она не обрывалась.

«Забудут или не забудут? Простят или не простят?».

* * *

Устинья не раз видала на своем веку, как умирают собаки. Одну пегую дворнягу раздавил грузовик на дороге. Когда к ней подошел хозяин, она взглянула на него с прежней доверчивостью, только жалобно, из последних сил приподняла голову и заскулила так, что, казалось, вот-вот вильнет хвостом и лапу ему подаст. Должно быть, она все еще надеялась, что он, ее добрый царь и бог, спасет ее, что она снова будет жить. А хозяин просто взял ее за хвост и кинул в канаву, чтобы не валялась, не мешала на дороге.

Тогда собака умерла.

Много раз Устинье приходилось самой топить котят от своей кошки. Подвал на приусадебном участке давно был распилен на дрова, столбы фундамента сгнили, а яма осталась и постоянно наполнялась водой до краев. Устинья кидала котят в яму, они пищали, пытались плавать, а она палкой по одному погружала их в воду, чтобы не мучились зря.

Сотни кур и молодых петушков умерли под топором Устиньи. Твердой рукой она отрубала им головы и отбрасывала в сторону, потому что так полагалось, и не было в этом ничего жестокого. Пока отрубленная голова моргала глазами и подергивалась, туловище птицы прыгало, вытягивая безголовую шею, и брызгало кровью, и словно все еще продолжало кричать, как только что кричала в руках Устиньи пойманная курица.

Видала Устинья, как засыпает рыба — в сети, в верше, под ножом. Не однажды видала, как умирают люди, сама принимала не одну

отходящую душу и последние мольбы и причитания. Помнит, как вымирали целые семьи.

За долгую свою жизнь доводилось Устинье видеть и другое: как гибнет лес от пожаров сразу на десятках километров, как реки мелеют и покидают свои старые русла...

Но никогда не приходилось Устинье видеть, как умирает деревня, умирает постепенно, дом за домом — пустеет, разваливается, замолкает, — целая деревня сразу... На старости лет довелось увидеть и это.

Давно уже замечено, что муж и жена со временем начинают походить друг на друга даже внешним обличьем, а́ дома становятся похожи на тех, кто в них живет. Устинья тоже приметила, что избы очень похожи на своих хозяев, тем тяжелей было следить ей, как избы меняли свой облик, разрушались медленно, но неотвратимо.

Вот на самом берегу озера стояли хоромы — две избы с двором под одной крышей: одна изба окнами к воде, другая, с противоположного конца, окнами на круглую деревенскую площадь, а между ними скотный двор. Многочисленная семья перед войной жила в этих хоромах, даже двух изб не хватало для всех: большак и большачиха, они же свекор и свекровь, они же тесть и теща; два сына и жены их, они же снохи и свояченицы; дети их — они же внуки и племянники; три сына холостых, они же девери; три дочки незамужние, они же золовки... Что мужики, что бабы из этого дома — одинаково любили покрасоваться, побахвалиться перед своими соседями. Девушки и молодицы первые в деревне начали носить городские юбки и кофточки и городские платья вместо сарафанов с фартуками. Молодые

ребята первые среди своих сверстников начали курить папиросы, а не махорочные самокрутки — хоть копеечные, хоть «гвоздики», а все-таки папиросы. Пусть мухи от них дохнут, зато какие названия: «Самолет», «Давай покурим», «Ракета»!

Самым неуемным человеком в доме был старик — большак, Матвей Торопов, владыка всех душ и животов в семье. Это он, Матвей, первый в деревне захотел, чтобы окна его дома выходили и на воду и на сушу, чтобы солнце целый день не покидало избы, а главное, чтобы видно было из окон — что делается в деревне, что делается на озере. Он первый, вероятно, положил начало новой архитектурной композиции, в которой скотный двор зажимался меж двух изб. Востер был на выдумки мужик, боек на язык, важен на вид, тороплив на ногу. И прозвали его, Торопова, Торопыгиным. И стала эта кличка для него самого и для всех его сыновей, и внуков, и правнуков, для всего потомства на многие поколения, на веки веков второй фамилией. Каких только причудливых украшений не придумал Торопыгин для своих хором, чтобы поразить завистливых соседей: тут и резьба на окнах и на воротах ограды, и тесовая обшивка стен, и разноцветные резные и рубленые петухи, и конек над крыльцом, и над оградой, и над крышей с двух сторон, и узорные, расписанные масляными красками карнизы. Очень похож был форсистый торопыгинский дом на своих хвастливых хозяев, на самих Торопыгиных.

Но все это пошло прахом.

Началось с того, что три сына не вернулись с войны. Овдовевшие снохи, бабы приглядные, работящие, помучились, помучились и вышли замуж в те деревни, из которых были взяты. Деток своих они по-

делили: старших взяли с собой, младших оставили дедушке и бабушке на воспитание. Подросли эти внуки, подучились и разъехались — один в Череповец, домны строить, другой окончил ФЗУ и тоже стал работать на каком-то заводе. Два уцелевших на войне сына жить дома не согласились, но гостить ездили каждое лето, пока старики были живы. Старший сын остался в армии и дослужился до генерала, младший Торопыгин пошел на партийную работу, его избрали секретарем райкома. Дочери Торопыгины в девках не засиделись — двух, что повиднее, моряки-отпускники увезли в Ленинград, а третья устроилась работать директором швейной артели в райцентре.

Старик Торопыгин не жаловался на свою судьбу: все его дети вышли в люди, никого власть не обидела. О погибших что говорить — они погибли. У кого в эту войну не сложил голову хоть кто-нибудь — таких семей не было. В каждом доме один-два покойника. Старик все принял как есть. А все-таки семья его, огромная и дружная торопыгинская семья, распалась. Непоседливому старику стало скучно жить на земле: нечем заниматься, не к чему руки приложить, не на кого покричать. И большак умер. Он не болел, не надоедал никому кашлем, стонами, жалобами, ни разу не обращался к врачам, ни даже к фельдшерам. Не болел, а просто собрался и умер, потому что время пришло, потому что так решил, так надо было.

А старуха Торопыгина еще несколько лет после этого ездила по гостям: поживет месяца два-три у генерала и, когда невмоготу станет ладить с легкомысленной накрашенной генеральшей, переедет к сыну — партийному секретарю. А потом в Ленинград — к одной дочке, к другой дочке, «по морям по волнам, нынче здесь — завтра там»,

поживет, наконец, в родном районе у дочки — швейной директорши, а от нее, с новыми сарафанами и кофтами, с новыми шалями и полушалками, в новых пальто — и летнем, и зимнем, — начинает весь круг сначала.

Теперь окна торопыгинского дома заколочены, вся красота его сгнила, резные наличники осыпались. А главное, прогнулась длинная крыша в самой середине, та часть, что была над двором, сгнили стропила. Строили Торопыгины навеки, но ничего нет вечного на островке, в деревне Отшибкове. И стал большой и важный торопыгинский дом походить на зверя с переломанной спиной. Сквозь доски на окнах, как сквозь прикрытые от боли веки, влажно поблескивают стекла.

С обеих сторон торопыгинского дома торчат из бурьяна и осоки остатки глинобитных печей. Устинья хорошо знала всех, кто жил на этих местах, но их уж нет, и домов нет, стоит ли и вспоминать о них!

А вот изба Пелагеи Степиной. Господи, до чего же это была неряшливая хозяйка! Вся округа знала об этой хозяйке-неряхе, и, где бы ни собирались гости — за праздничным самоваром или за бутылкой водки — не обходились веселые разговоры без смешных историй о Польке Степиной. Рассказывали, что она подоила корову в помойное ведро вместо подойника, а из подойника вымыла пол в избе. «А разве она когда-нибудь моет пол в избе?» — спрашивали при этом. Рассказывали, что по утрам она подолгу не одевалась и ходила в грязной нижней рубахе-подставе, особенно когда возилась у печи, стряпала. В деревне соседки нередко одалживают друг у друга печеный

хлеб. У Польки старались не одалживать: в ее караваях обязательно находили либо волосы с головы, либо что-нибудь и похуже. А как-то стряпала она к празднику пироги с рыбой и вместо рыбы завернула в тесто свою тряпичную грудь, вывалившуюся из-под рубашки, когда она наклонилась над столом. А потом будто бы угощала этим рыбником попа и приговаривала: «Кушай, батюшко, что в пироге, а на корочку наплюй!». О муже Пелагеи Степиной никогда ничего не рассказывали, потому что не он в доме был главным. Разве что кто-нибудь буркнет про него неуважительно: «Это не большак!» — и все. Мужиков, которые отдавали вожжи своим женам, в деревне ни во что не ставили.

Зато и дом Степиных был похож не на хозяина, а на хозяйку. Его называли: Полькин дом. Он был всегда неприбран, неухожен, грязен. На крыше вечно валялись какие-то палки, старые веники, лапотные ошметки-обноски. У крыльца даже в сушь стояла лужа. Изгородь либо повалена — и тогда свиньи разгуливали на картофельных грядках, либо небрежно залатана еловыми ветками и подперта то оглоблей, то вилами. Надолго ли еловые ветки? Пока они свежие — даже куры не проберутся на огород, а чуть подсохнут хвойные иголки — и опять зияют дыры сверху донизу.

Зады Полькиной избы выходили на озеро, и это было самое смешное, потому что с дощатых настилов, открытых в сторону озера, постоянно свешивались голые зады. Это была «Полькина уборная». Не однажды озорники стреляли сюда с лодок из ружей сушеным горохом, но, видно, поразить цель никому не удавалась и уборная так и оставалась не прикрытой никакими дощечками.

Третий уцелевший в Отшибкове дом напоминал человека на костылях и тоже очень походил на своих хозяев, хотя в семье никого хромого не было. Да и не дом это уже был, а лишь половина дома. Раньше под одной крышей было две избы, соединенных в виде пятистенка. И в двух избах жила одна дружная семья. Но выросли два сына, оба выучились, оба женились на ученых девушках, и начались в доме такие раздоры, что не стало им житья под одной крышей даже в разных избах. Тогда старший брат разобрал одну избу и перевез ее в другой конец деревни, а крыша так и осталась на два ската, и, чтобы она не обвалилась, поставили под нее на опустевшее место столбы. Так и стоит сейчас половина дома и над ней половина крыши, а другая половина крыши на столбах, как на костылях. Почему этот дом на костылях походил на своих ученых хозяев, которые тоже уже давно покинули родное Отшибково, Устинья не смогла бы сказать, а все-таки походил чем-то. Отпочковавшаяся изба недолго стояла в стороне деревни. Муж с женой не поладили, развелись, а так как детей у них не было, то и продали дом на дрова и разъехались по разным сторонам в поисках нового, лучшего счастья.

Чем больше брошенные дома имели сходство со своими прежними хозяевами, тем печальнее для Устиньи было наблюдать, как постепенно разрушаются они. Словно живые люди дряхлели и разваливались на ее глазах. Сначала дома лишались своего жилого вида, потом они теряли свою красоту и с каждым годом становились беднее и беднее, превращались как бы в нищих, которые, для того чтобы продлить свое жалкое существование на земле, должны пригибаться, перекашиваться, пускать слезу, вызывать сострадание.

Оставшись на острове одна, Устинья время от времени навещала чужие избы, как заброшенные могилы. Это было не всегда безопасно. Однажды переступила она порог в избе Торопыгиных и чуть не провалилась в подполье: рухнули сразу две половицы, и коричневая труха посыпалась из-под ног, и коричневая пыль, как дымок, заклубилась у подоконников. Грустно было смотреть и на прогнувшуюся над двором крышу, как на перелом спинного хребта, и на треснувшие стропила и потолочные балки. Грустно и опасно. Кажется, кашляни погромче — и рухнет все сразу, и прах подымется выше печных труб.

Но всего тоскливее было приходить на пепелище дома, в котором когда-то жила Устинья как молодая жена и как будущая полновластная хозяйка — в это она тогда верила. Правда, верила недолго. Тоскливо, а порой и страшно было даже просто проходить мимо останков своего былого счастья. Да было ли счастье-то? Конечно, не было его. Оно померещилось. Но тогда — хоть недолго, а казалось, что оно будет. Что ж!.. И на том спасибо.

* * *

Блудную дочь мать приняла хорошо, будто и не было между ними никогда никаких неприятностей.

— Ой, какая ты стала, и не узнаешь: ладная да складная, дородная да нарядная! И где столько добра набрала, неужто в люди вышла? А сережки-то какие, Господи Боже мой! Такие сережки не во всякие уши можно вдевать.

Устя вынула из своих ушей блестящие сережки со стекляшками на фольге и подала их матери.

— С ума сошла, — начала отбиваться обрадованная мать. — Этак тебе и сказать ничего нельзя, все раздашь, что привезла. А много привезла-то?

— Много, мама!

— О, Господи! А мы тут живем!.. Всего именья — песок да каменья. Давай-ко попьем чайку, да показывай все, открой сундуки свои.

— Открою, мама.

Две девочки, высокие, длинноногие, пугливо смотрели на Устинью, боясь признать ее и не зная, как себя вести. Мать кивнула:

— Сестры твои. Видала, какие стали? Еще год-два, и догонят тебя. А о *нем* ни слуху ни духу. Ну, прости уж... — сбилась она с рассказа, заметив, как Устинья сразу помрачнела при одном упоминании об отчиме.

Гостья открыла один сундучок, порылась в нем и подала девочкам по отрезу мануфактуры на платья. Мать обрадовалась еще больше.

— Вот и хорошо. Вот и заживем мы душа в душу. Все мы сироты теперь. — И заплакала.

Устинья чувствовала себя легко, как после горячей бани, и благостно, как после длительного поста и причастия. Ей хотелось быть нужной для всех, доброй и незлобивой. Все обидное забылось и простилось.

По деревне разнесся слух, что Устинья стала очень богатой и приехала к матери насовсем. Подружки, с которыми она раньше гуляла, те, что еще не вышли замуж, и парни, еще не женившиеся, ждали Устинью на угор. И как только закатилось июльское солнышко, она пришла на угор. Казалось, это стало для всех праздником. Ее завист-

ливо и почтительно осматривали, ощупывали городские обновки на ней, выспрашивали про житье-бытье на чужой стороне. Устинья была счастлива. И все было бы хорошо, если бы не пьяные. Пьяных было трое, и один из них вдруг сказал:

— Разбогатела, ха! А каким местом богатство добывала, ха?

Другой парень, тоже пьяный, ударил обидчика. Третий пьяный стал разнимать драку. Ни одного из этих парней Устинья в сумерках не признала, но вступившегося за нее пьяного парня запомнила сразу и на всю жизнь. И дорог он стал ей с той минуты, дороже и милее всего на свете. Так началась ее первая любовь.

В деревне было так: если парень женился хотя бы на день, на два, он уже считается мужиком и обратная дорога для него на угор к своим сверстникам закрывается навсегда. Теперь он, если хочет быть на людях, должен идти на круг, на завалинку, на перекур, где собираются большаки, хозяева семей. С девушками еще строже. Побывала замужем, замотали тебе косу кокошником, упрятали под платок — и ты уже баба на веки вечные, к девкам на посиделки или на гулянье и носу не показывай, а то парни вправе любое бесчестье тебе причинить. А замужем не была, но слух про тебя прошел недобрый, обесчещенной посчитали — это, пожалуй, еще хуже, ты еще виноватей перед всеми. Мало что калитку или крыльцо дегтем вымажут, нет, над тобой еще при случае поглумятся и будут с гоготом рассказывать повсюду о том, что было и даже чего не было вовсе.

Не приняли Устинью ее старые подружки. Несколько вечеров побыла она с ними под лиственницей и не выдержала озорных намеков девчат, скабрезных подмигиваний парней, разревелась и ушла

домой. Не помогли ни стеклянные елочные украшения, которые она раздавала заместо бус, ни наборы швейных иголок, ни чудные брошки и пуговицы, называвшиеся почему-то заморскими.

Все солонее и солонее становились ее слезы. «За что обижают?» — злилась Устинья и плакала еще горше, еще злее. Даже мать натерпелась за то время всяких наговоров и пересудов.

Устин защитник, Илюха Вальков, еще не раз ввязывался из-за нее в драку с пьяными ребятами, но сам он при этом всегда был пьян и потому, конечно, не помогал ее горю.

— Я тебя, Устя, всю жизнь знаю, ты хорошая! — говорил он ей, покачиваясь и путая слова. — Ты за моей стеной, как за каменной спиной.

Устинья так была благодарна ему за эту заступу и за любые добрые слова, что, даже пьяный, он казался ей милее и лучше всех. Девушки боятся пьяных парней. Устинья никогда не боялась пьяного Валькова, а только жалела его. Однажды он пожаловался утром на головную боль с похмелья. Устинья тотчас села в лодку и съездила в деревню Канашкино за водкой. Илюха осушил косушку без закуски и повеселел. И подобрел еще больше.

— Если бы не ты, подох бы я сегодня, — объяснял он ей. — Понимаешь, не выпить было никак нельзя. А на поправку ни гривны не осталось. Да и вчера-то на всех одна полтина была. Спасла ты меня. Ну, зато уж и ты на меня надейся, со мной не пропадешь.

— Я на тебя надеюсь, — сказала Устинья.

— И надейся! Ты мою жизнь знаешь? — поинтересовался Илюха, быстро пьянея снова.

— Не знаю.

— Вот видишь. А я клады ищу всю жизнь.

— Кто их зарыл, где? — робко спросила Устинья.

— Кто зарыл, говоришь? А что такое клад? Клад — это счастье. Я счастье ищу. Для чего я грамоте обучен? Для счастья. Читать, писать умею — значит, должно мне быть счастье на земле? Должно! Почему же у меня счастья нет? Где мое счастье? Вот ты нашла свое счастье.

— Какое же у меня счастье? — всерьез удивилась Устинья.

— А я свое найти не могу. Один сын в доме, а счастья нет. На городах жил, мешки грузил с мукой, лошадей городских чистил, а гривны на опохмелку нет. Вот у тебя есть.

— Ильюша, неужто тебе не хватило?

— А разве я сказал — не хватило? Мне много не надо. Я с горя пью. Потому пью, что счастье мое чужие люди присвоили. Найду счастье и пить не буду.

— Не пей, Ильюша.

— А разве у тебя еще есть?

— Не пей, Ильюша.

— А ну покажи, что у тебя осталось? Ты меня не бойся. Я за тебя знаешь что могу? Я за тебя горло всем перерву. Разве ты виновата? Выходи за меня замуж.

— Что ты, Ильюша! На вот еще косушку. Только пойдем к нам, покушаешь.

— Пойдем! Пойдем за меня замуж...

Все было верно: он один сын у родителей, род хороший, хозяйство справное. На городах жил — верно. Значит, и горя хлебнул, как

она. «Господи, неужели это и есть мое счастье? — думала Устинья. — Вот стоит оно: чуб из-под кепки выбился, лицо круглое, доброе, щеки небритые... Небритые — что за беда, выбрить можно. Не крепко стоит — так ведь какое счастье сразу на ноги крепко становится? Поддержать надо! Зато защитит от всех, в обиду никому не даст, прикроет ее спиной своей. Все прикроет».

— Пойду, Ильюша!

— Пойдем. А закуска у вас есть?

* * *

Отец и мать Вальковы приняли Устинью в свою семью торжественно и благочестиво. Девушка им давно была по сердцу, и они надеялись, что сынок с такой веселой да разумной женой остепенится, бросит пить, и хозяйство крестьянское не захиреет, и род Вальковых не переведется. Может, получится хороший мужик: человек он добрый, справедливый, только тоскует о чем-то, запивает... Так ведь мало ли у кого какие беды... Вот у невестки была своя беда в жизни, разве же она виновата...

Устинья до того была счастлива, что даже боялась, как бы не изменилось чего-нибудь. Кроме Ильюшеньки, никого на всем белом свете для нее не существовало. Обычно выйдет девушка замуж и сразу повзрослеет, станет сдержаннее, солидней. Устя, наоборот, стала совершеннейшей девчонкой, какой была много лет назад. К ней вернулась молодость, юность. Посерьезнел Илья. Он почти никуда не ходил, стал много работать, только бы все время быть с Устей. Ее нельзя было не полюбить. Но, полюбив, он стал подозрителен и ревнив.

— Я не хуже? — как-то спросил он ее после утомившей обоих близости.

Устя не поняла. Тогда он помолчал и задал другой вопрос:

— Неумелый я, да?

— Ты хороший! — доверчиво ответила Устя.

— А нехороший — это какой?

— Нехороший — это недобрый.

— А тебе сейчас добрый нужен?

— Конечно! Ты добрый.

— Значит, недобрые надоели?

— Очень много недобрых людей, Ильюша. — Устя все еще ничего не понимала.

— А если мне надоест быть добрым, тогда что?

— Ты хороший, Ильюша, я тебя люблю.

В другой раз Устинья целовала Илью и легонько укусила его. Илья выругался.

— Кто тебя этому научил?

— Разве тебе лихонько? — удивилась она. — Укуси и ты меня, я терпеливая.

— Он тебя кусал, да?

Устинья с ужасом посмотрела на Илью и на этот раз поняла все. Поняла и заплакала.

— Чего слезу точишь? — обозлился он. — Его пожалела?

— Ильюша, ты меня пожалей. Разве я в чем виновата перед тобой? Ни перед тобой, ни перед Богом я ни в чем не виноватая.

Илья пожалел ее, обнял, и они оба успокоились, заснули.

Но успокоение пришло ненадолго. Через день Илья, его отец и Устя выехали за озеро на лесную пожню. Выкосить всего за один день не смогли, и отец, которого Устя звала батюшкой, сказал:

— Переночуем. Работы хватит еще и на завтра. Шалаша своего у нас нет, пойдем в чужой. Тут недалеко есть хороший шалаш, бревенчатый, вроде охотничьей избушки, в нем переночуем.

— Где это, батюшко? — встревоженно спросила Устинья.

— Да вот за тем подувалом. Избушка старая, но я смотрел — дверка цела, крыша из еловой коры, верно, прогнила кое-где, так ничего, закидаем хвоей. Все-таки комары не тронут. Сена накосим, костер раскладем.

— Не буду я н-ночевать, батюшко, в лесу, д-домой п-пойду.

— Как знаешь, Устенька. А спать там можно.

— П-пойдем, Ильюша, д-домой, а завтра п-пораньше вернемся, — почти взмолилась Устинья.

— Что это ты заикаться начала, комаров боишься? — удивился Илья. — Избаловалась на городах-то.

— П-пойдем д-домой, Ильюшенька...

— Да что это ты, кто тебя укусил?

Старый Вальков вдруг вспомнил, что шалаш этот не чужой для невестки.

— Послушай-ко, Устенька, избушка-то ведь ваша, родительская, запамятовала ты, что ли?

Разговор этот происходил уже в сумерках на краю лесной полянки. Батюшко сидел на кочке, закуривал; Илья при отце не курил, он стоял рядом, с косой на плече; Устинья тоже стояла, а коса ее лежала

на траве. Когда старик спросил ее про избушку, она быстро нагнулась, как-то лихорадочно схватила косу и почти бегом кинулась в сторону озера, к лодке. Она ничего не запамятовала! Эта лесная избушка была та самая, самая та, — она сразу это поняла, и ей стало так жутко, так страшно, что язык снова стал непослушным, как было когда-то. А когда это — «когда-то»? Ведь совсем недавно все было. Словно вчера все было.

— Ильюша, п-пойдем скорей до-домой! — закричала она уже на бегу, не оборачиваясь.

— Помилуй Бог! — сказал отец Вальков и, не докурив, бросил цигарку в траву. А Илья скинул с плеча косу и побежал вдогонку за Устиньей.

Всю ночь Устинья ревела навзрыд, а добрый Ильюша допрашивал ее с пристрастием.

— Значит, вот где у вас все было? Ишь какое местечко выбрали! Хорошо тебе было, да? Нет, ты скажи правду, хорошо было?

Утром они оба не вышли на сенокос — Устинья не смогла, а Илья напился сивухи. Напившись, он опять подобрел.

— Ты никого не бойся, — уговаривал он Устинью. — Я тебя никому не дам в обиду. Ты за моей стеной, как за каменной стеной.

Устинья плакала.

— Нет, ты чего ревешь? — обижался Илья. — Разве не я тебе сказал, что со мной не пропадешь? Или не один я тебе такое говорил? Он тебе то же самое говорил, да? Ты правду скажи, почему ты правду скрываешь? Я правду люблю!

— Тяжело мне, Ильюша!

— А мне, думаешь, не тяжело? Ты, верно, думаешь, что мне легко, да?

— Господи, дай мне руки на себя наложить! — ревела Устинья. — Устала я.

Илья после такой ее мольбы приходил в себя. Но ненадолго. Приступы ревнивой злобы стали повторяться чаще и чаще. Днем Устинья старалась быть около свекрови, помогала ей по хозяйству, обряжала скот, окучивала картошку, возилась на кухне, ставила самовар. А ночью нередко забиралась к ней на широкую печку либо на полати и, свернувшись комочком у нее под боком, искала защиты от своего любимого мужа.

— Эх, доченька, все мы каторжные. Такого ли я натерпелась за свой век. Подумать страшно.

— Я же не виновата, маменька!

— И я ни в чем не была виновата всю жизнь. Да ведь и он, Илька-то, ни в чем не виноват. Парень он добрый, только дьявол ему душу мутит.

— Скажи ты ему, маменька...

— Да разве я не говорю? Кажинный день говорю одно и то же.

Искала защиты Устинья и у свекра. Свекор жалел ее, но ничего поделать с сыном не мог. А Илья злился на Устинью еще больше из-за того, что она жаловалась на него отцу и матери.

— Можно подумать, что я тебя обижаю, — говорил он. — Можно подумать, что я у тебя прощенья просить должен?

— Чего ты от меня хочешь? — спрашивала Устинья.

— Только правды от тебя хочу, и ничего больше.

— Какой ты от меня правды хочешь? Тошно мне.

— Можно подумать, что ты не знаешь, какая на земле правда бывает? На городах жила, не в деревне, всякого, наверно, хлебнула.

— И то верно, зачем только я в деревню свою воротилась?

— Оно, конечно, надо было в городе замуж выходить. Там бы никто ничего не знал. И концы в воду.

Однажды свекор не выдержал измывательства над Устиньей и ударил сына.

— Пила проклятая! Зачем тогда женился, не знал ты, что ли, ничего?

Илья два дня не показывался домой. Устинья так переволновалась за эти дни, такую тревогу перенесла за него, что, когда он вернулся пьяный и в первый раз избил ее, она даже не обиделась, даже не испугалась. А Илья рвал на себе рубашку и просил у нее прощения.

— Ты думаешь, я с чего пью? С того и пью, что все мне в глаза тычут, смеются надо мной. Но больше этого не будет. Я тебя больше ни разу не трону.

— Отпусти, Илья, меня домой.

— Как домой, куда?

— Домой? К маме.

— Ишь ты, к маме? А чего ты у нее позабыла? — И он опять что-то соображал свое, и злоба с новой силой сотрясала его всего. — Домой? Ты к нему хочешь? Так он же в тюрьме, его же нет дома...

Устинья и сама не знала, зачем она пойдет к матери. И разве это — домой? Неужели ж никакой надежды нет и никакое многотерпение не поможет?

Тяжелей всего было, когда Илья жаловался на головную боль. С похмелья он был особенно изобретателен и непонятно злобен. Тогда она стала давать ему деньги на опохмелье. А чаще сама ездила на лодке в винную лавку и привозила ему то осьмушку, то четвертушку. Илья добрел и говорил ей хорошие слова. Когда не стало денег, Илья начал продавать вещи жены, опустошал ее чемоданы. Устинья не сопротивлялась, ей казалось, что так будет лучше. Но скоро не стало и вещей.

— Ты куда все спрятала? — кричал Илья. — Ты для кого все бережешь? Я прикрыл все твои грехи, своей спиной все твое прикрыл, а ты что делаешь? Так-то ты меня благодаришь?

— Отпусти меня, Илья! Душу мою отпусти. Иссушил ты мою душу, замучил ты меня. Не могу больше!

— Э, вот как ты заговорила, городская, расхожая!.. Повешу!

Илья Вальков в эту ночь избил свою жену до полусмерти.

А под утро сгорел их дом. Даже скот спасли не весь.

Ну, что теперь гадать, отчего он сгорел? Ведь все равно ничего об этом неизвестно.

— Бог наказал нас всех! — говорила старуха, мать Ильи. Старик Вальков держался того же мнения.

* * *

После пожара они приютились у соседей. Мать Устиньи звала всех к себе, но, видно, звала не очень настойчиво, а, может, Устинья сказала им что-нибудь недоброе, — только они отказались.

Перешла на жительство к матери сама Устинья. В случившейся беде никто ее, конечно, не винил: сгорел дом и сгорел. А все-таки

какой-то холодок в отношении к ней появился. Давно уже видели все, что Илья безрассудно проживает все нажитое Устиньей своим трудом.

— Разденет он тебя до гола и пустит по миру! — говаривали разные люди. И для нее это было немалым утешением: значит, видят, знают, что она мучается. Никакой радости от того, что замужем, конечно, уже не осталось. Лучше быть старой девой, только не жить так, как ей жить довелось. Лучше головой в омут, лучше петлю на шею, лучше живьем на костре сгореть! Но видеть-то люди видели, но не доходило, знать, виденное до каждого сердца.

Илья сразу после страшной ночи скрылся из деревни: опять ушел куда-то свое счастье искать. Старики перебрались к соседям. И то, что Устя ушла к матери, вовсе не означало, что она сбежала от Ильи, хотя на самом деле так оно и было. А все-таки почему-то на Устинью смотрели недобро. Одно, мол, горе от нее. Мало того, что от родной матери мужа отняла да в Сибирь его сослала, мало того, что на себе хорошего, из видного рода парня женила, а теперь выжила его из родной деревни, — мало всего этого. Она и свекра со свекровью своего очага лишила. Что ни говори, а дом-то ведь сгорел при ней. Пока она не жила в этом доме — дом стоял. Вот окаянная, до чего людей доводит! Никому от нее спуску нет. Сама несчастливая, и всем от нее одно несчастье. Нет, уж лучше пускай уходит на чужую сторону.

— Подоила бы ты коров сегодня, не успеваю я, — как-то попросила ее мать.

Устинья взяла с полки на кухне ведерный деревянный подойник с рожком и ручкой, обтянутый деревянными же обручами,

сполоснула его водой и пошла во двор. И хотя коровы знали ее и доила она их раньше не раз, но, видно, коровья память не долга: как ни задабривала их Устинья хлебом с солью, как ласково не трепала по холкам, по бокам, по мордам, какими уменьшительными именами ни называла, ни одна из них не отдала молоко полностью. Они оборачивались, когда Устинья бралась за вымя, мычали, били хвостом по бокам, переступали. Одна чуть-чуть не свалила ее вместе со стульчаком — все молоко разлила бы. С обидой отбросив табуретку в угол, Устинья принесла домой подойницу. Мать встретила ее недовольная:

— Разлей вон по кринкам и горшкам и поскорей иди снова. Чего-то долго ты возилась. Полная подойница-то?

— Полная.

— Давай поскорей. Не меледи время.

— Больше не дают, мама, мне лучше отступиться.

— Как не дают?

— Не дают.

— Только одно ведро и надоила?

— Одно.

— Да ты что, сглазила коров, что ли?

— Отвыкли они от меня.

— Как это отвыкли? Дай-ко я схожу.

Мать сама разлила оставшееся молоко из подойницы в посуду и ушла во двор. Вернулась она скоро с пустой подойницей и злая.

— Эх, Устя, Устя! Горе мне с тобой. Несчастный ты человек. И в народе о тебе плохо говорят. Не уживешься ты здесь опять. Не выне-

сешь. И тебя не вынесут. Одни несчастья вокруг тебя. Не наша ты, не деревенская.

— Куда же мне деваться, мама?

— А я разве знаю? Куда деваться, живи уж...

— Зачем ты меня родила, мама? — заплакала Устинья.

Она сама понимала, что не будет ей спокойного житья в деревне, некуда ей пойти, не с кем душу отвести. Только ведь родилась-то она здесь. Куда же денешься, если все ее нутро здесь, все оно прикипело к этой земле? Скоро брусника поспеет, грибы попрут — белые царские, красноголовики, рыжики. Что за осень, если за грибами сходить некуда, ягод пособирать негде. Здесь все свое, в городе все чужое. Чужой кусок не всегда в горло лезет, чужая ложка рот дерет.

А все-таки пришлось Устинье опять уйти из своих мест. Куда? Уходила — сама не знала, куда идет. Куда глаза глядят. В руках узелок, в узелке смена белья да полусапожки уже не новые — все, что осталось у нее от завидного девичьего богатства.

Свекор и свекровь и одной зимы в чужой избе не вытянули, умерли. Первой же весной на пепелище Вальковых выросла крапива вперемешку с голенастым иван-чаем. Недогоревшие бревна соседи растаскали на дрова.

* * *

Отчим не вернулся из тюрьмы. Жив он или нет — никаких извещений не поступало. Если бы не революция, не войны, может быть, мать Устиньи, Вера, и разыскала бы его — какой-никакой, а хозяин дому. Но жизнь стала делать такие резкие повороты, людей кидало

из стороны в сторону, будто сани-розвальни на широком проселке, и так много их исчезало совсем из глаз, что Вера даже запросов никуда не писала. Где, при какой он власти живет, голодает ли, как все, — одному Богу известно. Несколько писем от него все же пришло, но это было почти сразу после суда. А потом как в омуте: кинешь камень, булькнет, кругами разбежится рябь по воде и успокоится, словно и не было камня.

Старилась Вера быстро. И чем старше она становилась, чем больше горбилась, высыхала и больше морщин перекрещивалось на ее пепельно-сером, усталом и злом лице, тем меньше подходило к ней это красивое девичье имя.

Хорошо называться Верой в десять, в двадцать лет. А если тебе уже перевалило за полвека, если бабий век давно уже кончился, тогда как? Все Дуни стали Авдотьями, Маньки — Мариями, Альки — Алевтинами, а Вера на всю жизнь остается Верой. Хорошо еще, когда зовут по отчеству, но в деревне по отчеству называли только мужиков, хозяев, и то не всех. А прозвища давались бабам чаще всего такие обидные, что их можно было произносить только за глаза.

В последние годы жизни Вера стала много и прилежно молиться, строго соблюдала все установления церкви, постилась, исповедовалась и каялась в грехах своих не только перед Богом, но и перед людьми.

— Двух мужиков пережила, разве не греховодница я? — плакала она. — Первого на войну, второго на каторгу спровадила. Деток нарожала — воспитанья правильного дать не сумела, Устю по миру пустила. А девка по миру пойдет — то же, что по рукам пойдет. В чьих-

то руках она теперь, прости меня, Господи! Во всем я одна виновата — не уследила.

Незадолго до смерти Вера захотела увидеть Устинью, попросить прощенья у нее за все тяжкие свои прегрешения. Устинья приехала. Встретились и обе ахнули: до того изменились обе.

— Бедная моя! — бросилась Устинья к постели умирающей матери. — Что же ты меня раньше не вызвала? Тяжело, видно, тебе было?

— Уж не рада ли ты этому? — прошепелявила мать в ответ.

— Что ты, мамонька, жалко мне тебя. Смотри, какая худая стала. — И дочь стала поправлять ее изголовье и дерюгу на костлявых коленях, торчавших кверху, будто связанные оглобли у телеги.

— Да и ты, девонька, что-то постарела да подурнела, будто коза драная, — ответила мать. — Путем ли хоть живешь-то, честно ли себя держишь?

— Честно, мамонька, никто про меня худого слова не скажет.

— Знаю твою честь, прости Господи. Чужих мужиков отбиваешь.

— Никого мне не надо. Ни одного мужика ни у кого не отбила.

Устинья сдерживалась до поры до времени, и это еще больше раздражало больную.

— Разбила мою жизнь, Устя, Бог тебе судья. Лишила ты меня опоры. Разогнала всех по миру и сама по чужим людям таскаешься, чужих козлов ублажаешь.

Тогда и Устинья не сдержалась:

— Умирала бы ты, мамонька, подобру-поздорову, Бог тебе судья. Лежишь — в чем душа держится, а все злобу свою унять не можешь, шипишь, как на сковородке.

— У, стерва, — зыркнула на нее Вера. — Доконать меня приехала. Будто и не дочь ты мне, прости меня, грешную.

— Бог тебя простит, как же! Что Он, правду не видит, что ли? Слепой Он, что ли? Бог знает, как ты меня из дому родного выжила, всю жизнь мою порешила. Он тебе судья, а я тебя не прощаю.

Вера вдруг перепугалась, губы ее задрожали, злоба в глазах потухла.

— Что ты, греховодница, делаешь? — взмолилась она и подняла навстречу Усте костлявую, давно не мытую руку. — Иди, благословлю, мне ведь умирать сейчас. Прости ты меня, грешную!

Примирения не получилось. В душе они не простили друг друга, хотя перед смертью матери все было сделано, как того требовали людские обычаи и церковные законы.

Похоронив мать, единоутробные сестры, Устинья и младшая, Пелагея, стали жить вместе. Но Устинья чувствовала себя в доме сестры не лучше, чем в домработницах, и мир между ними не наладился. Она снова уехала «на города».

* * *

Устинья с недоумением следила за тем, как молодежь, вырвавшись из деревни, старалась с некоторых пор всякими правдами и неправдами прижиться где угодно, только бы не возвращаться на свой родной островок. «Что за люди ныне пошли?» — думала она. Парень, побывший в армии, получает паспорт вместо военного удостоверения и остается в городе, соглашаясь на любую работу: хоть ночным сторожем у магазина, хоть истопником в райбане. Девушки

выходят замуж за первого встречного, только бы уехать из деревни в город, нередко заключают даже фиктивные браки. Любые агенты по вербовке рабочей силы — желанные гости, даже если бы они зазывали на дно моря или в кратер действующего вулкана.

А она, Устинья, главным своим несчастьем в жизни считала всегда, что подолгу жила не дома, не на своем малом островке. Всю жизнь ее тянуло к родному берегу, где плещется пресное озеро, то тихо, то разухабисто, как разухабисты пляски под развесистой лиственницей; где чавкают окуни под круглыми листьями водяных лилий, а по ночам вдалеке кричат журавли и лягушки.

Приходилось ей жить в разных городах — и в больших и в малых, в близких и в дальних, на самых верхних этажах высоких и богатых домов, куда даже пешком не поднимались, только на лифте, а все-таки тихая родная деревенька с ее бревенчатыми разномастными избами всегда казалась ей самым светлым местом на земле. И по каким бы широким и гладким улицам она не ходила, в какие бы тенистые парки с их твердыми дорожками, посыпанными толченым кирпичом, ни заглядывала, — ей все хотелось перебираться, как в детстве, по колодинкам, по жердочкам, от избы к избе, вдоль изгородей и плетней, перепрыгивать с камушка на камушек через лужицы и дождевые ручейки.

И какие бы городские платья ни доводилось носить — свои ли, чужие ли, из простого черного мадаполама с белыми надплечьями — погонами горничных девушек и кухарок, либо поношенные, с хозяйских плеч, но шелковые, с замысловатыми кружевными накладками и напусками, — а все-таки деревенские свои широкие

сарафаны с кофтами и цветастыми фартуками навсегда считала она самыми удобными и красивыми.

На каких бы постелях ни спала, а все помнила луговой аромат свежего сена; то ли дело провести летнюю душистую ночь на сеновале, откуда слышны и пение петухов, и лай собак, и плеск рыбы в озере, и неброский шум дождя на драночной крыше, сквозь которую пробивается волшебный лунный свет с неба и с воды.

Что думают нынешние молодые люди, куда стремятся парни, чего ищут девки-вертихвостки, почему им дома не сидится, не работается?

Много лет прожила Устинья с сестрой Пелагеей, а все нет-нет да и почувствует себя на положении приживалки. У Пелагеи — семья: что ни купит, что ни наживет — все в свой дом, как в муравейник, все к месту, колос к колосу, нитка к нитке. А Устинья сколько ни работает, как ни гнет спину — оглянется: все будто чужое, все будто на чужих хлебах и под чужим кровом живет. Раздумается, схватится за голову и заревет: для чего я живу, ради кого маюсь, кто мою жизнь искалечил?! Разревется, вспомнит все, что было, и больше того ненавидит свою счастливую сестру.

Немного отлегло от сердца Устиньи и словно бы примирилась она со своей участью одинокой бобылки, когда стала работать в колхозе: все-таки не на Пелагею. Исчезло ощущение ущемленности, колхоз как-то уравнял их. Но ненависть, а лучше сказать — неприязнь не оставила ее даже в войну, когда Пелагея сразу — овдовела и осиротела. Жестокое злорадное чувство, что Бог-таки правду видит и следит, чтобы всем доставалось поровну, по справедливости, ис-

пытала Устинья в тот страшный для Пелагеи день, когда было получено извещение, что муж ее погиб смертью храбрых.

— Не реви, не ты первая, не ты последняя! — со злостью выкрикнула она, заглушая стоны и хрипы сестры. — Не реви, тебе говорят. Бог, Он знает, что делает.

— А мне-то что от того, что Он знает, что не я первая? Что мне от того? Куда я теперь денусь одна?

— А я куда одна делась?

— Уйди от меня.

— Я тебе уйду! Ишь слюни распустила...

— Уйди!

— Куда я уйду? Всю жизнь уходила, науходилась до смертной тоски. Больше никуда не уйду, не прогонишь, обе мы теперь беспарные, обе-две одинокие. Пореви — может, и ты что-нибудь почувствуешь о своей жизни. Уходи ты, а я тут останусь.

Лет Устинье к этому времени было уже много. И давно перестала она мечтать о своей семье, о своем домке. Высохла она вся и не сгорбилась, а словно бы вытянулась, стала выше, чем была, а душа у нее как бы свернулась в клубок, ссохлась и задубела навеки. Больше даже в шутку никто уже не зовет ее ни невестой, ни соломенной вдовой. Умерли её желания, перегорели страсти.

А ведь были еще случаи, когда судьба, казалось, позвала ее, поманила своим пальцем: иди за мной, будешь счастлива! Сватался вдовец, искал терпеливую стряпуху и прачку для своих пятерых отпрысков, младшему из которых только исполнилось полгода. Не пошла, испугалась. Сватался богатый парень-перестарок, единственный наследник

большого кулацкого хозяйства, думал, видно, уйти от наказания, породнившись с худородной бродяжкой-батрачкой. Как хотелось ей похозяйничать всласть хоть годика два, позвенеть ключами от амбаров да от погребов! Но одолела искушение, не пошла в обреченный дом: хватит, побатрачила, поточила соленую слезу и за себя, и за других, больше ни одной не выжать — глаза высохли, душа свернулась...

Умерли желания, перегорели страсти.

Остались только боль и обида на несправедливость судьбы, на половинчатость каких-то божьих законов. И, конечно, нелюбовь к Пелагее: должны же сыны и дочери нести кару за родительские прегрешения. Осталась невысказанная и не всегда осознаваемая ненависть к людям за то, что обижали они ее много и злобно. И пусть тех людей сейчас уже нет в живых, но горькие воспоминания не дают ей забыться и не дают никого полюбить от всей души.

* * *

— Бабка, молоко есть?

— А вам много надо?

— Четверо нас.

— На четверых хватит.

К острову подошли две рыбацкие лодки. Молодые парни — босоногие, в рубашках-безрукавках, в засученных до колен штанах — высадились на берег. Двое из них были в соломенных шляпах — по виду городские. Устинья увидела их еще из окна и, выждав, когда лодки причалят, вышла из дому, будто по своим делам. Вслед за ней вышли из дому две серых кошки.

— Бабка, — опять закричали ей, — где тут можно червей наковырять?

— Червяков?

— Да, червяков.

— Чего хорошего, а червяки везде есть.

— Так где же они?

— А вам много надо?

— Тебе оставим, не бойся.

— А лопата у вас есть?

— Есть.

— Думаю, может, лопату дать.

— Не надо; скажи, где копать можно?

— Да копать везде можно. Нездешние вы будто?

— Нездешние.

— То-то, смотрю, нерешительные. Спрашиваете, где червяков копать, боитесь.

— Ничего мы не боимся.

— А спрашиваете.

— Тебе, бабка, поговорить хочется, что ли? Где копать, говори!

— Поговорить, конечно, охота, а как же! Я тут одна живу.

— Ну?

— Копайте вон там, вокруг ямы. Силос был раньше.

Один из рыбаков с маленькой саперной лопаткой в одной руке и с консервной банкой в другой направился в сторону усадьбы Вальковых, где когда-то жила сама Устинья. И хоть там, в густой траве, давно ничего не осталось даже от пепелища, а все-таки это была ее

земля и она не хотела, чтобы чужие люди расковыривали могилу ее недолгого счастья.

— Не туда пошел, эй, ты! — закричала она хриплым голосом. — Вправо бери, не видишь, где солома лежала, силос был!

Кошки с кручи из травы зорко следили за рыбаками, и, как только все парни покинули берег, они спустились к воде и бесшумно, как змеи, скользнули в лодку за рыбой. Даже у самых незадачливых удильщиков для них всегда находилась пожива на прокорм.

В избу вслед за Устиньей вошли двое: большеголовый, белобрысый, в соломенной шляпе, совсем молодой паренек и другой, с искалеченной — видимо, на войне — рукой и возраста такого, что его парнем назвать было уже нельзя. Устинья не знала ни которого: приезжие, видно.

— Что вам? — спросила она, пройдя в горенку и обернувшись к ним. Так начальник в своем кабинете обращается обычно к посетителям: «Вы ко мне?».

— Может, ты нас покормишь, бабушка? — сказал паренек в соломенной шляпе.

— Чем?

— Молоком хотя бы.

— Вы молока спрашиваете?

— Молока, бабушка.

— Молоко есть. Яйца есть.

— Вот и хорошо. Садись, Петро! — пригласил молодой большеголовый старшего с искалеченной рукой, указав ему на стул.

— А платить есть чем? — спросила Устинья.

— Заплатим, бабушка, не бойся.

— Я не боюсь.

— Заплатим, сейчас не военная пора, — сказал старший, Петро.

— И то, не военная. Даром-то куда мне? Вас много ездит, а я одна. Даром-то и мне никто ничего не давал. Может, вам и рыбы продать?

— Рыбы сами наловим. Неси молока.

— Могу продать и рыбы. Свежая есть.

— Рыбы не надо.

— Лапти еще плету. Могу лапти продать.

— Лаптей не носим, бабушка.

— Лаптей не носите, знаю. Так шерсть есть. На валеночки на другие уступила бы. У меня овечки свои.

— Спасибо, бабушка. Что еще у тебя есть?

— У меня все есть. Все свое, непокупное.

— Неси молока и хлеба, — резко сказал Петр.

— Огурчики есть, картошка, лучок. И яички могу продать.

— Яички хорошо. Давай и яичек.

— А почем они?

— Я больше других не беру, у меня как у всех. Все недорогое, свое.

Петру этот разговор уже надоел, а белобрысый в соломенной шляпе вдруг заинтересовался лаптями.

— Сама лапти плетешь, бабушка?

— Сама плету. А кто же еще?

— Покажи, пожалуйста.

— А тебе зачем? Ведь носить все равно не будешь.

— В Москву увезу. Про тебя всем рассказывать буду.

— Про меня рассказывать нечего. Я сама по себе. Живу — никому не мешаю.

— В музей сдам.

— Сдашь? Людям на погляденье, нам на посрамленье?

— Тебе на славу. Твои золотые руки славить буду.

— Ты, может, не про лапти говоришь, рыбачок? Видал ли ты лапти-то, какие они? Это ведь лапти!

В дверь постучали и сразу вошли, не дожидаясь, когда хозяйка отзовется, те двое рыбаков, что остались на берегу, — загорелые, потные, с мокрыми, видно, только что вымытыми руками, возбужденные.

— Есть черви! — крикнул один из них еще с порога. — Много, и все красные, что надо, на окуня. Давайте есть, да поскорей. Что тут у вас, Петро?

Петр, старший из всех, тот, у которого рука искалеченная, встал со скамьи, едва не свалив большой цветок в кринке — березку.

— Пошли, ребята, на берег, костер разведем, ухи наварим. С бабкой нам не договориться.

— Как не договориться? Ты что, бабушка?

Устинья испуганно метнулась на кухню за молоком.

— Что вы, Христос с вами! Разве я против? Молоко есть, и яички, и с огорода все, что душа пожелает. Все есть. Разве я против, разве я запрашиваю что с вас. Ешьте на здоровье. Сейчас подам. Рассчитаемся потом. Не обидите старуху.

Из всего, что она поставила на стол, рыбакам больше всего понравился квас с хреном, с зеленым луком, с вареной картошкой.

— Окрошка хороша, бабушка!

— Какая окрошка? Это похлебка.

— Ну, похлебка. И холодная. Ледник у тебя, что ли, есть?

— Есть погреб, а в погребе снег. Накидаю туда весной под загнету, он и лежит все лето. До самой осени снегу хватает. Раньше в каждом доме был такой погреб.

— Хороша окрошка!

— А вот погодите маленько, я вам лучку со сметанкой приготовлю. Уж коли вам крестьянская еда по душе, так лучок еще больше похвалите.

— Мы сами крестьяне, бабушка.

— Крестьяне, а в такое время рыбку ловите.

— Мы не простые крестьяне, мы колхозники.

— То-то колхозники, а лапти собираетесь в Москву везти.

— Кто это? Филипп? Он у нас, бабушка, в Москве учится.

— Доброе дело! На кого же это он?

— Кем поставят. Может, министром, может, другим каким начальником будет.

Бабка принесла с кухни доску, положила на нее горсть зеленого лука и стала мелко нарезать его и ссыпать в деревянную чашку.

— На нынешних начальников много учиться не надо. Кто брюки носит, тот и начальник. А бабы — те все под началом у мужиков ходят.

Ребята переглянулись, засмеялись.

— Пусть уж тогда и бабы брюки носят.

— А работать кто будет? — всерьез взъелась Устинья. — Кто будет воз тащить? Нет, уж, видно, судьба наша такая. И раньше бабам

спать некогда было: встань до свету, скот обряди, ребят приголубь, печь затопи, хлеб испеки, всех накорми и на поле беги поперед мужика. И ныне порядок тот же. Только раньше мужик над одной своей бабой командовал, а ныне у него по десяти баб на поводу, и ни одна пикнуть не смеет.

— Это только в деревне, бабушка, а в городах женщины в почете, раскрепощенные.

— Почету для них и в деревне хватает. Про почет говорить нечего.

Запах лука перебил все прочие запахи в избе: рыбы, квасу, хрена, цветов. Когда деревянная чашка наполнилась до краев, Устинья взяла деревянную же мутовку-пестик и стала энергично толочь и растирать это зеленое крошево, то и дело подсаливая и пробуя его. Рукава кофты она подняла до локтей, и ребята увидели обожженные солнцем, костлявые, с раздутыми синими венами, трудовые руки. Лучевые и локтевые кости отчетливо отделялись одна от другой, и просветы между ними закрывались тонкой кожей, только кожей. Коричневая рука Устиньи ничем не отличалась от сосновой сухопарой мутовки, сучковатые пальцы походили на отростки ее.

— «Как у бабы-яги!» — подумал про эти руки большеголовый московский студент Филипп, да, может, и не один он.

— Почету для баб и у нас хватает, — заговорила опять Устинья. — Лошадь тоже гладят, чтобы на нее хомут надеть да запрячь ее. А уж запрягут, тогда кнутом. Все мужики такие.

— На кого же ты, бабушка, обижаешься? Одна себе...

— Я одна себе, это верно. Как в песне поется:

Сама лошадь, сама бык,
Сама баба и мужик.

— Да ведь не век одна была...

Свежий лук сделал свое дело: старуха прослезилась, и разговор на этом оборвался. Она поставила чашку с густым зеленым месивом на середину стола, принесла из кухни горшок со сметаной, хотела положить сметану ложкой прямо в лук, но передумала и сначала намерила стакан, а затем уже стала класть из стакана в чашку.

— Кушайте, благословясь. От такой нашей еды и сила, и здоровье, и на душе легко, и брюхо не тяжелит.

Молодые ребята съели все — хрен, лук, яйца и картошку, квас и молоко. Ели и похваливали:

— Ну и бабушка! Молодец, хорошо кормишь. Всех так или только нас?

— Я всех, сынок, кормлю. На озеро летом приезжают со всего света. Тут и рыба, и утки, и воздух хороший. Где же им, приезжим, и кормиться, как не у меня? Не в колхоз же идти.

— А что — колхоз бедный?

— Почему бедный? Ничего колхоз. Никто не голодает. Только ведь там сколько бумажек надо выписать, чтобы получить чего-нибудь. Это за свои-то деньги! Поначалу получи разрешение у председателя, потом договорись с бригадиром, а бригадир направит тебя к кладовщику; кладовщик все согласует да наряд выпишет и пошлет тебя с этим нарядом на подпись обратно к председателю. После этого в бухгалтерии уплатишь по счету и опять идешь либо к

кладовщику, либо к птичнице на ферму, либо к огороднице на участок. Пока ходишь — и есть не захочешь. А если и захочешь, так... Да что говорить, кушайте! Может, вам еще принести что?

— Спасибо, бабушка, сыты! Скажи, сколько тебе заплатить.

— Сколько заплатите, ваша воля.

И началось самое знакомое и неприятное... Устинья ни за что не хотела сказать, сколько и за что ей нужно заплатить.

— Сколько положите, и на том спасибо, — говорила она. — Вы ведь старую обижать не будете. — Но видно было, что она и сама в обиду себя не даст и приготовилась сражаться за каждый грош из последних сил. А молодежь наша привыкла к твердым ценам, она рядиться не учена.

Ребята на этот раз и впрямь не знали, сколько они должны заплатить Устинье. Не хотелось давать лишнего, но и торговаться не собирались.

— Ты, бабушка, не стесняйся, говори. Сколько скажешь, столько и заплатим.

— Да ведь что говорить-то. Еще подумаете, мол, втридорога запросила. Я эдак одному сказала, а он мне: с одной рожи дерешь по две кожи. А на что мне его кожа, мне деньги подай.

— Так сколько же, бабушка?

— А я знаю? Ничего я не знаю. Ваша воля.

— Но ты же не первых нас кормишь?

— Я всех кормлю. И платят по-разному. У кого совесть есть, те и платят по совести. А у кого совести нет, те про кожу говорят.

Старый солдат Петро начал сердиться:

— Долго мы так будем разговаривать? Может, за червяков тоже платить надо?

Филипп тронул его за руку: «Не надо!». А Устинья не замедлила дать отпор:

— Я тебя, паренек, не червяками кормила, ты мне про червяков и не говори. Я вас добром встретила, добром и провожу, коли вы ко мне с добром пришли. А коли не так, то вот Бог, а вот порог. Можете и отчаливать.

— Ты, бабка, словно государыня какая, а мы чужеземцы и прибыли в твои владения, — засмеялся московский студент Филипп. Он не нервничал. — Вот тебе пятнадцать рублей, по совести. И еще тебе наше спасибо. И мы отчалим.

Устинья молча неторопливо стала собирать со стола посуду. В деревянную расписную чашку положила деревянные ложки с объеденными краями, оставшуюся сметану из стакана слила обратно в кринку, подобрала на тарелку все кусочки и крошки хлеба и лука. Видно было, что она раздумывала. Потом она сказала:

— Из вашего спасиба мне корысть невелика, из него полушубок не сошьешь.

Филипп удивился:

— Значит, мало? Вот видишь, а сказать не хотела: «Сколько дадите» да «Ваша воля»!.. Мало, значит!

— Хватит тебе, бабка, пятнадцати рублей! — вмешался опять в разговор Петр.

Устинья, продолжая собирать посуду, ответила:

— Оно, конечно, ваша воля, хватит. А только вас четверо.

— Ну, четверо?

— Так нескладно получается, не поровну.

— Как не поровну?

— С четырех-то человек пятиалтынный — не поровну. Не разойтись вам. По пятерику с носу надо. По совести надо.

— Понятно! — сказал Филипп, доставая из кармана еще пять рублей. — Вот тебе, бабушка, еще на черный день, по совести. Теперь довольна будешь?

— Теперь ничего.

— Пошли, ребята! — Филипп резко встал, еще раз мельком взглянул на развешанные по стенам вырезки из «Огонька», семейные фотографии разных лет, многоцветные стенки от отрывных календарей, на цветы в кадках и кринках и шагнул к двери.

Устинья всполошилась, словно ее покидали дорогие гости.

— А лапти-то как же, милые вы мои! Хоть бы посмотрели, хоть бы примерили. Целую связку сейчас принесу. Батюшки!

— Не надо, бабка, лаптей!

— Да ведь дешевые, на показ-то хотели взять, пускай висели бы, пускай добрые люди видят, как мы в досельные времена жили. Даром отдам.

— Не надо.

— А может, лучку на дорогу? Может, рыбки свеженькой дать?

— Сами наловим.

На дворе опять залаяла и загремела цепью собака, закудахтали куры, опрометью с шумом бросились овцы в кусты, будто дикие козы.

Ребята сели в лодки, оттолкнулись от берега.

— Вот баба-яга! — сказал Петр. — Настоящая ведьма!

Другие промолчали, только зло навалились на весла.

* * *

Председатель колхоза все-таки навестил Бабу Ягу.

Устинья вышла в сени, где лежали два больших клуба с заготовками берестяного лыка, уселась на ступеньку лестницы и острым ножом стала обрезать берестяную ленту с двух сторон, выравнивая ее до нужной ширины. Готовое лыко она наматывала на третий, пока небольшой клуб. Заготовку лыка она производила каждую весну в старой березовой роще, вдали от своего острова, и потом весь год в свободное время плела лапти и ступни — берестяные босоножки. Устинье самой было приятно, что она свободно владеет кочедыком. А еще говорят — есть мужская работа, которая бабам не с руки. Все нашей бабе с руки, врете вы!

Лапти и босоножки до войны у нее охотно раскупали для сенокосной поры. Берестяная обувь в жаркое время удобна и легка, в ней пальцы не преют. Но молодежь, окончившая среднюю школу, выучилась с презрением говорить о старой лапотной Руси, и ношение берестяной обуви даже на сенокосе стало считаться зазорным. Теперь Устинья плела лапти только для самой себя, носила их не переставая, и все-таки их много скопилось в ее чуланах и предбаннике.

Председатель колхоза пришел к ней, когда Устинья сматывала готовое лыко на клубок.

— Здравствуй, Устинья!

— Здравствуй! Уж говорил бы прямо: Баба Яга!

— А ты сразу в драку? Слыхала разве, что тебя так зовут?

— Добрые люди не промолчат.

— Злая ты, Устинья.

— Кто тебе сказал, председатель, что я злая? Садись. А то пойдем лучше в горенку, там чище, дорогой свой сарафан не замараешь.

Горенкой в избе называлась передняя комната вроде гостиной. Она, собственно, была единственная комната, потому что другая была кухней с большой русской печью посередине и полатями между печью и стеной. В жаркое время лета Устинья спала на полатях, а зимой или когда занеможется — на печи, всегда раскаленной. В горенке стоял стол под нарядной домотканой скатертью, крашеные стулья самодельной работы какого-то деревенского мастера и цветы в кринках и кадушках — на полу, на табуретках, на подоконниках.

Все стены горенки были оклеены газетной бумагой и завешаны семейными фотографиями в рамочках и без рамок. В переднем углу несколько некрупных икон в обрамлении сусального золота и бумажных цветочков. На одном уровне с иконами — вырезанные, видимо, из тонких журналов разной поры цветные юбилейные портреты Мичурина, Луначарского, поэта Назыма Хикмета, академика Бурденко и Ким Ир Сена, а также целый набор нарядных маршалов и генералов, бесхитростно подобранных по принципу: у кого орденов больше.

Устинья обмахнула своим фартуком, больше для виду, один из стульев и предложила его Парфену Ивановичу:

— Садись, председатель!

Сама села на другой стул, не обмахивая его, — и так чисто!

— Ну, как живешь, старая, рассказывай! — начал Парфен Иванович самым дружелюбным, покровительственным баском, расстегнув предварительно габардиновое пальто и положив шляпу на стол, кверху полями.

— Спасибо на добром слове, — так же ласково ответила и Устинья, — и сам-то ведь не очень молодой стал.

— Помаленьку все стареем, верно говоришь. Может, нуждаешься в чем?

— Ничего, здоровье еще есть, на хлеб-соль добываю.

— Хозяйство тянешь?

— Не я его, оно меня тянет. Да вот лапти еще плету...

— Лапти, это да!..

— Только не носят их нынче, за стыд почитают.

— Не покупает никто?

— И даром не берут. Может, ты возьмешь хоть парочку для опыта?

— Лапти, это верно, носить в наши дни стыдно! — сказал Парфен Иванович, не отвечая на предложение Устиньи взять парочку лаптей «для опыта».

— Стыд не дым, глаза не выест. А ногам в лаптях вольготно и легко. На сухом лугу и нога сухая, а на болоте тоже хорошо — вода в лапте не держится. Только новые люди не понимают этого, им сапожки подай, да чтоб каблуки повыше да потоньше.

— Куда же ты теперь лыко денешь? Вон сколько лесу испортила.

— Лапти плести буду.

— Для кого?

— Для себя, для музеев разных. На выставку в Москву пошлю, пущай полюбуются старухиным рукодельем.

— А вдруг там спросят, чей лес загубила?

Устинья не опустила глаз, не сробела, заикаться не начала.

— Ты за этим пришел, председатель? — резко спросила она.

— За этим иль нет, а ты не злись. Я к тебе с добром. Спрашиваю, как живешь, не нуждаешься ли в чем? У нас теперь старикам и старухам почет. Может, переехать куда хочешь, все-таки одной здесь тоскливо, не сладко. Тоскливо, наверно?

— Тоскливо, председатель! Только куда я денусь? Умру вместе с деревней.

— Деревенька уже умерла.

— Пока я жива, и она живет. Мешаю я тебе?

— Что ты, живи на здоровье! Осталось тут на островке четыре или пять домов. Дышит один твой, могут спросить: что у вас тут за гнилой зуб торчит? Везде укрупнения, расширения, рост по всем показателям, а этот островок — как бельмо на глазу.

— Ты за этим пришел ко мне, председатель?

— Вот заладила свое! Просто навещать тебя надо. Одна ведь. Может, помочь надо чем-нибудь? Знаешь, спросят: как, мол, вы о престарелых заботитесь? Дескать, не от хорошей жизни, наверно, лапти плетут, колхозный березняк переводят.

Вопросы председателя встревожили Устинью: «Вот въедливый!». Кончиком платка с головы она вытерла уголки губ, ответила:

— Березняка хватит на всех, и на тебя, и на других председателей. Его все равно на дрова рубят. Ни одна березка, с которой я шкуру сдеру, не пропадает, все народ забирает.

— Рыбку-то ловишь? — спросил Парфен Иванович.

Устинья рассердилась.

— Рыбку ты здесь не выращивал, председатель. Я тут сто лет живу, и рыба сто лет живет. И до меня жила сто лет. И до Рождества Христова жила, может, сто лет. Ты к чему принюхиваешься?

Председатель смягчился:

— Лови на здоровье. Много ли тебе одной рыбы надо? На уху! Ты ведь рыбу не продаешь. Верно ведь, не продаешь? А другие сетями ловят. Знаешь, как это называется? Браконьерство. Ты чем ловишь?

— Сетью! — ответила Устинья.

— Вот видишь — сетью. Ах да, сетью? — вдруг удивился председатель, когда до него дошел смысл ответа. Видимо, он не ожидал, что Устинья может сказать правду, и так прямо!

— А что же еще, старухе с удочкой сидеть? Ведь засмеют! — объяснила Устинья. — Я на ночь сеть закину в проточине или у травки где-нибудь — вот тебе и уха свежая, и на зиму сущик. Недавно щука попалась, страсти Господни, словно боров хороший. Испугалась я и обрадовалась. А сварила середочку — и зубы не берут: бревно! Дерево! Задубела щука, стара шибко.

— Сетью запрещено ловить, Устинья! Я — что! А приедет какой-нибудь начальник повыше, инспектор, он может и сеть отобрать. О тебе же забочусь.

— С обыском ко мне пришел, председатель? Разговариваешь, будто с малым ребенком. Траву бы лучше скосил на острове, сено поставил. Коровам зимой опять есть будет нечего. Делом бы занимался.

— Злая ты, Устинья! — вздохнул Парфен Иванович.

— Конечно, злая. Вот подожду еще немного и выкошу все для своих овец. Мне и дома не по́мешают. И рабочих рук у меня хватит.

Парфен Иванович ничего не ответил, встал со стула и начал рассматривать на стене портреты и фотографии. Про многоцветные вырезки из «Огонька» он спросил:

— Знаешь ли хоть, кто это?

— Вожди! — сказала Устинья.

Фотографии почти все были очень старые, даже послевоенной, кажется, не было ни одной. На трех стенах разместилась целая семейная галерея, история крестьянского рода, а может быть, даже не одного, а нескольких родов. В деревенских домах обычно развешивают и фотоснимки разных родственников из своей и чужих деревень.

— Кто тут есть из твоих родных? — спросил Парфен Иванович.

— Есть тут всякие, а все будто родные.

— Где они сейчас, кто где — расскажи.

— Все там, где и мы с тобой будем. Вот это — мой родной отец. Погиб еще на войне с нехристями, где — не знаю. Написали, что погиб смертью храбрых. Эта была моей матерью. Это сестра моя, Пелагея. Она еще жива. Дом-то ее, а не мой, хотя его еще мой отец поставил. Но у нее тоже сейчас никого нет, кроме меня: мужика убили. А от меня она сбежала... Вот дядя, на войне погиб. Тоже смертью храбрых. Этот парнишка — племянник. Он уже большой был, когда началась последняя война. Погиб. Вторая сестра в Пасху упала на угоре с качелей. — Устинья пригнулась к окну, показала на площадь в сторону лиственницы: — Во-он там! Упала с качелей и что-то повредила у себя, позвоночник, что ли. Доктор приезжал, велел строго-настрого лежать, справку выписал, ос-

вобождение. Ну, она и начала поправляться... Только на ноги поднялась, приехал уполномоченный, разорвал справку и отправил ее на лесозаготовки вместе с другими девками. Не хватало рабочих рук, а ему надо было план выполнять. Ну, умерла по дороге.

Устинья немного помолчала. Затем показала на детскую фотографию:

— А этот учился уже в школе. Классов, поди-ко, семь кончил. В комсомоле состоял. Да обидели его. Кто-то украл тетрадь. Ну, бумаги-то не было, а подозрение пало на него. Он — реветь. «Ничего, — говорит, — я не брал». Учитель не верит. Ведет его к директору. А он ревет: «Не виноват я! Ничего я не брал!» — говорит. А директор не верит. Тогда его к другому директору, повыше. Тот, высокий, тоже не верит, тогда парнишка пришел домой к матери, рассказал ей все, как было, а она давай его пороть, Пелагея-то... Тоже не поверила. Ну, парнишка не снес, вышел на улицу да и застрелился. Из ружья. Дробью. Когда уже застрелился, виноватый сам выискался, тяжело ему стало. И тетрадочку директору отдал.

Устинья рассказывала свободно, настороженность к гостю оставила ее, печальные и добрые черты резче обозначились на лице. Обнаружилось, что в глазах у нее еще есть огоньки и что глаза все еще черные, широко распахнутые. И никакого сходства с бабой-ягой, никакой запальчивости, никакого вызова. Ей просто очень хотелось выговориться.

— Вот про эту еще расскажу, — указала она на фотографию молодой женщины в старинном наряде, расшитом всякими воланами, и оборками, и прошвами, и блондами. Женщина была на снимке не

одна, она стояла, а рядом на стуле сидел в картузе, широко расставив ноги и положив руки на колени, здоровый широколицый парень — муж, наверно, кто еще? Фотография вставлена в рамочку, под стекло. — Хорошая была баба. Подружка моя. Все про меня знала. Вышла она замуж, по-хорошему вышла, народила двух детей и заболела гриппом. Осень стояла, уборка хлебов. Муж спрашивает: «Ты что, баба, словно бы нездорова?» — «Неможется мне!» — отвечает. «Так посиди дома денек, а то ляг на печь, погрейся. А может, баню истопить?». Осталась она дома, а мужа вызвали на гумно. И пришел к ней председатель, вот как ты ко мне, только тогда у нас из своих был, из деревенских, необразованный. «Ты что, — говорит, — киснешь? А план кто выполнять будет?!» — и давай ее всеми словами... Батюшко, Бог! «Молотить, — говорит, — надо!». Она и пошла молотить. Порок сердца сделался. Умерла. Малых деток оставила.

Парфен Иванович вдруг заторопился домой, взял шляпу.

— Что ты тяжелое мне рассказываешь, — проворчал он. — В тоску вогнать хочешь? — и засмеялся.

— Старая да одинокая, где мне легкое взять? — ответила Устинья. — И жизнь у меня была нелегкая. Видишь вот, никого не осталось. И деревня доживает последние дни со мной вместе. Люди умирают — тяжело, а когда деревня умирает, скажу я тебе, — и того тяжелее. Живу все время как на кладбище.

— А я про что говорю? — оживился Парфен Иванович. — Нечего тут жить. На острове, может, фабрику скоро будем строить, либо завод, рыбные консервы начнем выпускать. Машины разные придут, землю перероют, пыль поднимут, копоть...

— Мой это остров, — сказала Устинья. — Тут все мое, мои корни здесь. Умру, тогда и корни сгниют. А строить — стройте, я вам не мешаю. Хорошо будете строить — так, может, с чужих заводов все в свою деревню возвратятся. Только мне одной лучше. Натерпелась я горя на людях, нахлебалась досыта, все еще в горле комок стоит. Вы бы лучше на этот остров птицу пустили — уток, гусей, кур. А меня бы птичницей определили.

— Куда тебе, стара, тебе покой нужен.

— Ну, стара так стара, и на том спасибо. А лапти больше плести не буду. Это я тебе как на духу обещаю. Носить их некому. И ни одной березы больше не трону. Нечего меня обыскивать.

* * *

Когда Павлухин уехал, Устинья вздохнула с облегчением. Но потом ей стало тоскливо и неуютно. Защемило сердце. Зачем он приезжал — Устинья так и не поняла. А все-таки поговорили! Какой бы ни был разговор, а все-таки поговорили. Не «цып-цып», и не «ути-ути», и не «тяги-тяги», а людские слова, человеческая речь, глаза в глаза.

— Зачем же он все-таки приезжал? — встревоженно повторила Устинья. — Мешаю я ему, вот что. Островок, вишь, как бельмо на глазу. Деревенька-то уже умерла. Надо, чтобы она на земле не значилась, вот зачем он приезжал...

Устинья прислонилась головой к теплому лбу русской печки, потерлась об него, заглянула в чело, открыла зачем-то заслонку и заревела, завыла в голос. Печь дохнула на нее сухим жаром. Вдруг

что-то схватило Устинью под горло и стало душить: ноги ее ослабели, под лопатку тупо воткнулась боль.

— Д-душно, дышать, — просипела она.

Закрыть заслонку Устинья уже не смогла. Она зашла сбоку, со стороны запечья, поднялась на приступок, перевалилась на печь под золотистую, с яркими розами, занавеску и, соскользнув в ложбинку, протертую ее пестрядинным сарафаном, затихла.

Может быть, из-за этой русской печи, на которой она родилась и на которую достало у нее сил забраться в свой смертный час, Устинья не смогла ужиться «на городах». Не смогла уйти от нее, от русской печки, — большой и ласковой, живой души северной избы.

Печь — сердце дома. Пока печь не сложена, избы еще нет. Печь не затоплена — и дом еще не живет, и жилым духом не пахнет. Он вроде еще не освящен. А затопят русскую печь, и будет она теплой, пока дом живет, потому что пищу готовят и летом. Печь теплая — значит, и домовой в избе живет: где же ему и ютиться, как не под печкой?

В горячей, в прогретой печи даже сырые дрова загораются, а в остывшей, давно нетопленой и сухие принимаются не сразу. На печи сушится лучина — прямые березовые поленья: расколи, расщепли их — и с пучком березовой лучины разгорятся любые дрова, даже осиновые; опусти пару лучинок в самоварную трубу да кинь сверху горстку угольков — и загудит в трубе, зашумит.

Женщину, только что родившую ребенка, в зимнюю пору устраивают на печи, чтобы теплее было ей самой и новому жителю земли. Русская широкая печь является его первым пристанищем. На

той же печи проводит человек дни и ночи своей старости, когда он ослабеет, и при любой перемене погоды болят его хрупкие кости, и странные, тревожные, всхлипывающие хрипы появляются в его высохшей груди, с резко обозначенными ключицами спереди и лопатками сзади.

Последние яйца, с непроклюнувшимися еще цыплятами, перекладывают из-под наседки в меховую шапку и кладут на теплую широкую печку. Проходит день, два, а иногда и больше, и яйца доходят, все цыплята выпариваются. Ну, если попадается яйцо-болтун, тому, конечно, никакая печка не поможет. Да и тех цыплят, что своевременно вылупились, тоже сначала для обсушки кладут на печку — либо в решете с меховой подстилкой, либо в такой же зимней шапке-ушанке.

На ту же русскую теплую печку перетаскивает кошка своих еще слепых, только что родившихся котят, в каком бы месте они ни появились на свет, — стало быть, и для кошек для всех печь является как бы родиной на нашей земле.

А на какой печи не рассказывала старая бабушка в долгие зимние вечера ребятишкам — внучатам своим и не внучатам — занимательные, старинные, то смешные, то страшные сказки, в которых медведь идет на березовой клюке, чтобы отомстить за свою украденную ногу, Иван-царевич летает под облаки, разыскивая свою красавицу невесту, а из ближайшего, знакомого всем ребятишкам озера чуть ли не каждый вечер выходят пастись на зеленый луг озерные коровы, завороженные нечистой силой, и стоит только кому-нибудь обежать сломя голову вокруг этих коров с

крестом да с молитвой — и превратятся коровы из нечистых в домашних, тогда бери обыкновенную хворостину и гони все стадо в свою деревню, в свой двор.

Лежат и сидят ребятишки на печи, будто ласточки в сумерках на колодезном журавле или на телеграфном проводе, глаза у всех поблескивают, руками подбородки подперты, и тепло им, и уютно. А в трубе завывает ветер, тараканы шелестят в пазах, скапливаются целыми колониями между деревянной стеной и кирпичной кладкой — им тоже тепло нравится.

Сипит Устинья, синеет. И кажется Бабе Яге, что она уезжает на своей печке куда-то, как в сказке. А это она умирает. Умирает Устинья. Умирает разверстая русская печь. Кто из них раньше остынет? Что может быть печальнее, нелепее, чем холодная печь в деревенской избе?.. Пока покойник не остыл, все кажется, что он еще не покойник, не труп, и что это еще не смерть, что это все еще не навеки, не всерьез.

1960

СЛУГА НАРОДА

В день приезда матери Никита Петрович не явился на службу, сообщив в главк, что с утра отправляется на объект. О настоящей причине его отлучки знал только начальник главка Викентий Федорович. Он же дал Никите Петровичу ЗИМ — не на «Победе» же встречать старушку, тем более что она приезжает к сыну в первый раз.

Матрена Савельевна давно была не прочь побывать у своего старшего сына Микитушки, да все как-то не удавалось: то семья не позволяла — надо было всех выходить, вытянуть, поставить на ноги, то война мешала, то колхоз не отпускал, боялись давать паспорт на руки — хоть и старая, а ведь может не вернуться, как со многими случалось.

Когда же Матрена Савельевна осталась почти одна, вдруг выяснилось, что сам-то Микитушка никогда особенно не надоедал ей просьбами и приглашениями в гости. И поехала бы, да не зовет.

Затосковала Матрена Савельевна: жизнь, казалось, подходит к концу — старика ее, Петрована, задавило сушиной на лесозаготовках; двое сынов не вернулись с войны; третий вернулся, но сразу ушел в приемки в соседнюю деревню; старшая дочка вышла замуж; младшая, последняя, привела себе муженька на дом и все хозяйство

взяла в свои руки. Что оставалось Матрене Савельевне? Детишек младшей дочке Бог не давал, и бабушке, не очень здоровой, при зяте доверены были только корова да куры с петухом во главе. Выходить на колхозную работу ее уже не заставляли, а по своей воле не очень хотелось, корысти не было, да и зять запрещал.

Вот когда бы поехать Матрене Савельевне к своему удачливому сыну, посмотреть на большую городскую жизнь. Каких только рассказов не доходило о нем — все-таки один такой из всей деревни вышел, до Москвы допер, в министерстве работает — и это ее сынок, Микитушка!

А вот не зовет!

Раньше думала — недосуг и утешалась тем, что ничего, мол, от нее не уйдет, когда сможет, тогда и поедет, было бы только желание... И вдруг поди ж ты...

На похороны Петрова́на, отца своего, Микита пожаловал, пожил с недельку, посмотрел еще разок на деревенское житье-бытье и с тех пор не показывается — не приглянулось, видно. Деньги матери посылает чуть не каждый месяц и письма пишет, а к себе не зовет.

Ну, не зовет, значит, так и надо. Значит, нельзя иначе.

Матрена Савельевна и тем уже была довольна, что про ее сынка по всему району хорошая слава шла. И когда соседки начинали уговаривать — что ж ты, дескать, в Москву не едешь, пожила бы месяц-другой, хоть принарядилась бы! — она отнекивалась:

— Куда уж мне, старой. Боюсь от коровы отстать, от печки-лежанки отвыкнуть.

— А требует ли хоть?

— Требует! В каждом письме пишет: приезжай, говорит, помрешь около меня, уж я тебя не оставлю.

А Никита Петрович долго не звал мать к себе не потому. что забыл о ней или не любил ее. Он умело и довольно скоро продвигался по служебной лестнице и, упоенный успехами, не раз мечтал о том, как привезет к себе родную мать и даст ей все, чего бы ее душенька ни пожелала: смотри, мама, какие мы стали ныне!

Но ему все казалось, что время для этого еще не наступило. «Сначала надо закрепиться в главке! — думал он». Потом потребовалось обзавестись квартирой. Еще до брака родился сын — надо было срочно оформлять брак, чтобы не получить нагоняй по партийной линии. Появилась квартира — захотелось обставить ее как следует. А для этого нужны деньги да деньги. Сын рос — тоже расходы. Не до матери было. Если уж ее вызывать, так не к разбитому корыту, а чтобы показать товар лицом, чтобы старушка могла погордиться своим Никитой, чтобы у нее голова закружилась после деревенской жизни. Без серьезных издержек тут не обойтись.

Так шли год за годом. Благосостояние Никиты Петровича росло, но ему все чего-нибудь недоставало, чтобы встретить свою мать, как того она заслуживала.

Не мало средств унесла рижская мебель. Когда ее обнаружили в магазине, старая, своя, вдруг показалась такой неказистой, такой постыдно безвкусной, что супруги сон потеряли. А однажды жена, к несчастью, увлеклась чешским хрусталем. Это увлечение пришло в дом от каких-то министерских подруг. Опять неизбежные, вынужденные расходы...

Но вот появился еще один ребенок, девочка. Затем еще один, третий, — опять девочка. О третьих родах жена Никиты Петровича, Алла Сергеевна, и думать не хотела. Она боялась, что это станет концом ее личной жизни, ее молодости. А личную жизнь Алла Сергеевна ценить умела. Но сделать ничего уже было нельзя, она опоздала, и третий ребенок, дочка Светлана, появился. Хозяйских забот по дому становилось все больше. Полагаться во всем на домработницу или няню Алла Сергеевна не могла, самой же заниматься только хозяйством и детьми не хотелось — это значило навсегда лишить себя личной жизни. В доме нужен был еще один свой человек. Алла Сергеевна попробовала залучить к себе младшую сестру, но та сдуру поступила в институт. Оставался один выход — бабушка.

Детям потребовалась бабушка.

Дети и впрямь стали время от времени поговаривать о том, почему у многих есть бабушки, а у них ее нет. Начал подумывать об этом и Никита Петрович. Но особенно остро почувствовала нужду в бабушке сама Алла Сергеевна, она же первая настойчиво стала напоминать мужу о его давней сыновней любви к своей матери.

— Зови ее к нам, Ника, да не в гости, а совсем. Ты давно об этом мечтаешь! Мы обязаны позаботиться о ее старости.

Матрена Савельевна не заставила долго себя ждать, собрала котомочку и пешком осилила волок до железной дороги, километров в сотню. На станции выстояла двадцатичасовую очередь за билетом, добрые люди составили телеграмму для сына, она послала ее, затем сутки просидела, не разгибаясь, в переполненном и душном бесплацкартном вагоне — и, наконец, вот она в Москве, впервые в жизни.

На вокзале Никита Петрович долго бегал вдоль поезда от вагона к вагону, прежде чем разглядел свою мать.

Бегал — это, конечно, неточно. Даже очень волнуясь перед предстоящей встречей и нервничая от того, что в этой сутолоке был риск совсем не встретить старушку, он все-таки ходил, а не бегал; правда, ходил крупным шагом, то и дело озираясь по сторонам, крутясь и неестественно вытягивая шею, хотя он и без того был на голову выше людей, но достоинства своего не терял и не забывал, даже при этих необычных обстоятельствах, кто́ он таков есть.

— Прошу, прошу! — говорил он низким, полным спокойного превосходства голосом, раздвигая толпы обнимающихся и целующихся людей, и перед ним покорно расступались.

На Никите Петровиче было темно-серое габардиновое пальто-реглан, мягкая, такая же темно-серая заграничная шляпа, ярко-желтые чехословацкие, ни разу еще не чищенные ботинки; белый шелковый шарфик выскальзывал из-под пальто, и концы его развевались от быстрой ходьбы; Никита Петрович часто заправлял шарфик, но в спешке делал это не очень аккуратно, и шарф выбивался снова на грудь.

На вид Никите Петровичу было лет сорок пять; лицо свежее, чистое, здоровое; конечно — никаких усов, никакой бороды; на пышных висках проступала небольшая седина, но она не старила его, а красила. Если бы Никита Петрович держался менее строго, не так солидно ступал, говорил без нарочито замедленной важности, если бы в нем сохранилось побольше непосредственности, он, конечно бы, выглядел значительно моложе своих настоящих лет.

Матрена Савельевна сразу заметила его, но не сразу узнала, вернее, не сразу решилась узнать. В памяти ее и на фотоснимках он был гораздо проще, и моложе, и не такой красивый. Неужели этот высоченный, раза в полтора выше ее, обходительный и нарядный гражданин и есть ее Микитушка? Окликни его — а вдруг ошибешься, неловко ведь.

Матрена Савельевна как остановилась у фонарного столба, выйдя из вагона с мешком за плечами, так и стояла не двигаясь. Стояла, следила за Никитой Петровичем и гадала: он или не он?

Наконец сын увидел ее, остановился, узнал:

— Где ты, мама?

— Вот я, Микита Петрович, вот! — сорвавшимся голосом чуть слышно отозвалась старушка и сразу расплакалась, еще не успев ни обнять, ни поцеловать его.

Она была маленькая, как девочка, в суконном пальто, из под которого виднелся подол старинного домотканого деревенского сарафáна, напомнившего ему далекие родные места, бесконечные лесные волока, заливные сенокосы, милое, буйное детство — полуголодное, неласковое, а все-таки всегда милое, милое. А лицо-то у мамы худенькое, все в морщинках, щеки-то впалые, а глаза-то печальные, испуганные и мокрые, всегда мокрые!

На какое-то время Никита Петрович забыл и о своем шарфике, концы которого опять бились на груди, и о своем возрасте, о своем общественном положении и о том, что кругом люди, которые всегда на него смотрят. Он просто кинулся к маме, наклонился над ней, взял ее голову в свои руки, притиснул к груди, целовал ее в лоб, в ситцевый платочек, в мешок за спиной и ничего не говорил.

— Встаньте в сторонку, пожалуйста! — буркнул кто-то на ходу, кажется, носильщик.

Никита Петрович не услышал этих слов. Он прижал к своему лицу руку матери — грубую, шероховатую, словно с зазубринами, с тонкими костлявыми пальцами, руку, которая его много раз шлепала, била, трепала за вихры, но это была рука его матери.

— Простите, пожалуйста! — это опять носильщик, обвешанный чемоданами, узлами.

На этот раз Никита Петрович услышал, вскинулся обиженно, словно его посмели оскорбить, и... заправил концы шелкового шарфа за отвороты пальто.

— Ну пошли, мама. Как ты доехала? Устала, наверно? Сними свою котомку, давай ее сюда.

Он взял котомку и, небрежно размахивая ею, повел Матрену Савельевну к выходу в город, то и дело останавливаясь и привычно пропуская ее, как женщину, вперед.

— Нас ждет ЗИМ. Ты знаешь, что такое ЗИМ? А это здание видишь? Это небоскреб. У нас их зовут недоскребами... Как тебе нравится? Хорош дом, правда? Там гостиница. Ты знаешь, что такое гостиница?

Никита Петрович говорил беспрерывно, засыпáл мать разными вопросами, не ожидая ответов на них, и она молчала, довольная, что можно слушать и ничего не говорить.

На стоянке автомашин их встретил шофер, услужливо подхватил у Никиты Петровича мешок, сказал Матрене Савельевне: «Здравствуйте, мамаша!» — и побежал вперед к сверкающему автомобилю.

— Кто это? — настороженно спросила Матрена Савельевна и заторопилась за ним. — Мешок-то...

— Не бойся, мама, это мой шофер! — успокоил ее сын.

Водитель открыл заднюю дверцу ЗИМа, в которой отразился, как в зеркале, шпиль высотной гостиницы.

— Пожалуйста, Матрена Савельевна!

«Ишь ты, имя мое знает!» — отметила про себя Матрена Савельевна и долго вытирала ноги об асфальт, прежде чем забраться в машину.

Никита Петрович сел впереди и приказал:

— Поездим по Москве. Давайте к университету, на Ленинские горы.

Они двинулись по Садовому кольцу.

На повороте Никита Петрович показал матери министерский дом, в котором он работает, пообещал, что как-нибудь при случае покатает ее на лифте и познакомит со своим кабинетом.

— Лифт есть и там, где я живу, но здесь особенный, непрерывно двигающийся, со множеством кабинок.

Матрену Савельевну очень пугал поток встречных автомашин, особенно когда они с остановок перед светофорами кидались сплошной лавиной прямо на них. Сын все время что-то рассказывал, просил посмотреть то направо, то налево, а она, вжимаясь в спинку сиденья, с ужасом ждала, что вот-вот произойдет столкновение, и шептала про себя: «О Господи!».

На Ленинских горах они вышли из автомобиля. Никита Петрович неизменно восхищался зданием университета, этим величествен-

ным творением ума и рабочих рук, и сейчас старался передать свое восхищение матери. Но Матрена Савельевна так измучилась, что уже ничего не воспринимала, ничему не удивлялась. Не удивилась она и тому, что шпиль университета оказался в облаках.

Никита Петрович помнил, что раньше в его деревне облако причислялось к явлениям божественным, старушки представляли облака в виде студня, и когда ранней весной находили кусочки священного студня в дождевых лужах (видимо, это была молодая лягушачья икра), то клали их в квашню, в хлебное тесто. Вспомнив об этом, он думал, что мать будет совершенно потрясена, убедившись, что облако — это почти то же, что туман, и что не всегда оно бывает на недостижимой высоте.

— Вот оно, облако, мама! Ты понимаешь, что дом выше облаков? — возбужденно спрашивал он.

Но Матрена Савельевна не была потрясена и этим.

— О Господи! — вздохнула она, задрав голову к небу, и заметно было, что она это говорит только потому, что надо же что-то ответить.

Не удивилась мать и Москве, которая проглядывалась с гор на десятки километров, и все-таки не было у нее ни конца ни края.

Матрена Савельевна чувствовала себя как во сне, и все, что сейчас переживала, представлялось ей как бы ненастоящим, неправдоподобным.

А Никита Петрович решил, что этого еще мало, что она еще недостаточно обрадована и надо ей сразу показать как можно больше всего.

— На Красную площадь! — приказал он водителю.

На Красной площади мать не вышла из машины, а только боязливо смотрела сквозь стекла по сторонам и повторяла:

— О Господи!

Тогда Никита Петрович повез ее на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. По пути, на улице Горького, затащил в большой, знаменитый на всю Москву гастроном, чтобы поразить обилием еды. Мать не сопротивлялась, но и не выражала никаких чувств.

Он купил бутылку коньяку, банку икры, немного колбасы, колбасного сыру, несколько лимонов и, как чудо из чудес, — граммов двести сыру рокфор, с плесенью.

— Хорош сыр, мама!

На сельхозвыставке он таскал ее около часа от павильона к павильону среди фонтанов и золоченых скульптурных фигур под оглушающую музыку, летящую из всех видимых и невидимых репродукторов.

— Вот она какая Москва, смотри, мама. А здесь все тебе родное, колхозное, все свое и все на виду.

Матрена Савельевна уже не могла произнести ни слова. Ошеломленная наглядностью богатства колхозной жизни, устрашенная маршами, подавленная смертельной усталостью, безучастная ко всему, натыкалась она на людей и мечтала только об одном: как бы живой добраться до машины.

В ЗИМе она забилась в угол и, вздохнув, попросила тихо, жалостливо:

— Поедем уж к твоим-то, Микита Петрович.

— Какой я тебе Никита Петрович? — расхохотался довольный сын. — Я твой сын, Никита. Отвыкла, что ли?

— Ну ладно. Микита так Микита. Только ты уж не обижайся.

— Может, еще взглянуть на что-нибудь хочешь?

— Поедем к твоим-то.

В квартиру сына Матрена Савельевна ступила робко, как в большое учреждение.

— Неужто здесь и живешь, Микита? Теперь мне как?.. — заволновалась она, когда машина остановилась перед подъездом многоэтажного нового дома.

— Чего — как? Познакомлю тебя со всеми, и все. Пошли!

Робость Матрены Савельевны росла по мере того, как они поднимались по широким ступенькам каменной лестницы к лифту, а потом на лифте — все выше и выше. Сердце ее совсем замерло, когда Никита Петрович остановился перед дверью с ящиком для корреспонденции и нажал белую кнопку звонка. Все для Матрены Савельевны здесь было незнакомо и непонятно, и чем непонятнее было все, тем она больше робела. Еще несколько минут назад сын казался человеком словно бы из чужого мира, а теперь не было никого ближе и надежнее его на всем белом свете, и она, как девочка, ухватилась за его рукав.

Но дверь открылась, надо входить, и мать переступила порог.

Чужая, непонятная, вроде старой барыни, женщина, открывшая дверь, бросилась ее обнимать.

— Здравствуй, мамочка! Раздевайся, пожалуйста.

На женщине был шелковый цветистый халат с какими-то невероятными по величине поблескивающими пуговицами.

«Сарафан-то какой!» — подумала Матрена Савельевна и ничего не ответила.

— Вот невестка твоя, мама, — Алла Сергеевна, моя жена! — сказал Никита Петрович и обнял их обеих сразу. — Знакомьтесь, привыкайте друг к другу.

«Невестка? Вот она какая? А ведь совсем на карточку свою не похожа», — продолжала думать Матрена Савельевна.

В деревне у нее в сутнóм углу, около божницы, висел не один фотоснимок сына и его жены, но там Алла Сергеевна была и проще, и не такая яркая. Правда, сын тоже ведь не похож на свою карточку.

В коридор из боковой двери вышли дети — девочка лет десяти, черноглазая, в коричневой школьной форме с черным фартуком, и другая, лет пяти, с озорной рожицей, — но, кажется, это был мальчик — в синих шерстяных штанишках на лямках, в мягких комнатных туфельках; за ними появился франтоватый молодой верзила в клетчатом костюме, в ботинках, плетенных в клетку, — весь клетчатый, но все-таки очень похожий на Микиту, на своего отца. Все трое молча, выжидающе остановились и внимательно разглядывали гостью, папину маму — интересно!

Какие они все тоже непонятные и чужие. Вот в деревне выскочит на тебя сорванец, в соплях, рубаха навыпуск, лоб в синяках, босые ноги в ссадинах, и — откуда он, чей? — кто знает, а только все в нем насквозь видно, никаких тебе секретов, и можно сказать заранее, что

он проделает в следующий миг, о чем закричит, куда бросится сломя голову. Никаких клеток на нем, все открыто, все на виду.

А тут внуки, и вот поди ж ты...

— Это ваша бабушка, дети! — громко сказала Алла Сергеевна.

Матрена Савельевна, не зная, что надо делать — руку ли подать внукам или земно поклониться им — смотрела на всех смущенно, словно просила прощения за то, что доводится им бабушкой, а сама думала, что ведь писали, будто у сына две девочки и один парень, а тут кажись, два паренька и одна девочка.

Все непонятно, загадочно, необъяснимо!

Между тем Алла Сергеевна продолжала:

— Это, мама, Эвир, кончает десятый класс, осенью должен поступить в институт; это — Нина, окончила третий класс, учится только на пятерки; а Светлана еще не учится, но также будет отличницей, она у нас последыш.

«Последыш? Заскребыш, значит? — думает Матрена Савельевна. — Рановато ручаешься, матушка, не по-нашему, все еще может случиться».

— Да раздевайся же, мама! — подступил Никита Петрович и снял с нее черное суконное, почти неношенное пальтишко, которое он сам когда-то — наверно, лет десять назад — привез ей в деревню. — Что ты будто онемела? Не робей, не к чужим приехала, а домой, к сыну своему.

— Проходи, мамочка, в столовую, — сказала ей Алла Сергеевна и приняла от шофера пакет с покупками. — Что это? — спросила она мужа.

— Вино и закуски по дороге купили, — ответил Никита Петрович.

— Зачем? У нас все приготовлено, все есть. Проходите в столовую.

Матрена Савельевна, еще не сказав ни слова, прошла за сыном в одну из комнат и опять про себя ахнула: «О Господи!»

В столовой она поначалу не увидела ничего — ни ковра на полу, ни картин на стенах, ни горки, полной хрусталя и слоников, ни телевизора — ничего, кроме круглого стола под люстрой, накрытого белоснежной скатертью и заставленного всякой едой и бутылками с вином.

— Садись, мама, за стол! — сказал Никита Петрович. — Теперь это будет твой дом.

Матрена Савельевна осторожно, чтоб не зацепить чего-нибудь, опустилась на краешек стула, но сын перевел ее на другое место — усадил в большое мягкое кресло, в котором старушка почти утонула, и над столом стала видна только ее неподвижная голова в пестреньком ситцевом платочке.

Внимание растрогало Матрену Савельевну, и она произнесла, наконец, первые слова:

— Спасибо, Микита. Сам-то садись!

За стол уселись всей семьей. Эвир — справа от отца, девочки (все-таки и младшая оказалась девочкой) — между матерью и бабушкой. Не садилась только домработница Фаина, молоденькая, бойкая, очень милая, но с каким-то печальным, неулыбающимся взглядом чуть выпуклых глаз. Должно быть, в детстве Фаина переболела оспой, и на лице ее остались еле видимые следы. Сильно заметна была лишь

одна глубокая ямочка на самом кончике носа, но и она не портила лица, а придавала ему особую миловидность.

«Казачиха, видно, батрачка», — по-своему определила Матрена Савельевна ее положение в доме сына.

Фаина то и дело приносила с кухни новые блюда.

Никита Петрович сам налил граненые хрустальные бокалы — коньяку себе, матери и сыну, жене — вина из особой бутылки, девочкам по рюмке вишневой воды.

— Ну, мама, — обратился он к гостье, — с приездом. Будь здорова и счастлива в нашем доме. Хозяйство у нас большое, живем по-новому, обстоятельно. Приглядывайся, будь за старшую. Дети, любите вашу бабушку!

И он выпил первый — привычно, не морщась, одним глотком.

Матрена Савельевна дрожащей рукой взяла бокал и поджала губы, словно приготовилась к чему-то небывалому, еще неизведанному в жизни. Пила она медленно, мелкими глотками, а когда выпила все до капли — удивленно взглянула на всех и сказала:

— Тоже горькое!

Она почувствовала некоторое облегчение от того, что вино, хотя и красное, оказалось, вопреки ее ожиданиям, крепким и горьким, как самая обыкновенная водка. Открытие это придало ей смелость: значит, не все в доме сына чужое и незнакомое. Водка — она всегда водка, как ее ни подкрашивай.

И вероятно, поэтому, а может, еще и потому, что коньяк быстро оказал свое действие, Матрена Савельевна начала понемногу отходить, оживляться.

Она похвалила малосольные огурчики и хлеб, при этом сказала:

— А у нас хлебушко все еще с мякиной запекают, не в каждом доме, конечно! — Заметив белый хлеб, она поразилась: — Белый! Давно я его не видала, — и, взяв кусок белого хлеба в руки — мягкий, пышный, с маком, — сжимала его, нюхала и радовалась: — Как дышит... а корочка-то розовая!

Затем она потрогала пальцем лезвие мельхиорового ножа, сказала:

— Серебряный, а не шибко-то остёр!

От рокфора она брезгливо отказалась, даже попробовать хоть крошку на зубок не взяла и на все уговоры и разъяснения сына, что это не простая плесень, а вроде как бы пенициллин, ответила твердо:

— Конечно, жизнь в колхозе никудышная, но до плесени мы еще не дошли, не придурковатые!

Понравилось ей, что за многими диковинными названиями скрывалось самое простое и знакомое ей. Вот сказали, что на обед будет суп-пюре, суфле из судака и мусс клюквенный. А пюре-то оказалось гороховым супом, и ничем больше. Осторожно ковырнула она вилкой суфле, попробовала и даже улыбнулась — не проведешь, дескать, рыба она рыба и есть. И чего голову морочат? Только мусс обманул Матрену Савельевну: думала, будет кисель, ан нет — студень, а попробовала — и на студень не похож, разве что дрожит...

За столом все ухаживали за Матреной Савельевной. Ей первой Никита Петрович наливал вино, Фаина первой подавала блюда, Алла Сергеевна положила для нее полотняную салфетку, хотя все осталь-

ные пользовались салфетками бумажными; правда, Матрена Савельевна не притронулась ни к какой. Наконец, Эвир отказался в пользу бабушки от последней рюмки коньяка:

— Выпей, бабка, за мое здоровье, ты совсем не пьяная.

— Это невероятно! — восхитилась Алла Сергеевна. — Чтобы Эвирик отдал кому-нибудь свою рюмку? Это же геройство! Мама, ты его покорила.

— Геройство геройством, — заметил отец, — а бабушку, Эвир, надо называть бабушкой, а не бабкой.

— Спасибо, внучек, — поклонилась Матрена Савельевна Эвиру, — я выпью. А что это за Эвир такой? Имя-то какое выдумали, нехристи.

Эвир криво ухмыльнулся:

— Отец мне такое имя выдумал, бабушка. Эвир — это «эпоха войн и революций». Дружки проходу не дают: «Выпьем за эпоху!..». Умирать буду — не забуду!

— Папин сынок! — кивнула на него бабушке Алла Сергеевна.

— Ладно! — огрызнулся Эвир. — Я уже сказал: пока отец не станет министром или, на худой конец, заместителем, не называйте меня папиным сынком.

Девочки поглядывали на бабушку с удовольствием и доброжелательностью. Казалось, что они уже успели свыкнуться с ней. Все в ней было для них понятно и просто, все доступно и легко объяснимо. Нина решила, что ждала именно такую бабушку, что именно такую всегда ее себе представляла. А Светлана шепнула матери, что никаких иных бабушек вообще не бывает на свете.

После обеда Алла Сергеевна сняла праздничный шелковый халат и надела попроще, домашний.

— Мамочка, ты, может быть, отдохнуть желаешь? — спросила она Матрену Савельевну.

— Поспать?

— Может быть, и заснешь?

— Нет, не засну. Вы мне лучше квартиру свою покажите, да, может, помочь надо в чем-нибудь по хозяйству?

— Помогать, мамочка, не надо, у нас Фаня справляется со всем. А квартиру покажу.

Показывать матери квартиру вызвался и Никита Петрович.

— С чего начнем? — поднялся он со стула. — Это вот столовая, с нее и начнем. Квартира у нас, мама, небольшая, только три комнаты и кухня.

— И ванная, — добавила Светлана.

— Ну, и ванная, вместо бани вашей.

— И уборная! — съязвил Эвир.

— В столовой обедают, — продолжал Никита Петрович, — принимают гостей, если нет особой гостиной. В серванте — вот он! — хранится посуда, сервизы, внизу — скатерти, салфетки и... Что там еще, Алла?

— Да все можно хранить, любые ценные вещи, — ответила Алла Сергеевна.

— Кроме вил и граблей, — добавил Эвир.

— Перестань, Эвир! — прикрикнула Алла Сергеевна.

— А это, мама, называется горка. В ней обычно лежат для украшения разные фарфоровые безделушки, китайские костяные шары, хру-

сталь. «Ценные вещи», — как говорит Алла. У нас больше чехословацкий хрусталь, это Аллина любовь.

Матрена Савельевна слушала внимательно, но думала о другом. Она до сих пор не могла уразуметь, как ей называть свою невестку. Что это за имя — Алла? Может быть, то же, что Эвир — эпоха?.. А сейчас прислушалась к голосу сына и вдруг поняла: Алла — это Аля, Аля — Алевтина, очень просто. Так же как пюре — это гороховый суп, а суфле — рыба.

И с этого часа она стала называть Аллу Сергеевну Алей.

— Это, мама, телевизор, — объяснял Никита Петрович. — Вечером ты будешь смотреть кино.

«Значит, телевизор — это кино, маленькое домашнее кино», — решила Матрена Савельевна, и телевизор стал ей близок и понятен: в кино она бывала много раз. Много позднее, когда она увидела по телевизору самого Никиту Петровича и прослушала его выступление, домашнее кино превратилось для нее в чудо.

— Теперь перейдем в мой кабинет.

Здесь были шкафы с книгами, письменный стол, кресла , кушетка под ковром, ковер на полу, портреты на стенах.

В третьей комнате, в детской, Никита Петрович обратил особое внимание матери не на мебель, не на письменные столики, за которыми готовили уроки Эвир и Нина, не на диваны, которые на ночь превращались в постели, а на домашнюю аптечку в чудесном резном висячем теремке и на содержимое огромного шифоньера.

— Это Аллино богатство, — сказал он и показал на костюмы, меха, платья.

Матрена Савельевна смотрела на роскошные туалеты своей невестки довольно безучастно, так, по крайней мере, показалось Алле Сергеевне.

— Ну что тебе еще показать?

Эвир, который вместе с сестрами также ходил из комнаты в комнату и нередко подтрунивал над взрослыми, напомнил:

— Не показали динамики для радиотрансляции, патефон и пианино, сервировочный столик в столовой с маминими помадами, магнитофон в кабинете отца.

— Магнитофон, да! — сказал Никита Петрович, и все вернулись в его кабинет.

Ознакомление с магнитофоном, запись и прослушивание заняли около получаса. Матрена Савельевна ничего о магнитофоне не сказала, похоже было, что он представился ей никому не нужной забавой.

— Что это у вас куклы везде валяются? Нехорошо! — вдруг, словно бы ни с того ни с сего, заметила она.

Алла Сергеевна снова поразилась, как спокойно проходила бабушка мимо подлинных диковинок, будто не видела их, и удивлялась и радовалась совершенно простым, давно знакомым ей бытовым вещам.

— Кухню-то покажите! — попросила мать, когда Никита Петрович выключил магнитофон.

На кухне она почувствовала себя свободно, как дома. Здесь все для нее было понятно, кроме, пожалуй, газовой плиты, и все вызывало живой интерес. Понятен утюг, а то, что он электрический, — умилило Матрену Савельевну. Понятны водопровод, мусоропровод, мя-

сорубка, кофейная мельница и даже холодильник. Фаина показала ей чудо-печку, утятницу, набор кастрюль и сковородок, ножи, вилки.

Матрена Савельевна несколько раз открывала и закрывала кран водопровода, попробовала воду на вкус и наконец сказала:

— Ничего, жить у вас можно.

Так она начала жить в доме сына.

Телевизор Матрену Савельевну не удивлял до тех пор, пока она не увидела на экране своего сынка, Никиту Петровича, который рассказал для работников сельского хозяйства, как должен быть организован труд в колхозах. До этого она считала телевизор просто маленьким кино, и только. Слыхано ли дело, чтобы в кино вдруг показывали знакомых людей. А тут, поди ж ты, сам Микитушка, вот он, рядом, — чудо!

Матрена Савельевна не сразу сосредоточилась, но, когда это ей удалось, внимательно прослушала все, что говорил Никита Петрович о распределении колхозной рабочей силы по объектам, особенно во время уборочной кампании, и буркнула будто про себя:

— Ишь ты, учит! А ведь ничего уж, видно, не помнит и не разбирается в нашем деле. Да и немудрено, давно дома-то не бывал. Разве он нашу жизнь знать может?!

На это Алла Сергеевна заметила с некоторой обидой:

— Ты ошибаешься, мамочка. Ника считается здесь большим специалистом по сельскому хозяйству. Правда, я не вижу смысла в том, что он выступает по телевизору для горожан.

— Как это я ошибаюсь? — возразила Матрена Савельевна.

Никита Петрович вернулся с телецентра, как с кремлевского банкета, — возбужденный и безгранично довольный собой. Девочки открыли ему дверь и бросились на шею:

— Папочка, мы тебя видели!

И стали наперебой рассказывать, какой он, как он хорошо говорил — очень громко, авторитетно и совершенно, ну совершенно своим голосом.

Старшая, Нина, передавала подробности:

— У тебя галстук выбился из-под пиджака, и мне очень хотелось его поправить. Но ты догадался сам, убрал галстук и вдруг стал строгий-строгий.

— Папочка, а кому ты пальцем грозил? — спрашивала четырехлетняя Светлана. — Ты нас тоже видел?

Алла Сергеевна принесла мужу пижаму, а пиджак с его плеча, новенький, голубоватый, с искрой, повесила в шкаф и только после этого высказала свое суждение:

— Хорошо, Ника, говорил и все правильно, только в следующий раз не приглаживай так сильно волосы, не прилизывай, а то на экране получается, будто у тебя лысина. И почему-то левый висок совершенно светлый, белый, будто уж совсем, совсем седой, а правый, наоборот, совершенно черный, никакой седины нет.

— Это от освещения. Там такие анафемские свечи горят кругом, жара, и не знаешь, куда глаза девать.

Никита Петрович ждал, что скажет мать, это его интересовало больше всего. Но Матрена Савельевна молчала, и он, наконец, не выдержал, спросил:

— Ну, видела меня, мама? Что скажешь?

— Видела, — неторопливо ответила старушка. — Неужели это сам ты был?

Все засмеялись. Особенно весело смеялся Никита Петрович:

— Сам, сам, мамочка, собственной персоной. Разве не похож? Изменился я?

Тогда Матрена Савельевна сказала еще:

— Вот послушай, как от нас рабочая сила уходит. Первое дело, надо получить паспорт. А как его получишь — не дают. Только ведь начальники хитрые, а народ еще хитрее. Придет, скажем, к человеку немочь, заболеет он, ну, говорят, ему повезло. Везут того человека в город, в больницу. А в больницу без паспорта не кладут. Выписывают паспорт. Поправится человек, а у него уже паспорт в кармане, и везде ему дорога. Второе дело — посылают человека куда-нибудь в командировку, задание дают. Опять без паспорта нельзя. Конечно, он выполнит что следует и в ножки поклонится. Третье дело — армия. Послужил парень в армии, вышел ему срок, дают бумагу, так, мол, и так. А по этой бумаге он паспорт везде получит. И в колхоз только деньги из жалованья родителям посылает.

Начальство догадалось. Теперь в больницу попадать трудно стало, разве что смерть к горлу подступит. А командировки совсем закрывают, на лесозаготовки по списку отправлять начали. Вот как, сынок! В деревне нашей одни старики остаются, половину домов на дрова сожгли либо окна досками забили. Распределяй рабочую силу.

Никита Петрович помрачнел, задумался.

— Слыхал я про это, мама. Нехорошо получается.

— Да уж куда хуже.

— Несознательный народ.

— Да уж что говорить — хитрый.

Алла Сергеевна почувствовала в этих словах тоску и решила успокоить свекровь:

— Ты об этом больше не думай, мамочка. Твоя жизнь теперь изменилась, у нас тебе хорошо.

— Я не жалуюсь, — вздохнула старушка, — да ведь и там люди свои, жалко...

— Надо бы маму почаще в город вывозить, в магазины, еще куда-нибудь, ей веселее будет, — посоветовал Никита Петрович, обратившись к жене.

— Пожалуйста, — охотно согласилась Алла Сергеевна. — В магазины хоть сегодня.

— Ты, Микита, хотел мне метро показать, — напомнила Матрена Савельевна.

— Метро? Это Алла покажет. Я в метро не езжу.

До замужества Алла Сергеевна работала чертежницей в мастерской по проектированию сельского и колхозного строительства. По окончании техникума она могла поступить в архитектурный институт, чего ей многие желали, имея в виду ее ум и незаурядные способности, но она не захотела, потому что, кроме ума и незаурядных способностей, обладала незаурядной красотой. А красивой женщине Бог дает ум не для того, чтобы бесконечно учиться, а для того, чтобы с умом выйти замуж, — это отлично знала молодая Аллочка, Алиса,

Лисочка, как ее звали еще в техникуме. Тем более что учись не учись, а выйдешь замуж — все равно работать не придется. Да неизвестно еще, и удастся ли дотянуть до конца института: видные женихи долго ждать не любят.

Никита Петрович Круглов появился в архитектурной мастерской, где работала Лисочка, в качестве представителя заказчика. Уже одно это ставило его в положение видного жениха, и она заторопилась. К сожалению, Круглов не оказался видным женихом, он тогда еще не работал в министерстве, Лисочка просчиталась, но ошибку исправлять было уже поздно, родился ребенок. Потребовалось закрепиться хотя бы на занятом рубеже и добиться при сложившейся обстановке наибольших успехов.

Никита Круглов попытался ретироваться, уйти от брака, ссылаясь на отсутствие квартиры и материальные трудности. Тогда Алиса написала несколько гневных и слезных заявлений в разные инстанции, и Круглов сдался, испугавшись обвинения в моральном разложении.

После этого Алла Сергеевна делала все возможное, чтобы помочь мужу занять положение ответственного работника. Немалое содействие в этом оказал ей Викентий Федорович, старый начальник главка крупного министерства, ее недавний приятель.

Брачную партию свою Алла Сергеевна не считала удачной и победой над Кругловым никогда не гордилась, он в ее представлении был человеком неудачливым, неловким, недобычливым, чрезмерно увлекающимся, а потому не очень умным. В устроении жизни она решила полагаться главным образом на себя. Средства — известные, женские.

Заблуждаются те, кто думает, что красивая жена ответственного работника томится от вынужденного безделья. Любой день Аллы Сергеевны был предельно заполнен.

И это не потому, что у нее по неосторожности оказалось трое детей. Дети отнимали времени немного: она их не то что не любила, а просто не занималась ими.

Алле Сергеевне всегда везло с домработницами, с нянями. Их надо уметь находить и выбирать. Она выбирала из таких, которые были ей чем-то обязаны, которых нужно было предварительно от чего-нибудь спасти. Так, одной молодой девушке, сбежавшей из дому и находившейся на грани самоубийства, Алла Сергеевна устроила подпольный аборт. Другая готова была на много лет запродать свою душу только за то, чтобы получить московскую прописку. Алла Сергеевна прописала ее и стала не просто хозяйкой, а благодетельницей. Так на прислугу можно больше положиться.

Домработницы в доме Кругловой несли на себе все обязанности по хозяйству и вырастили ее детей. Сама Алла Сергеевна в детской комнате спать не любила, и, если ночью ребенок начинал плакать, она кричала на няню: «Что у вас там? Отдохнуть не даете!» Нелегких материнских забот она хватила лишь с первым ребенком, с Эвиром, когда у них еще не было квартиры, а была одна небольшая комната. Грудью своей она кормила также только Эвира, и то не больше двух месяцев. Материнское молоко для Нины и Светланы покупали няни в детской консультации. Алла Сергеевна боялась испортить фигуру. Дочка Светлана появилась на свет лишь потому, что старый подпольный абортарий, знакомый Алле

Сергеевне, был ликвидирован милицией, а нового найти в срок она не сумела.

Домработницы у Кругловой крутились без отдыха и почти без выходных, за это она, кроме зарплаты, покупала для них подарки по праздникам.

— Разве у меня домработница? — говорила Алла Сергеевна при случае гостям и знакомым. — Она у меня домоуправительница. Я же сама не хозяйничаю, она хозяйка, я ей служу. Но зато она — член семьи. Она — у себя дома.

Правда, это не мешало Алле Сергеевне незамедлительно избавляться от «члена семьи», если появлялись на то причины или находилась на примете другая, более подходящая кандидатура.

Последняя домоуправительница, Фаина, оказалась наиболее ценным из всех предыдущих приобретением Аллы Сергеевны. Она нашла ее случайно в одном из подмосковных домов отдыха, в семье завхоза.

Завхоз приютил Фаину «из жалости», потому что ее под Москвой нигде не прописывали, а девушка хотела жить только вблизи своей старшей сестры, работавшей в доме отдыха официанткой. Оказавшись на нелегальном положении, Фаина служила семье предприимчивого завхоза верой и правдой, была у них, как говорится, «и швец, и жнец, и в дуду игрец». Не прописывали ж Фаину потому, что во время Отечественной войны она жила на оккупированной территории. В сорок первом году восьмилетняя Фаня на время летних каникул была отправлена в гости к бабушке в Смоленскую область и вынуждена была прогостить у бабушки до возвращения советских войск.

Вина ее была невелика, и завхоз обещал, что в ближайшую предвыборную кампанию, когда оформлять прописку становится легче, он обязательно осчастливит ее.

По возвращении из оккупации Фаня окончила в своей деревне семилетку, но оставаться там больше не могла, потому что умерла мать, все родственники разъехались по разным городам и новостройкам — отец погиб еще раньше, на фронте, — и в колхозе ей просто не у кого было жить. Ближе всех находилась старшая сестра, теперь единственная ее подруга, и она приехала к сестре.

Алла Сергеевна сначала разузнала о Фаине все, что можно было узнать от людей, встречавшихся с ней и сочувствовавших ее судьбе. Отзывы были самые хорошие: толковая, скромная девушка, безотказная в работе и умеет себя блюсти.

Ночной сторож, решивший, что отдыхающая интересуется Фаиной как невестой, авторитетно порекомендовал:

— Берите и не думайте, не прогадаете, она за всю жизнь ни одной мухе сесть на вас не позволит.

Затем Алла Сергеевна познакомилась с сестрой Фаины, официанткой, и намекнула ей, что, кажется, завхоз и в мыслях не держит выполнять свои обещания; куда же он пропишет Фаню, на какой площади, ведь он сам занимает не жактовскую квартиру, а казенную: пока служит — живет, выгонят — выселят.

Разговор с самой Фаиной был уже недолгий. Девушка мечтала устроиться как-нибудь хотя бы под Москвой, а тут предлагают переехать сразу в столицу на все готовое и с хорошей зарплатой и даже паспорт московский дадут.

Алле Сергеевне девушка понравилась сразу: миловидная, краснеет, теряется.

— Работы у меня много, Фанечка, — сказала она ей начистоту, — дочка Светлана совсем еще ребенок, за нею придется даже ночью ухаживать. Но вы будете жить у меня как дома, как член семьи. Поживете, сколько пожелаете, паспорт мы вам дадим московский — я думаю, конечно, вы будете благодарны, — а потом сама устрою вас куда-нибудь на производство или, скажем, в швейную мастерскую.

— Да что вы, да разве я не понимаю, — растерялась обрадованная Фаина. — Вы меня так осчастливили! Вы отнеслись ко мне как мать родная! Я всю жизнь буду с вами, пока не прогоните!..

— Ну вот и хорошо. Меня зовут Алла Сергеевна. Через три дня мы уедем. Приготовьте, что у вас есть, об остальном я позабочусь сама.

Благодаря самоотверженности Фаины Алла Сергеевна могла совершенно не заниматься ни кухней, ни детьми. Тем более что старшие — Эвир и Нина — с утра уходили в школу и не требовали к себе никакого внимания. А Светлана была устроена в группу к частной воспитательнице, учительнице-пенсионерке, живущей в этом же доме, и тоже с утра находилась в чужих руках.

Утро Аллы Сергеевны неизменно начиналось с продолжительного туалета. У нее было несколько халатов: один, роскошный, из китайского шелка с вышивкой, с большими перламутровыми пуговицами, — для курортов и для особых случаев, когда кто-нибудь неожиданно входил в квартиру. В этом халате встречала она Матрену

Савельевну и в нем же обедала при ней в первый раз после приезда; второй халат — обеденный, домашний, попроще, но тоже шелковый; третий — для ванны, махровый, теплый; четвертый — кухонный. Кухонными халатами обычно становились поношенные обеденные, поэтому их было несколько, разной степени износа.

С утра Алла Сергеевна надевала халат махровый и, выпив чашечку черного кофе, принимала прохладную хвойную ванну. Затем она устраивалась на низком пуфике перед раковиной и не меньше получаса плескала себе на лицо то горячей, то холодной водой поочередно, от чего кожа лица должна была становиться свежей и бархатистой.

Процедура эта была самой мучительной из всех и требовала большой внутренней сосредоточенности и терпения, но Алла Сергеевна считала, что она много потеряла из-за того, что родила троих детей, и потому выдержке ее не было предела.

Покончив с «обливанием живой и мертвой водой», как называлась эта операция, Алла Сергеевна переходила в столовую и садилась к туалетному зеркалу.

Отсутствие своей комнаты и трельяжа она переживала тяжело, но вышла из положения благодаря тому, что приспособила для себя стеклянный сервировочный столик.

В столике под стеклом и на столике находилось все необходимое для сохранения молодости и красоты. Тут были всевозможные кремы — миндальный, спермацетовый, ланолиновый, бархатный; пудры тонкотертые розовые и белые; бутылочка миндального молока, тушь для ресниц, лаки для ногтей; губные помады разных

цветов и в различном оформлении, в металлических и пластмассовых гильзах, — в основном рижские, несмываемые; набор туалетных инструментов — ножницы, ножички, пилочки, щипчики для выщипывания бровей, щетки для массирования лица и головы и так далее и тому подобное.

Конечно, все это было далеко от идеала, но что поделаешь: Москва не Париж. Пополнять свои запасы Алла Сергеевна умела через подруг и знакомых, через маникюрщиц и парикмахеров. Благодаря знакомствам она получала, например, кремы особого приготовления, по сто рублей за коробочку. Частный крем, без названия и рецепта, считался «ценною вещью», хотя, чем он был лучше стандартов ТЭЖЭ, она не знала.

Манипуляции перед зеркалом отнимали у Аллы Сергеевны в общей сложности не меньше часа. Но ведь давно уже сказано, что искусство требует жертв.

Час — это в обычный день. А бывают дни необычные.

Раз в месяц Алла Сергеевна уходит с утра в дамскую парикмахерскую. Там производится завивка, массаж, припарки, распарки, выпарки и прочее. Возвращается она из парикмахерской с закутанной головой, как из бани, в лучшем случае к обеду, когда Никита Петрович приходит с работы.

Время от времени она кладет себе на лицо питательные маски либо из яичных желтков, либо из белков, поочередно, и несколько часов лежит на диване почти не двигаясь. Яичная жижа, подсохнув, стягивает кожу лица, и Алла Сергеевна не может в эти часы ни разговаривать, ни улыбаться.

Смеяться она вообще не позволяет себе, особенно смеяться заливисто, с раскрытым ртом, потому что от такого смеха на лице могут появиться преждевременные морщины. Смех слишком большая роскошь для красивой жены ответственного работника. Алла Сергеевна по совету одной милой знакомой, артистки театра имени Станиславского, выработала для себя сдержанную, сухую, но обворожительную улыбку.

Утренний туалет завершался, когда в доме уже не было ни мужа, ни детей: Никита Петрович уезжал на работу, Эвир и Нина уходили в школу, а Светлана — в группу. Алла Сергеевна спала подолгу, потому что ложиться приходилось слишком поздно.

После завтрака, часов с одиннадцати, с двенадцати, в квартире начинал работать телефон. Звонили соседки по дому, вместе с которыми она брала уроки кройки и шитья. Разговоры были продолжительными и интересными: о новых модах на платья, костюмы и халаты, о выкройках, о выставках заграничных моделей летней одежды, а заодно — о кинокартинах и опереттах, о приезде зарубежных театральных трупп.

— Аллочка, родная, как вы себя чувствуете?

— Ах, это вы, Римма? Спасибо! Что новенького?

— Судя по рижскому журналу мод, мы все скоро будем ходить в брюках, и очень узких. Надо приготовиться!

— Надеюсь, вы мне покажете журнал. А может быть, уже есть готовые образцы?

— Ах, я с удовольствием забегу к вам.

Посещение курсов кройки и шитья волновало Аллу Сергеевну и доставляло ей удовольствие не потому, что она собиралась шить для

себя или для своей семьи сама, а потому, главным образом, что работа над выкройками напоминала ей о профессии чертежницы.

Если к шитью подходить как к творчеству, то любое платье требует не простой выкройки, а настоящего сложного чертежа.

Что за дом, если он построен пусть даже умело, но без предварительного проекта и множества чертежей! Составление архитектурных проектов, скажем, сельского клуба, или потребительского ларька, или колхозной чайной должно поглощать, по крайней мере, половину средств, отпущенных на строительство, — Алла Сергеевна знала это по опыту работы в архитектурно-планировочных мастерских. И потому любые выкройки платья или халата она вычерчивала по всем правилам искусства, тушью, с применением рейсшины и рейсфедера.

Правда, пошивку платьев для себя она продолжала заказывать профессиональной первоклассной портнихе, которая делала все на глазок и никогда не ошибалась. Ну и что из того?!

До увлечения кройкой и шитьем Алла Сергеевна страстно занималась автомобильным спортом. Вместе с другими женами ответственных работников министерства она окончила курсы водителей и после хорошо организованного банкета для экзаменационной комиссии ОРУДа получила любительские права на управление легковыми автомашинами.

Водить машину она тоже не стала, не научилась. Но в этом уже виноват был муж. Он счел, что нет необходимости покупать личную машину, когда в их распоряжении всегда находится министерская персональная «Победа». А шофер разрешил однажды Алле Сергеевне

сесть за руль и так напугался, что больше не соглашался рисковать своим служебным положением: она нажала на стартер при работающем моторе, затем тронулась с места, чуть не сорвав сцепление, и, наконец, уловчилась со второй передачи включить задний ход и вывела из строя коробку передач.

Сама Алла Сергеевна перепугалась не в меньшей степени, чем шофер, и на этом ее увлечение автомобильным спортом закончилось.

На смену ему пришел чехословацкий хрусталь, ежедневные поездки по магазинам. Последний вид спорта оказался особенно обременительным для Никиты Петровича, и он был счастлив, когда Алла Сергеевна переключилась под конец на кройку и шитье.

Чрезмерная перегрузка не позволяла Алле Сергеевне заниматься чтением. Единственная книга, которую она одолела меньше, чем за две недели, была «Дамское счастье». Остальные, даже Дюма, валялись на кушетках месяцами.

Алла Сергеевна имела обыкновение совершать набеги на центральный универмаг и комиссионные магазины не реже раза в неделю. Иногда приходилось выезжать и чаще, если от знакомых поступали важные сведения. Денежные средства для таких набегов составлялись из разных сумм, которые Никита Петрович получал сверх заработной платы. С годами и по мере продвижения его по службе эти дополнительные получки росли и теперь значительно превышали основную узаконенную зарплату.

Алла Сергеевна надела белое легкое пальто с голубым песцом, шляпку с каким-то пушистым хохолком и была очень хороша собой.

— Ты будто на престольный праздник нарядилась, — сказала ей Матрена Савельевна. — Либо к заутрени.

— Оденься и ты получше.

Матрена Савельевна надела все новое, что ей было куплено на днях...

ГУМ ее испугал и восхитил.

Испугал очередями. Задолго до открытия все прилегающие к нему переулки, вероятно, не на один километр в длину, были заполнены народом. В очередях стояли даже офицеры, полковники. «Приезжие, вроде рядовых!» — сказала про них Алла Сергеевна. Порядок в переулках устанавливала милиция — пешая и конная.

Восхитил — обилием товаров. Тут не только шерстяную шаль, а, наверно, даже иглу для швейной машины можно было купить.

— У нас в городе ничего нет, — шепнула Матрена Савельевна, тронув сноху за рукав. — А очереди такие же.

В очередь они не становились, выждали, когда откроется магазин и вся она постепенно вползет в распахнутые двери, словно длинная змея. Сквозь широкие боковые окна было видно, как люди, вырвавшись из дверей, потные, с вытаращенными глазами, некоторые с оборванными пуговицами на одежде, кидались в разные стороны и, определив нужное направление, бегом неслись в тот или иной конец.

Алла Сергеевна вошла в магазин, как хозяйка, когда толкучка улеглась, и, высоко вскинув красивую голову, двинулась на второй этаж в отдел дамской обуви.

— Мама, за мной! — скомандовала она Матрене Савельевне, и старушка, боясь отстать, но и не решаясь взять ее за руку, ничего не

видя перед собой, кроме желтой кожаной сумочки своей невестки, затопотала вверх по лестнице.

В обувной отдел пробиться было уже невозможно, очередь растянулась вдоль перил почти во всю длину этажа, и мужчин в ней стояло больше, чем женщин.

— О Господи, — вздохнула Матрена Савельевна. — Хоть чего дают-то?

— Становись сюда и жди меня! — приказала Алла Сергеевна. — Выбросили чехославацкие танкетки.

Сказала и исчезла.

«Танкетки? Какие такие танкетки? — тяжело соображала Матрена Савельевна. — Это, кажись, что-то военное? Для чего это ей? Ведь и так уже всего много, вся квартира заставлена товарами».

Матрену Савельевну толкали, передвигали с места на место, одни вежливо: «Прошу прощения!», «Извините, бабушка!», другие покрикивали на нее: «Ты-то зачем здесь, старуха, сама, что ли, носить будешь?» Кто-то хохотнул:

— Она перепродаст, а то корову на танкетки выменяет...

«Корову выменяет! — думала Матрена Савельевна. — Легкое это дело — корова. Говорит, а поди-ко и не знает, чего у нас корова стоит... А танкетки — это, значит, носить. Сапоги бы вот дочке послать. Осень скоро, грязища, ноги мерзнут. Хоть бы простые какие-нибудь, парусиновые. Да с галошами бы. А еще бы лучше шубенку ей какую-нибудь захудалую. Зятек получился необоротистый, недобытчивый, не то что Микитушка, начальника из него не выйдет».

Пока Матрена Савельевна размышляла о том о сем да сравнивала жизнь городскую с житьем-бытьем в своем далеком колхозе, о котором она ни на один день забыть не могла, появилась Алла Сергеевна, словно из-под земли выросла.

— Поехали, мама! — решительно взяла она ее за руку и вывела из очереди.

— Что, али раздумала? — спросила Матрена Савельевна.

— Поехали. Я уже взяла.

— Ишь ты как!.. Куда теперь?

— Поедем, там увидишь. Каков магазинчик-то, а?

— Наших бы баб сюда на денек! — мечтательно сказала Матрена Савельевна. — Понабрались бы, запаслись бы кое чем. У нас ведь так: и деньги заведутся, а ничего не купишь. Шибко уж далеко живем, не видно нас.

— Об этом тебе теперь думать нечего. Ты не деревенская теперь. Обижаться нечего.

— Да я не обижаюсь. Только какая уж я городская. Так, горе одно. Сама уехала, а душа все там, словно на нее паспорта не выдали. К тому же и грамоты не знаю, да теперь уж и не совладать с ней, если бы и захотела.

— И об этом нечего тосковать, — решительно сказала Алла Сергеевна.

На такси они доехали до большого комиссионного магазина. Там Матрена Савельевна засмотрелась на гармони, на баяны — в них для нее что-то было от родной деревни, знакомое.

Той порой Алла Сергеевна переворошила все, что имелось нового среди старинного фаянса, янтаря, инкрустированных шкатулок и разных костяных изделий, вывезенных из Китая.

Затем они побывали в ювелирном магазине. Здесь народу было мало, и Матрена Савельевна, освоившись, подошла к сверкающим прилавкам. Ей понравилось колечко с камушком.

— Покажи-ка, сынок! — попросила она продавца.

Тот вопросительно взглянул на Аллу Сергеевну, достал колечко и подал матери. При этом заметил:

— Оно не дешевое, мамаша.

Продавец, видимо, сообразил, что у старушки нет реального представления о бриллиантах.

— Знаю, что не дешевое. Да ведь не дороже денег, — твердо ответила Матрена Савельевна.

Должно быть, уверенность, с которой ее невестка бралась в магазинах за любую вещь, уверенность в том, что на свете нет ничего недоступного, передалась и ей. Взяв кольцо, Матрена Савельевна с явным удовольствием надела его на свой сухой прозрачный палец.

— Стеклышко-то какое светлое да чистое, будто слеза Богородицы. Вот бы дочке послать, пусть пофорсит, в девках-то не приходилось.

Припомнилось, как однажды, получив перевод на сто рублей от Никиты, она купила для дочери колечко за пятнадцать рублей. И до чего же та была рада-радешенька — прыгала, целоваться лезла. Посмотрела на нее Матрена Савельевна и деньги истраченные жалеть перестала. Сбежались подружки, примеряют колечко, одна просит поносить часик-два, другая просит на воскресенье. Добрая душа всем дает, все носят ее колечко по праздникам. Сама она ходит без колеч-

ка, а все равно счастлива: знает, что ее это колечко, да и все про это знают.

Только вот горе: не хватило, видно, у Матрены Савельевны соображения взять кольцо с запасом, на вырост, не додумалась она до этого. Прошел год, надевает дочка подарок, а пальцы от работы толстые стали, даже на мизинец колечко не лезет. Повздыхала дочка и упрятала его в сундучок — сберегу, говорит, для своей дочки. Так оно и лежит без пользы — детей Бог не дал. Уж продала бы, что ли...

Матрена Савельевна еще раз осматривает новое платиновое колечко с бриллиантом, вертит его так и сяк, примеряет на все пальцы, думает: «Не ошибиться бы и на этот раз. А это, кажись, не хуже того будет, поярче!» — и спрашивает продавца:

— Чего оно стоит-то?

— Две с половиной тысячи, мамаша.

— Я про колечко спрашиваю.

— Две с половиной тысячи.

Матрена Савельевна, кажется, даже побледнела. Трясущейся рукой осторожно сняла она кольцо с пальца, сказала: «Золотое оно, что ли?» — и отошла от прилавка.

Кольцо взяла посмотреть Алла Сергеевна.

— Мамочка, у тебя хороший вкус. Кольцо и вправду замечательное. Выпишите, пожалуйста! — обернулась она к продавцу.

Матрена Савельевна больше не говорила ни слова.

В последнем магазине, куда они зашли, Алла Сергеевна закупила тысячу швейных игл — простых и для машины — и пять коробок с кремешками для зажигалок.

— Это мамаше в деревню для подарков — показала она продавцу на Матрену Савельевну, хотя тот ни о чем не спрашивал и ни в чем ее не заподозрил.

Матрена Савельевна продолжала думать что-то свое о покупке кольца и на иголки и кремни и на эти слова не обратила внимания.

Домой ехали на метро окружным путем. Выходили из поезда на нескольких станциях, чтобы Матрена Савельевна могла полюбоваться подземными дворцами. Алла Сергеевна была в отличном настроении, водила ее под сияющими сводами из конца в конец, от одной скульптурной фигуры к другой, толковала о содержании мозаичных панно и о том, как они делаются, часто употребляла слова «чудо», «сказка», «как в сказке» — и хвасталась, хвасталась, будто все эти богатства принадлежали ей одной, для нее одной были созданы.

Матрена Савельевна ходила, смотрела, поднималась на эскалаторах, но опять словно бы ничего не воспринимала, ничему особенно не радовалась. Поразило ее, что здесь очень много свету, светло, как на улице, и что этот свет должен гореть и днем и ночью.

А думала она все о бриллиантовом колечке, купленном невесткой с такой легкостью, и видела перед собой родную деревеньку в северных лесах, колхоз «Путь Сталина» в ста километрах от железной дороги, темные избы с прогнившими крышами («в лесу живем — лесу на ремонт дома выпросить не можем»), видела сельмаг, в котором почти не бывает сахара, керосина, мыла, валенок, но зато всегда есть водка и книжки о минеральных удобрениях и травопольном севообороте; видела голопузых ребятишек у колодца, поля с неубранной картошкой, уходящие под снег, вспоминала о хлебоза-

готовках, льнозаготовках, мясозаготовках, молокозаготовках... Разглядывала Матрена Савельевна мозаичные картины — и каждый сверкающий золотом квадратик казался ей бриллиантовым колечком в две с половиной тысячи рублей.

«Господи, что же это такое? Откуда это? Какое же сын жалование получает?»

Два года назад Матрена Савельевна не смогла сдать государству пять десятков яиц, причитавшихся с ее хозяйства, — куры в том году передохли. Пришел налоговый инспектор, она перепугалась и бросилась пешком в райцентр, чтобы продать шаль, полученную от сына в подарок. Продала шаль за бесценок, купила на базаре пятьдесят яиц, да по дороге упала и разбила больше половины. Добрела до деревни и — прямо на птицеферму, потом к председателю: выручи, дай в долг. А колхоз сам закупал яйца на стороне, чтобы рассчитаться с заготовителями. Дала сыну телеграмму: вышли молнией семьдесят пять рублей. Что там случилось, может, телеграмма не дошла, может, что другое, только не выслал. Опять пришлось бежать в город на базар, выходить из положения. Уж она-то знает, как достаются трудовые рубли.

А тут две с половиной тысячи за одно колечко на розовый пальчик милой женушке!

В колхозе до войны был выстроен клуб, была читальня, показывали два раза в неделю кинокартины, ребята с девками сами спектакли ставили. Теперь в клубе ссыпной пункт Заготзерна, окна заколочены досками, парни по ночам ходят по улицам пьяные и дерут горло под тальянку. Каждую осень клубное здание доверху

засыпают рожью, а вывезти ее не могут, потому что дороги, разбитые грузовиками, стали непроходимы и непроезжи. За зиму неприкосновенный государственный хлеб успевает сгнить, откормленные мыши и крысы с пункта разбегаются по всему селу, их сторонятся даже кошки. Остатки хлеба весной из клуба выметают, и все списывается по акту, помещение готовят под новый урожай. А в это время колхозному скоту скармливают солому со всех крыш, колхозники — каждая семья на свой страх и риск — добывают себе хлеб, где могут. Председатель колхоза правдами и неправдами получает где-то семена, по ужасающей грязи доставляет их на поля, чтобы осенью снова неукоснительно в сжатые сроки выполнить первую колхозную заповедь.

Почему же ее невестка покупает кольца за две с половиной тысячи рублей? Откуда у сына такие деньги? Ладно ли это? Чистые ли они, деньги эти?

В деревне бабы идут на работу, нередко оставляя своих детей без присмотру, в яслях не хватает места для всех. Не выработаешь нормы трудодней — тебя могут исключить из колхоза, отлучить от земли, от общества. Да и о хлебе насущном думать надо.

А у невестки есть своя работница, батрачка, и сама она нигде не служит, только по магазинам ездит да муженька улещивает. Ладно ли это? Где мой сын берет такие деньги, Господи? Не случилось бы беды какой, не сбился ли он с пути праведного?

Матрена Савельевна вспомнила, что в сельпо совсем недавно опять заведующего посадили. Тоже был свой человек, из своей деревни. А начал жить на широкую ногу — откуда что берется: женка

вырядилась, ребятишки в костюмчиках, словно с картинки. И вот разнюхали-таки, добрались до корня, арестовали мужика.

Господи, что же будет с Микитушкой?

Вернулась домой Матрена Савельевна мрачная, раздевалась нехотя.

— Устала, мамочка? — ласково спрашивала ее Алла Сергеевна. — Или обиделась на что?

— На что я обиделась? Я не обижаюсь, — угрюмо ответила Матрена Савельевна.

И вспомнила про иглы и кремешки.

И стала думать про иглы. Зачем ей столько иголок? Для матери, говорит. А куда мне такую прорву? Не в деревню ли отправить меня задумала, с рук сбыть? Вот бы хорошо-то!..

Подъехал сын с работы, из высокого дома. Отпустил шофера, сел за стол.

— Что у нас сегодня на обед?

— Бульон с фрикадельками, рулет говяжий, бланманже, — защебетала, появившись с кухни, бойкая Фаина.

— Садись, мамочка, поедим, что Бог послал, — сказал Никита Петрович и засмеялся своей шутке. — Метро видела?

— Видела, — ответила мать.

— Понравилось?

— Понравилось, сынок, богато! Нам бы немножко золота, колхоз бы подняли.

— Не все сразу, мать. В богатстве этом и ваши трудовые копейки вложены, и ваш пот есть.

— Да уж потеем...

Никита Петрович опять засмеялся.

— А по магазинам шлындали?

— Что у тебя за слова появились, Ника? — вмешалась в разговор Алла Сергеевна. — Были мы в ГУМе, в ювелирном, в комиссионном, мамочке все нравится. Купили колечко с бриллиантиком, реставрированное. Хорошее, но дорогое. Не заругаешься?

— Покажи хоть.

— Купили еще иголок швейных тысячу штук да кремней для зажигалок, давно я хотела это сделать.

Матрена Савельевна решила сказать свое мнение об иголках:

— Для чего мне столько иголок, короб целый? Не торговать же ими в деревне, еще плохое что скажут про вас.

Алла Сергеевна удивилась:

— Что ты, мамочка, это не для тебя. Уж не подумала ли, что хотим тебя в деревню отправить? Эти иголки для нас для всех, на всякий случай.

Никита Петрович буркнул, насторожившись:

— Не понимаю! Что ты опять задумала?

— Я же тебе, Ника, рассказывала, что во время войны в тылу это был самый ходовой товар — на масло, на сало, на хлеб. Забыл, что ли?

Муж взглянул на нее недружелюбно:

— Значит, ты всерьез думаешь об этом, готовишься?

— Ты, что ли, об этом подумаешь! — в свою очередь зло, с вызовом, отрезала Алла Сергеевна.

Никита Петрович молча встал и ушел в свой кабинет, чтобы отдохнуть после обеда. Матрена Савельевна захотела смягчить разговор.

— Ты на него не сердись, Аля. Что поделаешь: наше дело бабье, он поилец и кормилец. Устает, поди-ко, на работе.

Алла Сергеевна вздохнула:

— Верно, бабье наше дело! Он устает, а я, видите ли, не устаю. Я не сержусь, мамочка! Скорей бы только дело наладилось. Ждем, мамочка, повышения, тогда легче будет.

— Или еще выше надо?

— Надо, мамочка. Вот дачи у нас еще нет.

— Какое же он жалованье получает?

— Не в жалованье дело, мама. Жалованье — чепуха. Важно, что за жалованьем стоит. Ему бы еще один шаг ступить — и будет у нас дача, будет ЗИМ, а не «Победа», будет квартира другая, поликлиника особая, курорты особые. Быт наладится, мы никаких забот не станем знать, вот что дорого! И о детях за нас подумают, для них — лагеря закрытого типа, путевки на дом будут приносить. А поедем мы куда-нибудь, в другой город, — там уже гостиница приготовлена, люкс нас ждет, пустует давно. За границу будем ездить...

Но Матрена Савельевна, видимо, думала о чем-то своем.

— Где он деньги-то такие берет, доченька? — настойчиво допытывалась она. — Ведь не по торговой части служит. На стороне где, что ли, еще подрабатывает?

— Ничего ты, видно, не понимаешь, мама. Деньги у него не ворованные, не бойся, с торговлей он не связан.

Никита Петрович позвонил домой, предупредил, что везет детям подарок. Нина и Светлана стояли у окна, ждали, когда подойдет машина.

Машина подошла. Шофер с трудом вытащил из «Победы» громоздкий фанерный ящик.

— Опять кукла, — разочарованно сказала Светлана.

Нина не согласилась:

— Таких больших кукол не бывает. Что-то другое.

— Тогда интересно.

Застрекотал лифт, словно подъемный кран. Хлопнула металлическая дверь.

— В столовую, в столовую! — командовал Никита Петрович, входя в квартиру. — Алла, мама, стол — в угол, лишние стулья долой! Сейчас начнем работать.

— Что это такое? — спросила Алла Сергеевна.

— Сейчас все увидите. Ковер убрать!

— А обедать когда?

— Обедать на кухне.

Захлопотали все. Отодвинули стол, горку. Фаина вынесла часть стульев в коридор, свернула ковер в трубку и уложила его вдоль стены. Девочки старались всем помогать и всем мешали.

Сын высокомерно стоял в стороне, смотрел на возню почти безучастно, но, когда открыли ящик, загорелись глаза и у него.

— Что это, папа? — спросила Нина.

— Не видишь — электрическая железная дорога! — тоном превосходства сказал Эвир.

На пол начали выкладывать перевязанные шпагатом секции рельсов, электровоз, вагоны, мост, станцию «Пионерская», будку с будочником, фонари, светофоры, электрокабель.

— Ника, пообедать надо, — просила Алла Сергеевна.

— Не могу. Обедайте без меня. Эвирик, помогай!

Обед не состоялся.

Никита Петрович снял сначала пиджак, потом переоделся совсем, лазил по полу в пижамном костюме и сам, согласно инструкции, собирал по частям всю железную дорогу. Он потел, пыхтел, волновался и радовался больше всех. Эвир также увлекся, но отец ревниво относился к каждому его шагу: как бы чего не испортил.

Не меньше часа прошло, прежде чем соединены были все рельсы и подключен кабель. Никита Петрович сам встал к реостату, легкий щелчек пульта управления — и загорелись фонари, светофоры, появился свет в станционной кассе, в вагонах поезда, и, что особенно важно, вспыхнула фара на электровозе.

— Ах! — вскрикнули в один голос девочки.

— О Господи! — не удержалась от восклицания и Матрена Савельевна.

У Никиты Петровича дрожали руки: а вдруг поезд не пойдет?! Казалось, он приготовился дать ход большому промышленному предприятию, пустить воду на лопасти турбин только что отстроенной гидростанции или открыть прямое сообщение между Москвой и Пекином. Торжество и тревога боролись в его сердце.

— Внимание! — по-мальчишески крикнул он. — Приготовиться всем! Пускаю!

Поезд пошел. Пошел сразу, свободно набирая скорость, постукивая на стыках рельсов, на стрелках, грохоча по мосту. Заработали светофоры, красный свет сменялся желтым, желтый — зеленым, перед станцией оглушительно заревела сирена, открылась дверца будки и вытолкнула стрелочника с зеленым покачивающимся фонариком в руке, начальник станции взмахнул флажком.

— Пошел! Пошел!

Никита Петрович переключил стрелки на малый круг. Поезд, слегка покачнувшись при резкой перемене направления, выправился и начал описывать кольцо за кольцом.

— Зашторьте окна! — распорядился Никита Петрович.

Он пока никому не доверял прикасаться к игрушке. Он играл сам и был счастлив. Перебегая от стрелок к реостату, от реостата к станции, он то выключал, то включал сигнал, переставлял фонари и светофоры, смотрел — как лучше.

Когда окна были наглухо зашторены от дневного света, освещение железной дороги стало особенно ярким.

В комнату пришла сказка.

Светлана носилась за поездом и боялась его, перескакивала через рельсы, хохотала, визжала.

— Ой, спасибо вам, товарищи!

В этом возгласе, казалось, вылилась вся ее душа.

— Папочка, родненький, дай мне, дай я! — умоляла Нина.

— Давай полный, папа, полный, черт возьми! — орал Эвир.

— Не трогайте ничего, ничего не трогайте! — горячился отец. — Только не испортите!

Матрена Савельевна с удивлением смотрела на своего разыгравшегося большого и умного сына и умилялась до слез: Господи, какой же он еще ребенок! Вот взять да и отшлепать, как в детстве, по тому месту: «Перестань шалить, мочи моей нет!..»

И ей стало вспоминаться многое из босоногого, сопливого детства Микитушки.

— Сколько же это стоит, Микита?

— Эх, мама, да сколько бы ни стоило! Разве можно такое чудо на деньги мерить! У меня раньше ничего не было, пусть хоть дети мои все имеют. Да и самому играть захотелось.

Никита Петрович вытирал пот с лица, а в глазах его сияли огоньки светофоров — зеленые, желтые, красные, брови разлохматились, на лоб опустилась ребячья наивная прядка. Он подобрел, помолодел от счастья, даже седина, казалось, исчезла с висков. Трудно было представить сейчас этого человека, такого непосредственного в своей радости, сидящим в большом кабинете за несокрушимым канцелярским столом, с несколькими телефонами, с целой планкой пластмассовых кнопок и изрекающим: «Сегодня не могу», «Я занят», «Я один — вас много»...

— Ты действительно как маленький, Ника, — капризным обличающим голосом заговорила Алла Сергеевна. — Можно подумать, что ты для себя купил эту железную дорогу. Угомонись же, наконец!

Никита Петрович весь встрепенулся.

— А что? И для себя купил! Разве я играл когда-нибудь? Какие у меня игрушки были, кроме спичечных коробков да костяных бабок?

И Никита Петрович так же, как мать, вспомнил о своем детстве, о юности, представил за какое-то мгновение весь свой жизненный путь.

Никита Петрович ухаживал за матерью как только мог. Ему хотелось как бы вознаградить ее за все лишения и горести, перенесенные за долгую и трудную жизнь.

Что она хорошего видала? В молодости пришлось ходить по чужим людям, батрачить, нередко голодать. Вышла замуж — опять оказалась в чужих людях. А когда стала сама себе хозяйка, забот только прибавилось. Куча детей, каждые два года — новые роды то на поле, то на сенокосе. В страдную пору вместе с мужем, с Петровым своим, затемно возвращались с работы. Он садится где-нибудь на лавке в избе или на крылечке покурить, покалякать с соседями насчет мировой буржуазии и ждет, когда жена приготовит ужин. А она покормит маленького грудью и торопится управиться по хозяйству, обряжает коров, поит парным молоком остальных ребятишек, укладывает всех на сеновале, кормит мужа и спать ложится последней. Утром, задолго до зари, все начиналось для нее сначала: доила коров, провожала их на выгон, топила печь и готовила еду для всех на целый день, потом уже будила детей и мужа, кормила их и опять вместе с мужем выходила на работу.

Когда она успевала сама поесть и отдохнуть — никто не знал, да никто и не задумывался над этим. Все шло так, как было заведено от века.

Не многое изменилось для нее и в колхозе. По-прежнему она оставалась ломовой лошадью. Разве только почести прибавилось: назвали ее в колхозе большой силой. А настоящей сытной жизни там, на севере, — Никита Петрович это знал, — колхозники еще не видали.

За войну мать поседела от горя и сгорбилась. Старость наступила быстро, почти незаметно.

Все понимал Никита Петрович и хотел так покоить старость своей матери-труженицы, чтобы каждый день она получала в его доме какую-нибудь радость.

Было и другое желание, но в нем он не признался бы и самому себе. Хотелось Никите Петровичу побахвалиться перед матерью, показать ей, что живет он на широкую ногу. Было самодовольство: смотри, мол, чего добился твой сын, каких высот достиг, куда вхож! А ведь в лаптях ходил твой Микитка! Смотри и гордись! И в деревню сообщи об этом, чтобы все знали: вот мы теперь какие! И пользуйся всеми благами, каких достиг твой сынок — сам, умом своим достиг! А если не верила ты в его ум, так покайся, что не верила.

Не говорил об этом Никита Петрович даже Алле Сергеевне, но та понимала мужа и тянулась за ним, во всем старалась угодить матери. Вместе они предупреждали ее желания и вместе огорчались, когда не видели у нее никаких особенных желаний.

Подойдет старушка к окну и смотрит, смотрит, и думает о чем-то, и вздыхает. Чего ей недостает, чего не хватает?

На улице идет дождь. Листья деревьев посветлели, зашелестели и, кажется, смеются, смеются до слез.

По асфальту потекли ручьи, серый асфальт стал черным и волнистым, как гофрированное железо. Вся улица — черная река. Кое-где развертываются зонтики, словно разноцветные паруса.

Смотрит мать, думает о чем-то и вдруг спросит:

— А куда здесь вода уходит?

От дома к дому перелетают под дождем голуби, садятся на края крыш, отряхиваются. Распушат перья на шее, словно зонтики раскроют. Мать залюбуется ими, вот-вот улыбнется и вдруг спросит:

— Ласточки у вас тоже есть?

Подойдут к ней девочки, заглянут в лицо, потом в окно — куда бабушка смотрит. Нина заинтересуется:

— Бабушка, ты чего видишь?

А бабушка ей со вздохом:

— Дождь этот, внученька, не ко времени. Сейчас рожь цветет, вёдро бы надо, да чтобы ветер не шебаршил сверх меры.

Вот и пойми ее!

Как-то Алла Сергеевна достала билеты для всей семьи на дневной балет. Побывала бабушка в Большом театре. В перерыве сидели в буфете, ели пирожные, пили шипучую воду. Бабушка все оглядывалась, словно боялась, что ее выгонят.

Вернулись домой, она молчит.

— Тебе понравился балет, мама? — спрашивает ее Никита Петрович.

— Шибко понравился. Хорошо петухи поют.

— А еще что?

— Зачем там все голые, Микита?

Даже девочки рассмеялись:

— Так надо, бабушка, чтобы легче танцевать.

Бабушка подумала и еще сказала:

— Что-то у них колечек много на руках. Да и на шее всего много. За какую это работу? Дорогое ведь все.

Однажды Алла Сергеевна сводила бабушку к зубному врачу. Тот предложил удалить ненужные корни и сделать протезы. Невестка посоветовалась с мужем.

— Может быть, на курорт ее послать, там заодно и зубы новые вставят? — предложил Никита Петрович.

Матрена Савельевна услышала, поняла, запротестовала:

— Я у вас и так на курорте. Чего еще надо старухе, спасибо за все!

Тогда Никита Петрович решил свозить ее в однодневный подмосковный дом отдыха. Нацелился на лучший, закрытого типа, куда и сам еще доступа не имел, но он верил в свою звезду. Пускай мать ахнет. А он все равно доберется скоро и до этих высот.

Походил Никита Петрович по начальству, рассказал о приезде старушки из далекого северного колхоза и неожиданно для себя получил разрешение съездить в дом отдыха со всей семьей, кроме няни.

Сборы были серьезные, долгие. Всю неделю Никита Петрович с женой только об этой поездке и говорили.

Особенно волновалась Алла Сергеевна, ей надо было не ошибиться с туалетами — утренним, обеденным, вечерним. Она понимала, что это первое появление чуть ли не в самом высшем свете многое значило не только для нее, но, главным образом, для ее мужа.

Накануне отъезда Алла Сергеевна исчезла на целый день в парикмахерской. Ей повезло: в кресле знаменитого дамского парикмахера застала она балерину Лепешинскую, которой в это время делали какую-то супермодную прическу по образцам последних кинокартин в стиле итальянского неореализма. Когда подошла очередь Аллы Сергеевны, она кивнула в сторону Лепешинской:

— Я подожду своего парикмахера.

Ждать ей пришлось около трех часов, но какое это было сладостное ожидание! Устроившись, наконец, в кресле, еще теплом, ´— теплом ка́ким-то особенным, закулисным, неподражаемым теплом театральной славы, — она торжественно произнесла:

— Сделайте, пожалуйста, со мною то же самое!

— Но у вас другие волосы, мадам...

— Сделайте то же самое, прошу вас!

Алла Сергеевна просидела в парикмахерской еще три часа и вернулась домой предельно измученная, с ломотой во всем теле и забинтованная, закутанная до глаз, словно получила ранение в голову. Но зато теперь она была спокойна за себя: она понесет в народ новую прическу.

Девочкам срочно купили новые летние платья.

Относительно того, во что одеть Матрену Савельевну, разгорелся спор. Никита Петрович предложил нарядить мать в праздничный северный сарафан, который она захватила с собой в котомочке.

— Это будет настоящий северный национальный костюм, пускай смотрят. Жаль только, что кокошника не привезла. У нас там старые женщины все еще в кокошниках ходят.

Алла Сергеевна очень испугалась, что такой наряд свекрови может скомпрометировать их.

— А что, если заподозрят, что она просто из народного хора, как мы тогда, куда денемся?

Матрена Савельевна, замерев от страха, тоскливо смотрела на эти сборы, настойчиво уговаривала сына и невестку не брать ее с собой, не срамиться, и, наконец, заболела.

Все предприятие могло сорваться. Но приглашенный на дом врач из спецполиклиники заявил, что ничего страшного у старушки нет и что ей будет даже полезно на сутки сменить обстановку, выехать за город отдохнуть.

Матрена Савельевна проглотила выданную врачом таблетку бромистой камфары, поднялась с постели и больше не сопротивлялась и не робела.

Ее решили везти в ее собственной деревенской одежде: серая в полоску кофточка с оборками на груди, сарафан ситцевый, набивной в горошинку, с воланами по подолу, поверх сарафана — синий атласный фартук с кружевной отделкой по низу, и на голове цветистый полушалок, протамбурованный строчкой на уголках.

Алла Сергеевна уже не беспокоилась за свой престиж. Она согласилась, что «так будет экзотичнее».

— Эх, жаль, кокошника нет! — еще раз воскликнул Никита Петрович, когда вокруг разодетой бабушки крутилась вся семья и девочки повизгивали от удовольствия.

Выехали в субботу часов в шесть вечера на служебной «Победе». Матрену Савельевну посадили впереди, рядом с шофером. Родители

с детьми втиснулись на заднее сиденье. Младшую дочку Светлану Алла Сергеевна хотела посадить к себе на колени, но вовремя сообразила, что так может помяться ее платье.

Эвир не поехал.

За городом, когда свернули на боковое шоссе, их зеленая, не первой свежести «Победа» оказалась затертой среди длинной кавалькады черных зеркальных ЗИСов и ЗИМов.

Сейчас явные признаки робости начал проявлять сам Никита Петрович. Он то и дело напоминал шоферу:

— Держись правее, пропусти их!

— Здесь без обгона, — сказал наконец шофер.

— Кому без обгона, а для других — дай дорогу пошире. Знать надо.

Когда вереница роскошных бесшумных машин промчалась мимо, Никита Петрович шепнул жене:

— Это все туда, к нам...

По обеим сторонам дороги потянулись тихие сосновые леса. Спуск к речке — к одной, к другой — и подъемы были ограждены белыми, с черным ободком, каменными столбиками, и на каждом поблескивал треугольничек из стеклянных глазков — отражателей света. Казалось, шоссе вклинилось в зону тишины.

Все здесь было необычайно чисто, нарядно и строго. Местами появлялись асфальтированные площадки с ответвлениями дороги, и в глубине леса можно было рассмотреть высокие ограды с парадными воротами и сторожевыми будками. Деревни, встречавшиеся на пути, тоже казались необычно нарядными, чистенькими, праздничными.

Чем дальше, тем огражденных участков было больше. Наконец высокие заборы пошли по сторонам шоссе сплошной стеной.

Наилучшие участки леса, с оврагами, речушками, прудами, прикрывались от посторонних глаз наиболее высокими заборами, поверх которых щетинилась в несколько рядов колючая проволока. И за этими заборами — зелеными, голубыми, коричневыми — носились страшные собаки овчарки.

Матрена Савельевна сама опустила боковое стекло, и смолистый бодрящий запах проник в «Победу». Из всех лесов, какие встречались на севере, она больше всего любила сосновый бор.

— Нравится, мама? — спросил Никита Петрович.

— Хорошая боровинка! — ответила мать. — Дух здоровый, полезный. И места на загляденье. Тут только и отдыхать людям. Не пойму одного, зачем здесь колючая проволока, от войны, что ли, осталась?

Никите Петровичу, видимо, не очень понравились ее слова, он сразу засопел и ответил полушепотом:

— Это государственные дачи, мамочка.

Санаторий, в котором был и однодневный дом отдыха, увидели издалека. Трехэтажный дворец из железобетона и стекла, со всевозможными надстройками, башенками, возвышался над рекой, словно огромный трехпалубный пароход. Радиоантенна с двумя опорами и большая телевизионная антенна на гребне крыши сходили за мачты парохода. А за ним, по всему берегу и во всю глубину берега, от земли и до неба простирался сосновый бор.

Никите Петровичу стало тесно в машине от гордости и самодовольства, он заерзал, словно расплываясь на сиденье, потеснил еще больше жену и детей и, склонившись к матери, торжественно произнес, указывая на дворец:

— Видишь, мама? Вон куда мы едем! Смотри, где ЗИСы идут.

По мере приближения к санаторию, он вырастал над рекой все выше и выше, и стали открываться подробности его оформления — колонны, балкончики, скульптурные фигуры под окнами, матовые фонари на металлических столбах, величественная группа каменных лосей на берегу. Крутой скат к реке оказался укрепленным бетонными плитами, а в них как бы врезаны зигзагообразные тропинки и прямые лестничные спуски с бесчисленным множеством гранитных ступенек.

При въезде на территорию санатория навстречу «Победе» вышел вахтер и рукой приказал стать в сторонке. К воротам подкатились два ЗИСа и промчались вперед. Вахтер козырнул им, видимо, издалека узнавая своих постоянных посетителей, после этого подошел к «Победе» и, как показалось Никите Петровичу, недоверчиво осмотрел ее со всех сторон, проверил путевки и сказал, словно бы нехотя: «Пожалуйста!»

«Не очень-то, видно, уважают здесь «Победы», — подумал Никита Петрович, когда они двинулись дальше по широкой аллее в глубь соснового бора.

А в машине стали почему-то разговаривать шепотом.

Никита Петрович снова начал терять самообладание, особенно когда шофер подрулил к подъезду с колоннами и остановился между

двух зеркальных ЗИСов, из которых швейцар и шоферы таскали кожаные чемоданы.

Куда девалась гордость и величественность Никиты Петровича! Он торопливо выскочил из машины, засуетился, сам достал свои вещи из багажника, цыкнул на девочек, которые, едва ступив на землю, бросились к цветочным клумбам, и, не оглядываясь на жену и на мать, заспешил по лестнице.

Ему как можно скорее хотелось уйти от своей зеленой «Победы» — до чего же она здесь неприглядна! Он даже сделал вид, совершенно непроизвольно, что не имеет к ней никакого отношения. Пока «Победа» стояла у подъезда, Никита Петрович не мог чувствовать себя спокойным. А вдруг кто-нибудь подумает, что он прибыл сюда не на законных основаниях, а по недоразумению, в результате ошибки или небрежности хозяйственного аппарата. Вдруг кто-то поважнее его выйдет сейчас из дверей, узнает его и удивится:

— А вы как сюда попали? Кто разрешил?!

Но едва он поднялся на две-три ступеньки, как навстречу ему поспешила женщина в белом халате и, поздоровавшись, взяла у него из рук чемоданы.

«Значит, все в порядке!» — успокоительно подумал Никита Петрович, повернулся к семье, махнул шоферу, чтобы тот возвращался в Москву, подал руку жене и матери и вместе со всеми вошел в подъезд.

В фойе, огромном, как танцзал, и светлом, в глаза бросилось прежде всего обилие роз. Были здесь и олеандры, и азалии, и бегонии, и агавы в кадках — все их по названиям вряд ли знала даже

Алла Сергеевна, — но заметнее других были розы, разной величины, разных сортов и разных цветовых гамм.

Передняя стена фойе, прямо против входа, со стороны реки, была сплошь застеклена от пола до потолка. И закатный свет делал все помещение солнечным, прозрачным. Казалось, само летнее небо вошло сюда и царствовало — не было ни потолка, ни пола, только небо, одно небо, и под ним красовались, играли, хороводились розы, розы, розы.

Алла Сергеевна вошла и ахнула:

— Как прелестно!

Ахнула и кинулась сразу нюхать махровые кусты, так что Никита Петрович счел нужным предостерегающе окликнуть ее:

— Алла!

— Пожалуйста, Никита Петрович! — обратилась между тем к нему женщина в белом халате. Он обернулся, приятно удивленный, и понял, что все необходимые сведения о нем в санаторий уже сообщены заранее.

— Вы с семьей. Может, вам будет удобнее разместиться всем вместе, в одном номере, в люксе — у нас такая возможность сегодня есть, — чем в двух смежных комнатах? Кровати на ночь мы добавим.

— Пожалуйста, можно в люксе, — согласился Никита Петрович, а в душе его все ликовало.

И вот они поднимаются по лестнице на второй этаж, идут гуськом (бабушка на цыпочках, девочки вприпляску) по мягким разноцветным ковровым дорожкам из одного коридора в другой, куда-то очень далеко, и, наконец, перед ними открывается дверь, затем вторая — и:

— Пожалуйста, это ваш номер. В девять часов ужинать, пожалуйста!

Пожалуйста, пожалуйста!

Чемоданы были уже здесь.

В первой комнате стояло пианино, телевизор, радиоприемник, круглый стол и зачехленные стулья, на столе пепельница, цветы; у стены — диван, мягкие кресла; на полу ковры. Это была гостиная.

Во второй комнате, за ковровым занавесом, — письменный стол орехового дерева, кожаное кресло, кожаный диван. Из кабинета винтовая лестница с резными перилами вела на антресоли в третью комнату — спальню.

— А где ванная комната? — первым делом поинтересовалась Алла Сергеевна.

Дверь в ванную нашли, она была прикрыта шелковой занавеской.

Девочки сразу бросились на антресоли. Казалось, они не удивлялись ничему, им просто было весело и легко жить на свете.

Мать стояла у входа, боясь двинуться дальше, не зная, куда девать свои руки.

Никита Петрович осмотрелся, крякнул, снял неторопливо пиджак, как у себя дома, повесил его на спинку стула и сказал:

— Ну что ж, приемлемо. Света много, вид из окон хороший.

К нему вернулось спокойствие, настороженность исчезла, плечи расправились сами собой, в осанке появилась прежняя статность и гордость, на лице выражение значительности. Все шло правильно!

И он вспомнил о матери:

— Ну что ж ты, старушка, не робей. Иди к окну, посмотри!

Матрена Савельевна, осторожно ступая по ковру, шурша своим широченным сарафаном, подошла к окну.

Отсюда, с высоты, река представилась ей очень маленькой. Солнце еще не село, но воды уже не касалось, берег мешал, и река казалась густой, маслянистой и отчетливее, чем днем, отражала синее, с подкрашенными облаками, предвечернее небо.

За рекой просторный луг, наверное заливной, наполовину был скошен, и несколько стогов сена, похожих на юрты кочевников, отбрасывали в сторону длинные тени. На лугу работали две конные сенокосилки. Еще дальше виднелась небольшая аккуратная деревня в один посад.

— Мимо этой деревни мы проезжали, мама, узнаешь? — спросил Никита Петрович и открыл дверь на балкон.

Девочки, топоча, опережая друг друга, спустились с антресолей и первыми прорвались на балкон. За ними Никита Петрович вывел бабушку. Видимый горизонт сразу раздвинулся, и сосны с двух сторон подступили к балкону, зашумели.

— Сеном пахнет, — тоскливо сказала Матрена Савельевна.

— Точно, пахнет! — подтвердил сын и, потянувшись, мечтательно добавил: — Когда-то и я сено косил. И пахал. И жал. Да, все было...

— Деревенька чистенькая. Наверно, хорошо живут?

— Здесь есть крепкие колхозы, мама.

— Слава Богу!

— А сенокосы эти принадлежат санаторию.

— Для чего они вам?

— Хозяйство большое, есть скот, кони.

Алла Сергеевна на балкон не вышла, а открыла чемоданы и готовилась к появлению в столовой. Когда она надела вечернее бархатное платье, ахнул даже сам Никита Петрович.

— Хороша ты у меня, чертовка! — сказал он.

До ужина оставалось часа полтора, и Никита Петрович предложил пройтись осмотреть санаторий.

Матрена Савельевна хотела остаться с внучками в номере, но девочки не согласились, и ей пришлось отправиться вместе со всеми.

Сначала сориентировались: они находились в левом крыле здания, стало быть, по коридору надо было идти вправо.

Двинулись направо.

Помещений общего пользования во дворце оказалось очень много, одна роскошная гостиная сменяла другую, и похожих не было: каждая чем-нибудь отличалась от остальных — по обстановке, по убранству, по оформлению. В одной комнате стоял стол для игры в пинг-понг и в углу телевизор, в другой — рояль и в углу телевизор. Две комнаты с массивными бильярдными столами, комната для утренней физкультурной зарядки, библиотека, читальный зал, наконец — кинозал. Всевозможные лесенки, переходы, площадки, затененные уголки, где можно посидеть за круглым столиком, покурить, подумать о жизни.

И всюду — цветы, как в оранжерее.

Высокое начальство съезжалось на выходной день, и дворец, почти пустой целую неделю, постепенно заполнялся.

Никита Петрович шел впереди семьи, держался с достоинством, объяснял, что для чего предназначено, как будто он бывал здесь уже

не раз, но говорил полушепотом, и глаза его настороженно шмыгали по сторонам.

Знакомых, с которыми он мог бы раскланяться и покалякать, пока не встречалось, и это его устраивало, так было спокойнее, но в то же время и не волноваться было невозможно: а вдруг столкнешься с кем-нибудь из таких...

Никита Петрович на всякий случай первый здоровался почти со всеми, с кем приходилось встретиться глаза в глаза.

На мать, в ее деревенском пестром сарафане, действительно обращали слишком много внимания. Это, пожалуй, нехорошо. Алла была права.

В одной гостиной играли в домино. Никита Петрович повернулся к своим и сказал полушепотом:

— В домино играют!

В следующей комнате за двумя столами сидели мужчины и женщины по четыре человека и молчаливо, с ожесточением дулись в карты. Никита Петрович сообщил своим:

— В карты играют!

В небольшой полукруглой нише на переходе за шелковым занавесом раздавался стук костяшек и дружный женский хохот, подкрепленный мужскими утробными басами. Никита Петрович бережно приоткрыл занавес, заглянул и, довольный увиденным, как бы одобряя озорство изысканного общества, опять доложил своим:

— Играют в домино!

Игра в домино, по-видимому, была здесь одним из самых излюбленных развлечений, потому он то и дело шептал:

— В домино играют!

— Опять в домино!

Он все еще робел, словно бы чего-то боялся, иногда вздрагивал, и Матрена Савельевна, заметив это, узнавала в нем себя, свой характер, свои страхи.

Но вот Никита Петрович встретил наконец знакомого человека. Это был начальник главка, его непосредственный хозяин, Викентий Федорович, тучный, невысокого роста, почти квадратный, с умными недоверчивыми глазами.

И мать перестала узнавать своего сына. Высокий, красивый Никита Петрович ринулся навстречу своему шефу, схватил его за руку обеими руками и с таким обожанием смотрел на него и так припадал на обе ноги, что, казалось, стеснялся и своего высокого роста и своей дородности.

А начальник, высвободив руку из его рук, шагнул к Алле Сергеевне и заговорил с первой с нею — они были знакомы уже давно.

— Рад вас видеть, Алла Сергеевна. Вы очаровательны, как всегда. Это ваши отпрыски, очень рад. Познакомьте меня с вашей матушкой, Никита Петрович.

— Матрена Савельевна.

— Здравствуйте, Матрена Савельевна! Как вы себя чувствуете? Смо́трите всё?

— Спасибо, батюшка, приглядываюсь! — ответила Матрена Савельевна.

— О-о! — с любопытством вскинул на нее глаза начальник и тут же повернулся к Никите Петровичу, заговорил с ним в тоне фамильярно-покровительственном:

— Хо́дите, знакомитесь с обстановкой? Ну, ´ходите,´ходите, приобщайтесь.

Начальник шутил, всем задавал вопросы, но ответов на них не ждал: либо они ему были не нужны, либо он знал заранее, кто что ему может сказать.

С последней шуткой он обратился к Матрене Савельевне:

— А у сынка-то вашего брюшко растет, далеко пойдет сынок!

Пошутил, сам рассмеялся и скрылся.

Аллу Сергеевну эта встреча очень оживила и возвысила в собственных глазах. Сейчас, когда семья двинулась дальше, она вырвалась вперед и, вся внутренне сосредоточившись и напрягшись, с нетерпением ждала случая присоединиться к какой-нибудь подходящей компании и совсем отделиться от родных.

Никита Петрович тоже ликовал. Ему не показалась обидной даже шутка насчет брюшка, тем более, что и брюшка-то у него совсем не было, и начальник, скорей всего, шутил над собой.

Так они дошли до спортивного зала, специально пристроенного к санаторию, такого просторного, что, кроме игры в хоккей, здесь в плохую погоду можно было по окружности свободно кататься еще и на велосипедах.

Алла Сергеевна не успела пристроиться ни к одной компании, как общество из всех гостиных и комнат начало постепенно перебираться в столовую.

Где-то поблизости раздался звучный, напевный бой стоячих часов, настолько похожий на далекий звон церковного колокола, что Матрена Савельевна от неожиданности начала креститься.

— Мамочка, не надо здесь! — испугалась Алла Сергеевна, и мать, не завершив креста, безвольно опустила руку.

И в столовой люди расположились среди цветов.

Большие, во всю стену, зеркала создавали впечатление, что цветов бесчисленное множество, а зал бесконечен. Люстры, зажженные все сразу, также напоминали букеты цветов, спускающиеся с потолка.

Сдержанный гул голосов постепенно нарастал. Особенно усилился он, когда из буфета начали подавать вина, коньяки, водку и под олеандрами зазвенели хрустальные бокалы. Народ был свой, не стеснялись.

Никита Петрович с семьей заняли целый стол, на который им указала сестра-хозяйка, но им все равно было тесновато.

Алла Сергеевна в столовой, как и в гостиных, пытливо осматривалась вокруг, интересуясь, главным образом, дамскими туалетами, и, когда убедилась, что она не хуже других, с аппетитом принялась за еду.

Заказывать можно было неограниченное количество блюд на выбор. В меню особенно много значилось всевозможных закусок, и удержаться от стопки водки или коньяка просто сил не хватало. Никита Петрович попросил бутылку коньяка для себя и для матери. Тогда Алла Сергеевна потребовала себе бокал массандровского муската.

— Давайте для храбрости, — поднял рюмку Никита Петрович и они выпили. Девочки при этом опустили глаза.

— Я тебя не понимаю, Ника, — капризно заговорила Алла Сергеевна, бережно вытирая накрашенный рот концом накрахмаленной салфетки. — Почему для храбрости? Разве мы не у себя дома? Я смела и без вина.

И хотя она сказала это негромко и голос ее в эту минуту был особенно приятен и бархатист, потому что она нежилась от удовольствия и сознания, что она не хуже других, — муж все-таки взглянул на нее неодобрительно.

— Потом поймешь, кушай! — буркнул он.

Вторая рюмка коньяка размягчила и Никиту Петровича. Он подобрел, выпрямился, посмотрел с независимым видом на соседние столы и захотел разговаривать.

— Вот, бабушка дорогая, так мы и живем! — начал он, обращаясь к матери.

Никита Петрович называл мать мамой, когда был естествен и прост в своей человеческой сути и не занимался чрезмерно своей особой.

Иногда он называл ее Матреной Савельевной, причем произносил это имя то язвительно, растягивая по слогам, то почтительно и как-то вдумчиво, словно прислушиваясь к его звучанию. Это значило, что он либо злится, либо настроен благодушно, сентиментально.

Но нередко он называл мать бабушкой, или дорогой бабушкой, или старушкой и при этом покровительственно похлопывал ее по плечу. Это случалось, когда разные житейские удачи кружили Никите Петровичу голову и он начинал обольщаться до само-

забвения, а с людьми, подчиненными ему по службе, становился высокомерен, заносчив.

— Вот, дорогая наша бабушка, — сказал он сейчас, приятно хмелея от коньяка. — При коммунизме все так жить будут. Мы это сделаем! Мы к этому ведем! Ты понимаешь это?

— Скоро ли, Микитушка? У нас еще плохо живут.

— А ты подожди, все будет в свой срок. Для всех хорошая жизнь настанет, подожди только. Работать надо много. Тут одно с другим связано: не поработаешь — не поешь, не разбогатеешь. Знаешь, как раньше у нас было...

Матрена Савельевна, видимо, тоже начинала хмелеть.

— Раньше нам все говорили про тот свет: «Вот подождите, на том свете рай будет!» Мне, Микита, жить-то мало осталось. Дождусь ли?

— Ты же, мамочка, дождалась, — вмешалась в разговор Алла Сергеевна. — Чего тебе еще надо? Все для тебя готовое.

— А я не обижаюсь. Только ведь и о других подумать не грех. Кажись, не мы одни на белом свете живем.

Алла Сергеевна в первый раз не выдержала:

— Ну что у тебя за язык, мама: рай, грех, кажись... А в гостиной еще креститься стала... Отвыкай от деревенского, пора!

И произошло неожиданное — тихая Матрена Савельевна в первый раз огрызнулась:

— А мы в деревне, милая, не языком работаем, руками.

— Ты слышал, Ника? — вскинулась Алла Сергеевна.

Но хорошее настроение у Никиты Петровича не испортилось. Он только засмеялся и шутливо, в полуголос, прикрикнул:

— Цыц, бабы! Вам вина не хватило? С вином всегда так: перепьешь — плохо, не допьешь — еще хуже. Надо уметь определить золотую середину, дойти до нормы и остановиться. Выпьем еще, родная моя старушка! — обратился он к матери.

Они выпили еще по рюмке.

— А насчет коммунизма не беспокойся, все сделаем, что Ленин обещал. Тебе тоже будет хорошо, будь спокойна. Вот вернемся домой, зубы тебе вставим, полный рот зубов — ровных, белых, на выбор. Как у нас говорилось раньше: полон хлевец белых овец. Хороши у народа пословицы. Мудрый у нас народ. С таким народом мы горы своротим. А дело пойдет на лад, мы тебе и жизнь продлим. Омолодим тебя! Для нас все можно. Прикрепят меня к кремлевской поликлинике, а там, мама, — врачи, какие врачи! Профессора! Эскулапы! Умрет человек, а они его оживят и опять на ноги поставят: работай! А какая аппаратура, тончайшая техника, умные машины и препараты! Все лучшее, что есть в мире. Если своего нет — из заграницы выпишут. И — внимание, понимаешь, внимание к каждому человеку, потому что каждый человек на вес золота. Если уж человек вырос, выдвинулся, значит, его беречь надо. Он государству больших денег стоит.

Матрена Савельевна долго слушала, не перебивая его, думала, наверно, о чем-то своем и наконец спросила:

— Микита, неужто и вино здесь бесплатно подают?

— Эк, ты все о своем! — с неудовольствием воскликнул Никита Петрович. — Вино, конечно, здесь платное. Не в вине дело. Ты пойми, когда человек дорог, когда он видный, ответственный, для него

ничего не жалко. Понимаешь, старушка? Чтобы он никакими мелочами не занимался. Знай работай, служи народу, живи с ним одной жизнью, не забывай о его надеждах!

— Так ты уж служи, Микита! — заметила Матрена Савельевна.

Сын будто не слышал ее слов, продолжал:

— При коммунизме все так жить будут. Конечно, пока еще трудно людям. Кое-где трудно. Много трудностей! Но мы перед трудностями не остановимся. Сил своих не пожалеем, себя не пожалеем, а дальнейший рост обеспечим...

Матрена Савельевна посмотрела на него пытливо, пожевала губами и сказала:

— Девочки носом клюют, Микита, поели давно, может, их спать отвести?

Девочки действительно очень устали, их ничто уже не интересовало. Светлана закрывала глаза.

Алла Сергеевна поднялась со стула и тоскливо осмотрела сидящих в столовой. Ей не хотелось покидать общество.

— Пошли, дети, спать!

Поднялся и Никита Петрович.

Но когда вышли в коридор, Алла Сергеевна передумала:

— Мамочка, тебе ведь тоже спать надо. Может быть, управишься с ними одна? Разденутся сами, кровати там приготовлены. Вы будете спать в гостиной.

— Конечно, управлюсь, — охотно согласилась Матрена Савельевна, — вы не сомневайтесь. Все сделаем как надо и спать ляжем. Я им сказочку расскажу.

Никита Петрович не возражал. Родители остались, а девочки с бабушкой пошли спать

— Найдете ли комнату? — крикнула Алла Сергеевна вдогонку как последнее напутствие и тотчас перестала о них думать.

Нина пошла впереди, и скоро люкс был найден. В гостиной и впрямь стояла раскладушка, а две постели были постланы на диванах, одна из них в кабинете.

Дверь на балкон оставалась открытой, в комнатах пахло прохладной свежестью леса, реки, луга. Но ни луга, ни́ реки, ни дальней деревни не было видно. Все прикрыла ночь. Лишь по обеим сторонам балкона вырисовывались на фоне ночного матового неба богатырские шлемы сосен. А когда включили свет, и сосны исчезли.

Матрена Савельевна закрыла дверь на балкон, и тотчас за стеклом появилось отражение комнаты: круглый стол с пепельницей на бархатной скатерти, бронзовая люстра под потолком, поблескивающее пианино в заднем углу.

Нина подняла крышку пианино и, не садясь, положила руку на клавиши. Раздался тихий, мягкий звук, как всплеск рыбы на ночной реке. Но играть она не стала.

— Бабушка, ты хорошо отдохнула?

— Я, Нина, устала, кости ломит, и голова трещит.

— Я тоже устала, только спать не хочется.

— А у меня глаза слипаются, — сказала Светлана. — Мне даже телевизор теперь ни за какие деньги не нужен.

— Спи, внученька. Куда ляжешь, выбирай сама.

Светлана облюбовала раскладушку и разделась.

— Спокойной ночи, бабушка. Мне и сказки теперь не надо.

— Спокойной ночи, внученька!

— Спокойной ночи, Нина.

— Спокойной ночи, сестричка.

Нина подошла, поцеловала сестру и уселась за круглый стол в гостиной. Сидела она выпрямившись, сосредоточенно глядя вперед, будто готовилась к серьезному шагу в жизни, и, наконец, спросила:

— Тебе, бабушка, очень все нравится здесь?

Матрена Савельевна села с ней рядом.

— Как не нравится, внучка, только ведь я не привыкла к этому. Я в богатстве никогда не жила. Мы дома лаптем щи хлебаем. Это тебе все будто так и надо, а мне порой кусок в горло не лезет.

Нина обрадованно взглянула на бабушку и вдруг, словно решившись открыть ей какую-то страшную тайну своей души, заговорила шепотом:

— Знаешь, бабушка, я не понимаю, что со мной делается, а только и мне иногда кусок в горло не лезет. Подруги из школы ко мне домой не ходят. Пришли раза два, посмотрели и больше не ходят. Говорят, ты богатая. А я разве виновата, что богатая?! Бабушка, я же не виновата? Мне в прошлом году билет на елку в Кремль не дали. Все в классе проголосовали за меня, потому что кругом пятерки, а учительница сказала, что все равно на кремлевскую елку надо посылать бедных, а Круглова богатая. И не дали. Дали двум мальчикам, а они хоть и бедные, но троечники, и знаешь, какие хулиганы! Папа мне сказал, что он сам достанет билет в Кремль, а я не пошла, это же

нехорошо, когда папа все достает. Мама говорит, зачем ты плачешь, дурочка. А я же не виновата, бабушка!

Говоря это Нина продолжала пытливо всматриваться в бабушку, понимает ли она ее неутешное, неотвязное горе, и крупные чистые слезы вдруг потекли из детских, широко открытых печальных глаз.

— О Господи! — заволновалась Матрена Савельевна. — Как же это я, старая, не подумала о тебе? Голубушка ты моя! Твоей ли голове заботиться о таких делах! — и она придвинулась к Нине, обхватила ее всю, фартуком своим вытерла ей щеки, глаза, нос. — Милая ты моя, зачем же ты себя утруждаешь!

А Нина припала к бабушке и заплакала еще сильнее, еще безутешнее. Плакала, почувствовав в бабушке свою единомышленницу («вот кому можно все, все рассказывать!»), свою настоящую подругу («как же это я раньше не понимала, что бабушка тоже мучается?»), и жалела себя, и радовалась, что теперь она никогда, никогда не будет одна со своими мыслями.

— Папа привез меня однажды в школу на машине, и теперь надо мной смеются: « Ты на чем любишь кататься, на лыжах или на коньках? — я на папиной машине!» А я не люблю кататься на машине. Я люблю ездить в трамвае. Я говорю маме: «Не провожай меня, ты так одета, словно барыня». А она говорит: «Дурочка, ты ничего не понимаешь!». А чего я не понимаю, если надо мной смеются? Я же не виновата!

Пока Нина плакала и выкладывала все свои горькие горести, Матрена Савельевна успела собраться с мыслями и решить, о чем следует поговорить с девочкой.

— Богатство богатству рознь, внучка! Папино богатство честное. Он никого не обокрал, не ограбил. Такое богатство не зазор. Всем охота стать богатыми.

Нина подняла голову, задумалась, как будто нащупывала для себя какое-то утешение и вот-вот готова была улыбнуться. Но улыбка не появилась на ее лице.

— Я понимаю, бабушка, но ведь моя Люба как в подвале живет.

— И у нас в деревнях, Нина, не все живут одинаково. Есть колхозы хорошие, есть — так себе.

— Я просила папу: — ты все можешь достать, достань, пожалуйста, для Любы комнату. Папа только засмеялся. А знаешь, какая Люба хорошая девочка. Она ничего, ничего никому не говорит, а отца у нее убили фашисты, мама работает врачом в детском саду; директорша закрыла одну уборную, вот они и живут в этой комнате. Люба меня не пускала к себе, а я не понимала и пришла. Пришла, а у нее брат лежит в постели, не шевелится, у него позвоночник туберкулезный: он уже два года лежит не шевелится. Я заплакала, а Любочка бросилась ко мне и давай меня целовать. Целует меня, а сама не плачет. Отчего это, бабушка, одни богатые, а другие бедные?

— О Господи! Нельзя же всех сразу богатыми сделать.

— Так лучше бы всем бедными быть. А то я возьму вот да и уйду из дому!

— Что ты, внученька! Мыслимое ли это дело — от отца с матерью уходить!

Нина сама испугалась того, что сказала, прильнула к бабушке всем телом и зарыдала не сдерживаясь.

Матрена Савельевна с трудом уложила ее в постель.

Аллу Сергеевну пригласил на танцы начальник главка Викентий Федорович, а Никита Петрович направился в одну из бильярдных комнат. Он уже освоился с новой для него обстановкой, почувствовал атмосферу дома отдыха и вел себя непринужденно. Правда, этому ощущению непринужденности и свободы немало способствовал и выпитый коньяк.

В бильярдной стоял дым коромыслом. На каждого игрока было по меньшей мере шесть-семь болельщиков. Зеленое сукно стола напоминало футбольное поле стадиона. Шары метались от борта к борту, сшибались с резким костяным стуком и, казалось, расщеплялись, будто атомные ядра во время цепной реакции.

Игроки ходили вокруг стола с засученными рукавами, пиджаки их висели в углу. Болельщики потели, не снимая пиджаков. Конечно же, среди них были и присяжные остряки. В синеватом папиросном дыму — реальном, а не том, о котором говорится, что он стоит коромыслом, все происходящее представлялось в призрачном свете, как если бы совершалось под водой.

Никита Петрович поискал глазами, нет ли знакомых, и, никого не обнаружив, сел за шахматный столик у стены.

— Здравствуй, Круглов! — неожиданно обратился к нему сосед. — И ты здесь?

Это был товарищ по институтской скамье, когда-то бывший ему даже другом, Андрюшка Филиппов, ныне начальник видного отдела крупного министерства Андрей Андреевич Филиппов.

В течение ряда лет Филиппов работал в области, часто приезжал в Москву и неизменно навещал Никиту Круглова. Много было выпито вместе бутылок коньяка и водки, много сказано сердечных слов друг другу. Оба раскрывали друг перед другом свои души так, что сейчас и вспомнить страшно.

Филиппов всегда отличался свободомыслием и был большим охотником до сердечных приключений. Все об этом знали, и все ему сходило с рук, пока жена не устроила скандала из-за совершеннейшего пустяка — она случайно застала своего мужа с его собственной секретаршей и написала об этом жалобу по инстанции, то есть вынесла сор из избы. Пока не пойман — не вор, но раз поймали — держи ответ. И Филиппов в области «загремел», его освободили от работы и записали в личное дело партийный выговор. Но в номенклатурных списках работников областного масштаба он остался. В областной газете была дана информация, что «тов. Филиппов А.А. освобожден от занимаемой должности, как не обеспечивший надлежащего уровня руководства», хотя всем была хорошо известна истинная причина свершившегося возмездия.

После этого Филиппов еще чаще стал наведываться в Москву и останавливался на квартире у Круглова. Жену он простил.

Когда семейный скандал в области стал забываться, его вызвали на курсы переподготовки в Москву, а по окончании курсов посадили в министерство. Получив повышение по службе и попав в сферы, до которых Круглов еще не дотянул, Андрей Андреевич все реже стал навещать своего старого друга, ссылаясь на чрезвычайную занятость, а потом перестал даже звонить по телефону.

Никита Петрович все понимал и, признавая министерские субординации законом, не обижался.

Сейчас, повстречавшись с Филипповым после двухлетнего перерыва, он поначалу очень обрадовался и несдержанно забросал его вопросами.

— Здравствуй, Андрей! Как я рад тебя видеть. Что поделываешь, как живешь? Что не звонишь?

— Да знаешь, брат, некогда все, штаны просиживаю...

— А здесь ты часто? Неужели каждый выходной?

Последний вопрос задавать, конечно, было нельзя. Никита Петрович спохватился, да поздно. Филиппов равнодушно и с холодком взглянул на него и, отвернувшись к соседу справа, продолжил, видимо, прерванный разговор:

— Что там случилось с Паршиковым, как вы сказали?

— Умер. Сегодня во всех газетах некролог: «Скончался после тяжелой болезни».

— Ай, ай! Чем же он болел?

— Формулировки у нас определились и в некрологах. «После тяжелой болезни», — значит, был инфаркт. «После продолжительной и тяжелой» — рак. «Скоропостижно» — самоубийство. Вы еще не знали этих тонкостей?

— Фу, черт! Разве тут догадаешься.

Они разговаривали о смерти знакомого человека так спокойно, как будто не допускали мысли, что им самим когда-нибудь доведется умирать.

— Слышали, сегодня Корней Иванович здесь.

— Сам?

— Да!

— Разве он с ю д а ездит?

— Очень редко, но старается не отрываться.

В это время один из игроков положил кий, сдавая партию. Никита Петрович встал и так решительно взялся за кий, что очередной претендент, не зная, с кем имеет дело, не посмел заявлять о своих правах.

Никита Петрович играл редко и не очень хорошо, поэтому решили попробовать для начала в «американку».

Противник с первого же удара положил шар в лузу и, довольный собой, громко произнес:

— Смерть немецким захватчикам!

Никита Петрович мысленно вычертил на сукне треугольник и тоже удачно срезал шар в середину. Второй его удар оказался не менее точным, и он ответил на вызов:

— Кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет!

Бильярдный стол немедленно обступили болельщики.

— О, мастера появились!

— Шакалы!

Посыпались обычные шуточки, с которыми игра становится вдвое интересней и азартней.

Костяные шары сшибались лбами и, кидаясь от борта к борту, вычерчивали сложные кривые и ломаные линии. Если бы эти линии оставались заметными и наслаивались одна на другую, зеленое сукно в надлежащий момент могло бы показаться какому-нибудь

восторженному почитателю современного сюрреализма гениальным произведением живописи.

Никите Петровичу неожиданно повезло и он клал шары в лузы один за другим.

— Вот это работа! — поощряли его репликами. — Квадратно-гнездовой способ.

— Удар на высоком уровне.

— Полюбуйтесь, шары дымятся!

— Классика!

Когда он делал очередной удар, в бильярдной что-то произошло: голоса стихли, болельщики отошли от стола, кто-то с кем-то здоровался, курящие поспешно тушили папиросы. Никита Петрович не успел сообразить, что случилось, и обернуться, как его партнер передал свой кий другому, только что вошедшему в комнату человеку.

Круглов поднял глаза: «В чем дело?» — и увидел перед собой самого Корнея Ивановича, большого министра.

— Не откажитесь сыграть со мной одну партию, — сказал Корней Иванович, и у Никиты Круглова ноги подкосились.

Он, вероятно, побледнел, а может быть, покраснел — самому судить об этом трудно. Одно бесспорно, что первая мысль у него была: бежать, немедленно бежать, бросить кий и ринуться прямо в двери, головой вперед! Это было первое желание, и, должно быть, в это мгновение он и был бледен.

В следующее мгновение Круглов испытал совершенно противоположное чувство: торжество! К нему пришла удача! Наконец-

то взошла его звезда! Не растеряйся же, не упусти случая, не проворонь! И, ощутив в душе это везение, осознав его, Круглов покраснел.

Но все это произошло так быстро, что он не сразу взял себя в руки. По крайней мере, не смог ответить на первые слова большого министра, а только пробормотал:

— Здравствуйте, Корней Иванович!

— Здравствуйте, здравствуйте! Сыграем, что ли?

Отступать было нельзя и некуда. Никита Петрович собрался с силами и сказал насколько мог спокойно:

— С удовольствием!

Кто-то, кажется Филиппов, торопливо собрал шары в треугольник (ему помогали), поставил их по всем правилам к точке, и игра началась.

Корней Иванович был высок, выше Круглова, широкоплеч и крепок, но совершенно сед: седая голова, седые брови и, кажется, седые даже ресницы. Из-за того, что хорошо отглаженный тонкий костюм на нем был очень светлым, серебряно-светлым, и ботинки были из белой кожи, Корней Иванович казался седым весь — с головы до ног. И только одно темное пятно было на этом фоне, вернее, два пятна — это были черные пытливые глаза Корнея Ивановича.

Вел он себя просто, старался не смущать людей, ничем не выделяться и потому во время игры говорил какие-то совершенно незначительные слова. Но многими из присутствующих и эти слова воспринимались как откровения, их повторяли, охотно отвечали смехом на любую шутку большого министра.

Первый удар сделал Корней Иванович. Костяной треугольник рассыпался, шары расскочились к бортам и замерли, как отскочили от стола болельщики и рассредоточились вдоль стен в тот момент, когда Корней Иванович только что вошел в эту комнату. Ни один шар в лузу не упал.

— Ваша очередь, — приветливо и добродушно предложил Корней Иванович.

— С удовольствием! — сказал опять Никита Круглов.

Странное дело, как он ни волновался, а счастье не покинуло его. С первого же захода он положил в лузу два шара.

— Ого, а вы опасный противник! — воскликнул Корней Иванович.

— Ну что вы, Корней Иванович, это случайность, — скромно заметил Круглов, а сам обрадовался своему везению: «Так, так, только бы не осрамиться, не растеряться, не проиграть, а то он плохо подумает обо мне».

— Прошу, Корней Иванович! Вот эти два лучше стоят...

Министр срезал шар в лузу и удовлетворенно выпрямился:

— Начало есть! Хорошее дело — начало.

Второй удар не дал результата.

— Прошу, ваша очередь.

Зрители постепенно отодвигались от стен, окружали стол. В бильярдную стали заходить новые люди. Откуда ни возьмись, за спиной Круглова появился его хозяин, Викентий Федорович, начальник главка, и дал о себе знать:

— Не робей, Никита Петрович, не робей!

Круглову понравилось, что его назвали по имени и отчеству. Конечно, Корней Иванович не мог знать его, Никиту Круглова, да, вероятнее всего, и не запомнит его, не захочет запоминать — ему и так приходится держать в памяти слишком большое число людей, а это трудно. Но все-таки... а вдруг!..

— Ваша очередь!

Круглов положил еще один шар.

— Держись, Никита Петрович!

На этот раз по имени и отчеству назвал его Филиппов.

«А, черт, вспомнил, как меня зовут! — подумал о нем Круглов. — «Держись...». Почему держись, когда у меня уже три шара, а у Корнея Ивановича только один?»

— Корней Иванович, взгляните на эти, сами падают.

Министр согласился, долго целился, но шар в лузу не упал.

— Увы, у меня не падают, я несчастливый.

Эти слова были приняты как шутка, и все засмеялись.

— Сюда, Никита Петрович! — это сказал опять начальник главка.

Он и Филиппов то и дело подавали голоса из-за спины Круглова. С самим Корнеем Ивановичем они не заговаривали, видимо, не решались, но, казалось, всячески старались обратить внимание присутствующих и его лично на то, что близко знакомы с Кругловым.

С самим Корнеем Ивановичем разговаривал только сам Круглов.

Никита Петрович играл лучше, удачливее, чем министр, но его никто не хвалил, как раньше, а наоборот — подбадривали его, словно и в мыслях не допускали, чтобы кто-то всерьез мог играть лучше Корнея Ивановича.

А когда Круглов, увлекшись, и впрямь начал выигрывать партию, — все притихли. Кто-то даже снова закурил.

Надвигалась угрожающая тишина осуждения, которая должна была вовремя предупредить, остановить Круглова, заставить его опомниться, подумать о своем жизненном пути, наконец, о семье, о детях.

Но Круглов ничего не замечал. Он увлекся, забылся.

Больше других забеспокоились непосредственный начальник Круглова, Викентий Федорович, и его старый друг Филиппов. Казалось, на карту была поставлена их собственная судьба, их служебная карьера.

Наконец Викентий Федорович не выдержал, улучил момент и, ткнув Круглова в бок, шепнул ему:

— Что вы делаете, черт возьми! Разве так можно?!

Шепнул и осклабился, делая вид, что он шутит.

Но Круглов принял его предупреждение всерьез и так сразу заволновался, так у него начали дрожать руки, что он стал мазать и действительно проиграл партию.

— Что с вами? — спросил Корней Иванович, когда Круглов, вместо того, чтобы положить последний шар, выставил два штрафных. — Нехорошо!

— Простите, Корней Иванович, сам не понимаю, устал наверно, глаз притупился.

И хотя Круглов проиграл партию вовсе не потому, что захотел проиграть, все решили, что он сделал это сознательно, и, по окончании игры, окружили его, одобрительно заглядывая ему в глаза, заговаривали с ним, будто поздравляли с победой.

Корней Иванович положил кий, мыл руки и смеялся:

— Задали вы мне жару, коллега. Ну, думаю, пропал мой авторитет безвозвратно!

Настроение у всех было хорошее, но играть в бильярд после такой знаменательной партии больше никто не стал.

Викентий Федорович проводил Никиту Петровича до его номера, пожелал ему спокойной ночи, а утром в столовой сел с ним завтракать за один стол.

В комнату Никита Петрович не вошел, а ворвался.

— Жена! Алла! — закричал он еще от порога.

— Тише, Микита, девочки спят, — полушепотом предупредила его Матрена Савельевна.

Она стояла у балкона в своем экзотическом наряде, чуть приоткрыв дверь и плакала. Сын увидел ее печальные, покрасневшие от слез глаза, набрякшие веки, мокрые щеки.

— Что с тобой, старушка? Ты еще не ложилась?

— Не ложилась.

— А плачешь зачем?

— Так, плачу, и все. Петуха вот услышала...

— Опять петух? При чем тут петух?

— Поет полуношник. Хорошо поет. Дома у меня тоже поет в этот час. И голоса схожи.

— Ну и что?

— Ну, я и заревела.

— Ничего не понимаю! Да ты знаешь, что сейчас произошло?

— Не знаю, Микита.

— Где жена?

— Она еще не приходила. Наверное с начальником твоим опять...

— Начальник со мной был, мама. Чего ты выдумываешь?

— Я ничего не выдумываю. У тебя свои глаза есть... С жиру вы беситесь оба. А у нас там, Микита, знаешь как живут?

— Знаю, знаю!.. Но тебе-то чего не хватает?

В голосе его появилось раздражение.

— Ложись-ка ты спать, мама, — сказал он немного погодя. — Об этих деревенских делах думают головы получше наших с тобой. Есть руководители, которые на три метра под землей видят.

— Эти руководители на таких, как ты, надеются. А ты, вишь, и думать не хочешь. Да хорошо бы и мужикам самим дать думать.

— Ложись спать! У меня в жизни назревают такие события, с ума сойти можно. Хотел тебе рассказать, а ты все о своем. Надо тебя свозить в хороший колхоз, может, поймешь что-нибудь, поглядишь и успокоишься.

— Душа ведь болит, Микита.

На следующий день после завтрака Никита Петрович с женой, матерью и детьми бродили в окрестностях санатория. Они осмотрели спортивные площадки, заглядывали во всевозможные крытые беседки в сосновом бору, побывали в оранжерее, где выращивают цветы для помещений санатория, прошлись по поселку, в котором живет обслуживающий персонал, — около пятнадцати двухэтажных домов с клубом, детсадом, магазином.

Девочки бежали впереди, кидались за бабочками, всему радовались. Нина забыла все свои горькие ночные мысли о бедности и богатстве. Солнце светилось из ее глаз, ей было легко жить — и всё тут.

Никита Петрович после всего того небывалого, невероятного, что произошло с ним вчера, чувствовал себя счастливым необычайно и расхваливал матери все, что ни встречалось на пути, словно он водил ее по своим личным владениям.

Особенно хорошо было на озере. С железного мостика, который заходил далеко в воду, они долго следили за рыбой. На глубине, среди мелких водорослей, караси то и дело показывали свои золотые кольчужки. Сазанчики всплывали на поверхность и ловили с воды мотыльков и кузнечиков. Стрекозы, стрекочущие, как маленькие вертолеты, парили среди камышей.

И озеро, и весь роскошный сосновый бор были ограждены высоким забором.

На берегу в разных местах на металлических столбиках виднелись надписи: «Запретная зона. Ловля рыбы воспрещена». Или: «Вход посторонним воспрещается». Кое-где забор был сломан, доски растащены. Никита Петрович, как настоящий хозяин, потребовал объяснений у проходившего служащего:

— Чья это работа? Ремонтировать некому, что ли?

И служащий, вроде бывалого старосты, сразу начал скулить:

— Не успеем отремонтировать, опять ломают. Из соседнего колхоза лезут, на дрова тащат. Фонарей набраться не можем, камнями сшибают. Раньше здесь было поместье, ну и вредят по старой памяти.

— Несознательные! — сказала на это Матрена Савельевна .

— Конечно, несознательные. Злятся! Это ж какой народ!

В полкилометре от озера, за сосновым бором, они вышли на территорию совхоза. Матрена Савельевна издали увидела дождевальные установки и ахнула:

— Что это?

Гидромониторы, высоко взметнув к небу свои железные хоботы, похожие на телескопы, плавно и медленно поворачивались вокруг своей оси и на большом пространстве поливали землю дождем. Солнечный свет преломлялся в водяной пыли, и над землей стояла самая настоящая многоцветная радуга. Иногда их появлялось две, даже три.

Девочки первые бросились по полю и, пока взрослые подходили, успели принять холодный душ. Платья их прилипли к телу, волосы обвисли, голубые ленты потемнели, стали синими. Сами они повизгивали и сияли от счастья.

— Кукурузу видала, мама? — спросил Никита Петрович.

— Второй год сеем, а еще не видала.

— Ну вот смотри!

Они сошли с дороги и углубились в мокрую кукурузу, как в молодую бамбуковую рощу. Матрена Савельевна и невестка скрылись с головой. Никита Петрович был выше кукурузы. На сочных зеленых стеблях завязывались початки с пушистыми серебристыми кистями — два, три, четыре на каждом стебле.

— Вот она какая! А у нас только росточки тут — да - инде появятся — и всё. Даже не убираем. Председатель подсчитал, говорит,

каждый росток обходится в пятнадцать трудодней. И земля пустует. Надо бы начать с малого, приноровились бы, так нет, нельзя, заставляют сеять сразу двадцать гектаров. Сеем... По миру, что ли, хотят пустить нас?

— Видишь, растет же!

— Растет. С таким дождем что хочешь вырастет. Записали бы нас всех в совхоз, посадили бы на жалованье, тогда и командуй как знаешь, сей, что в голову взбредет. А без жалованья с умом надо.

Подошли к картофельному полю. Матрена Савельевна огляделась кругом — народу близко нет! — и выдернула из гнезда куст ботвы.

— Посчитайте — сколько?

Насчитали пятнадцать картофелин, больших и маленьких.

— Нет ли еще?

Она погрузила руки в мягкую влажную землю, нашла еще несколько штук.

— Вот это урожай будет. Дай то Бог!

— Убегайте скорей, — закричали девочки, — дождь подходит!

Алла Сергеевна вскрикнула и, подобрав подол своего креп-жоржета, опрометью бросилась назад. Она вышла сухой из воды. Никита Петрович не заторопился, не изменил своей солидности, а Матрена Савельевна просто не понимала, почему нужно бояться смокнуть, поэтому оба они были застигнуты струей из гидромонитора, который сделал за это время полный оборот.

— Как святой водицей окропило, — сказала Матрена Савельевна.

С опушки соснового бора все они еще раз обернулись и полюбовались радугой, передвигавшейся над полем по кругу вместе с фонтанирующей трубой. Можно было подумать, что эта труба не только выбрасывает воду, но и подсвечивает ее.

— Вот тебе и небесное явление! — сказал Никита Петрович. — Наглядная антирелигиозная пропаганда.

После этого Кругловы спустились к реке, посидели на берегу с рыбаками. В ведерке у одного из них плескались окуньки, подлещики, и это раззадорило Нину: ей захотелось во что быто ни стало дождаться, когда будет вытянута у всех на глазах хотя бы еще одна рыбка.

— Вы не возражаете, посидим около вас? — спросила Алла Сергеевна, узнав о желании дочери.

— Пожалуйста!

— Попробуем дождаться удачи.

— Ждите.

Рыбак, человек средних лет, прилично одетый, в шляпе, в кожаных с высокими голенищами сапогах, осмотрел с головы до ног Аллу Сергеевну, Никиту Петровича и девочек, скосил глаза на бабушку и начал возиться с червями в коробке. Он не изъявил особого желания разговаривать, но бабушка вызывала доверие и заинтересовала его. Взглянув на нее сбоку еще раз, он промолвил:

— Вот это одеяние! Либо из Каргополя, либо из хора имени Пятницкого.

— Одежа приглянулась? — догадалась Матрена Савельевна.

— Так и есть, говорок каргопольский, — утвердился в своей догадке и рыбак. — А наряд яркий, что тебе наживка на окуня.

— Вы бывали в Каргополе? — полюбопытствовал Никита Петрович, усаживаясь на траву рядом со всеми.

— Доводилось.

— Родом оттуда?

— Нет, по делам службы бывал. Песни записывал.

— Каково клюет?

— Какой здесь клев! По сотне охотников на каждый рыбий хвост.

Тогда Матрена Савельевна посоветовала ему:

— Ты, милой, иди на озеро, вон оно, рядышком. Там никого нет, а рыбы хоть пруд пруди.

— Спасибо, добрая душа! — нарочито окая, ответил рыбак. — Только здесь не Каргополь. Все лучшие угодья, охотничьи и рыбные, огорожены оградами. Иной начальник не больше окунька, а у него свое озеро, свой бор-косогор. А я, как говорится, простой человек. Негоже лезть куда не положено.

— Разреши ему, Микита! — попросила Матрена Савельевна сына. — Озеро не руками сделано, оно для всех свое.

Никита Петрович на мгновение смутился, но вышел из положения.

— Хорошее дело, мама, но я же не могу. Притом разрешить одному — все пойдут, что останется от парка! Закон для всех одинаков.

— Не для всех одинаков! — снова резко, как уже было однажды вчера, сказала Матрена Савельевна и поджала губы.

Рыбак даже про удочку свою забыл, опешил и пытливо смотрел то на бабушку, то на Никиту Петровича. Он вспомнил вдруг, что находится вблизи очень важного санатория и, кажется, вообразил, что может узнать Никиту Петровича по портретам.

— Прости, милой, что я понапрасну раздразнила тебя, — извинилась перед ним Матрена Савельевна и встала. — Пошли, девочки!

Никита Петрович и Алла Сергеевна послушно поднялись и двинулись за нею. Девочки чуть не заплакали от огорчения. Рыбак долго смотрел им вслед. «Вот тебе и Каргополь! — думал он. — Как она их в руках держит. Справедливая старуха!»

После обеда Матрена Савельевна забралась в комнату и больше никуда не хотела выходить. У Аллы Сергеевны появилось много знакомых, она из столовой не вернулась. Девочки бегали в парке одни.

В гостиных дома отдыха опять играли в домино, в карты, гоняли шары на бильярде, сидели у телевизора, несколько человек в кинозале просматривали новый итальянский кинофильм.

Никита Петрович не любил итальянские фильмы, слишком много было в них трагедий, тяжелой будничной жизни. Нравились ему фильмы венские — пышные декорации, роскошные женщины в изысканных туалетах: было чем полюбоваться, о чем помечтать. Венские фильмы давали отдых, итальянские раздражали, утомляли.

Никита Петрович долго бродил один из гостиной в гостиную, поднимался по винтовой лестнице в стеклянную башенку на крыше, напоминавшую рубку корабля, и оттуда смотрел поверх сосен вдаль, на все четыре стороны.

На большом протяжении была видна река — то узкая, то широкая, с крутыми изломами и поворотами, с берегами то высокими, поросшими лесом, то низкими, луговыми, на которых стояли стога сена. Местами река совсем исчезала в густом лесу, словно уходила

под землю, оставляя после себя лишь видимый след оврага; вершинная кромка леса там понижалась, прогибалась, образуя большой зеленый лоток. Местами вода опять появлялась на поверхности, как бы выпирала из-под земли, и, сверкающая под солнцем, казалась выгнутой, бугрообразной, текла выше леса.

Кое-где видны были и деревни — в низинах, на холмах; какие-то заводы с высокими кирпичными и металлическими трубами, подпирающими небо; телеграфные столбы, водокачка, ажурные опорные мачты высоковольтных электролиний, похожие на Эйфелеву башню. Над лесом летали вороны.

Если бы хороший бинокль, может быть, отсюда можно было разглядеть и высотные здания столицы.

Никита Петрович подумал, что неплохо бы сюда привести мать. Только ведь не поймет она ничего! Разве красота может до нее дойти? Удивительная заскорузлость души и ума — ничего не хочет знать, кроме своей деревни, своей земли, своего навоза. Не ценит, какие блага на нее свалились, настолько не ценит, что порой она, родная мать, становится непонятной ему, сыну.

А хорошо здесь! Никита Петрович еще раз посмотрел на все четыре стороны. Советская Россия была перед ним во всей своей красоте и неповторимости. Орлам бы здесь парить, а не воронам летать.

Но ему все-таки было скучно, чего-то не хватало. Покинув стеклянную беседку на крыше, он снова стал ходить по гостиным. В одной из них среди танцующих под радиолу он увидел жену с Викентием Федоровичем. Квадратный, с брюшком, начальник главка проделывал все, что требовалось в танце, — и крутился, и притопывал, и

приседал, но делал все это небрежно, как-то снисходительно, словно выполнял никому не нужные формальности, а сам имел ввиду одну, заранее обдуманную, определенную цель и старался ради достижения этой цели: «Вы же меня знаете, — казалось, говорил он, — не это мне надо, совсем не это, мне гораздо большего хочется, но ежели иначе нельзя, ежели нельзя без этого — пожалуйста!..»

И Викентий Федорович и Алла Сергеевна заметили Круглова. Викентий Федорович озорно, по-приятельски, подмигнул ему, словно хотел сказать: дескать, мы-то понимаем друг друга, мы-то знаем, чего нам обоим хочется... Алла же Сергеевна слегка смутилась и покраснела.

Никиту Петровича это никак не тронуло, не взволновало. «Мало ли что мать говорит, ерунда все, мелочи...»

Ему не хватало чего-то другого. Чего? Почему он не находил себе места? Он, кажется, сам не знал.

И лишь когда исходил все здание и случайно услышал разговор о том, что рано утром из Москвы был звонок по вертушке и Корней Иванович срочно выехал на какой-то официальный прием, Никита Петрович осознал свою тревогу, понял самого себя. Честнее сказать, он понимал себя и раньше, но только сейчас признался себе в том, что весь день думал о Корнее Ивановиче и искал встречи с ним.

В доме отдыха было немало разных министров, еще больше заместителей министров, но такой, как Корней Иванович, приехал только один. И не могло быть простой случайности, что судьба столкнула Круглова так близко, накоротке, именно с ним. Судьба что-то

имела в виду, Никита Петрович в это верил. Такие встречи случайно у нас не происходят. Невозможны у нас такие случайности!

Если быть честным до конца, то можно признаться еще в одном: всю эту ночь Никита Петрович не спал. Спокойно спали девочки, спала жена, спала даже мать, он не спал. Он готовился к большим событиям, к большим свершениям в своей жизни. К каким? Предугадать невозможно, но они должны были произойти.

В столовой за завтраком Корнея Ивановича не оказалось. Круглов решил, что это к лучшему, не следует часто, с утра попадаться ему на глаза. Вероятно Корней Иванович принимает пищу у себя в люксе. («Интересно, какой у него люкс — такой же как этот или совсем другой? Не может быть, чтобы был такой же!»). Потом, отправившись с семьей на прогулку, Круглов думал, что будет лучше, если он не увидит Корнея Ивановича и до обеда. Как бы не выдать себя, как бы не показать, что он ищет встречи с Корнеем Ивановичем! Пусть она произойдет как бы случайно, так же, как произошла вчера на бильярде.

В том, что встреча еще будет, Круглов не сомневался и потому не волновался.

Волноваться Круглов начал только после обеда, когда, обходя дом отдыха, он не только ни разу не увидел Корнея Ивановича хотя бы издали, но даже не почувствовал нигде его присутствия. А подслушанный разговор об отъезде большого министра совершенно ошеломил его.

Всю ночь не заснув ни на минуту, всю ночь проворочавшись с боку на бок, Круглов с утра был в отличном настроении, здоров, бодр.

Сейчас же — сразу сник, сразу смертельно устал, глаза его померкли и остановились, как от испуга.

«Не может быть, чтобы о н забыл об этой встрече, — думал Круглов. — Не может быть, чтобы никогда ничего подобного больше не произошло. Ведь так все хорошо получилось!»

Никите Петровичу тяжело дышалось, словно он только что был на большой высоте, в разреженном воздухе, и вдруг резко, стремительно снизился.

— Что, Микитушка? — спросила Матрена Савельевна, когда он вошел в номер и опустился на кожаный застонавший диван.

— Ехать надо, — сказал он.

— Ехать? Я сейчас девочек покличу.

— Где Алла? Ах да, я же ее видел.

Никита Петрович с трудом сходил вниз, к телефону, и вызвал из Москвы машину.

Домой все, кроме девочек, вернулись утомленные, измученные, как будто ездили не на отдых, а на уборку картофеля.

Никите Петровичу казалось, что они с женой делают все, чтобы мать-старушка обосновалась в их семье навсегда, чтобы жизнь в большом городе ей полюбилась. Но прошло три месяца, а он вдруг стал замечать, что мать все еще тоскует по родной деревне.

На днях, после возвращения из дома отдыха, старшая девочка его, Нина, неожиданно заявила отцу:

— Бабушка от нас все равно уедет!

Почему уедет? Зачем уедет? Чего ей здесь не хватает? Одета, обута, питание — дай Бог! И никакой работы, только и дела, что сказки внучкам рассказывай с утра до вечера да по ночам у телевизора сиди. Разве можно сравнивать эту жизнь с ее тамошней, с деревенской? Уж он-то знает, что за сладости там, в ее лесных пенатах.

Никита Петрович был обижен. Оскорблены были его лучшие чувства! Чем еще он не угодил ей?

— Бабушка от нас все равно уедет! — повторила Нина.

И заплакала.

1957

СОДЕРЖАНИЕ

Наталия Яшина «А ЕСТЬ ЕЩЕ: СОВЕСТЬ, ЧЕСТЬ...» 5
ЖУРАВЛИ. *Сила слов* 37

ПОЭЗИц

Из книги «СОВЕСТЬ»

«В НЕСМЕТНОМ НАШЕМ БОГАТСТВЕ...» 44
TBOSS РОДИНА 45
О НАСУЩНОМ 48
«НЕ ВЕРЮ, чТО ЗВЕРИ НЕ ГОВОРцТ...» 50
ОРЕЛ 52
МОСКВА — ВОЛОГДА 53
БЕССОННИЦА.....55
«О ПОЭЗИИ...».....59
«НЕ ПИШЕТСц!..».....63
В СОЮЗЕ ПИСАТЕЛЕЙ.....65
«КАК ОТ ОГНц, ОТ СЕБц БЕГУ...» 66
«КАК чАСТО МЫ ГОЛОСОВАЛИ...» 67
«МЫ НЕПОЛНОЙ ЖИЗНЬЮ ЖИВЕМ...» 69
«С СЕДИНОЮ ДА С ЛЫСИНОЙ...» 70
«СТРАШНО ЛЮБИТЬ И БЫТЬ НЕЛЮБИМЫМ...».....72
«МАТЕРЬ БОЖЬц, НЕ ОБЕССУДЬ...» 74
ЗЕМНОЙ ПОКЛОН 76
СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА 78
«ВСПОЛОШИЛИСЬ НАД ЛЕСОМ ВОРОНЫ...».....80
«ГОСТЬ...».....82

«ВЕСНА — КУДА НИ КИНЕШЬ ВЗГЛцД...» 83
РОДНИЧОК 85
ПАМSSТЬ..... 86
«И ц ОБМАНЫВАЛ...»..... 89
ЧУДО-САБЛSS 91
«ПРОСТИ МЕНц, МАМА...» 93
«КАК НИ ПРОДВИГАЕМСц ВПЕРЕД...» 94
«ВСЕ К ЛУчШЕМУ..... 95
«ОПцТЬ ц ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ НЕГОДОВАЛ...»..... 97
«МЫ ВСЕ ОБЛУчЕНЫ...» 99
ПУСТЫРЬ..... 100
ПОЧЕМУ?..... 102
В ЧУЖОМ КРАЮ 105
ИСПОВЕДЬ..... 107
ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ 109
«ДУША ЗАМКНУЛАСЬ ОТ ОБИДЫ...» 111
«МЫ С ДЕТСТВА ВЕРИЛИ ПРИМЕТЕ...»..... 112
«ЕСТЬ ОЩУЩЕНЬЕ СИЛЫ И В УПРцМСТВЕ...» 113
ЗАМОРОЗОК..... 115
ХОЧУ ВЕСНУ!..... 116
ЛЮБЛЮ ВСЕ ЖИВОЕ..... 119
НОВОЗЕРО..... 121
ПО СВОЕЙ ОРБИТЕ..... 123
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ..... 125

Из книги
«БОСИКОМ ПО ЗЕМЛЕ»

О МОЕЙ СВЯТЫНЕ..... 128
БОСИКОМ ПО ЗЕМЛЕ 131

ЧИСТЫЙ БОР 133
НА БОБРИШНОМ УГОРЕ 134
ОБНОВА 137
С МАТЕРЬЮ НАЕДИНЕ 139
«ДУМАЛОСЬ, НЕ ПРИБРАТЬСц...» 141
ЧЕГО БОЮСЬ? 142
ГНУС 144
МЫ УЖЕ БОSSЛИСЬ 146
СИВЕРКО 148
ЖЕЛТЫЕ ЛИСТЬSS 150
КРИЧАЛИ ГРАЧИ 152
«ОСЕНЬЮ ЗАСЫПАЕТ ВОДА...» 156
ПОРА И МНЕ 157
ТОПSSTCSS ПЕЧИ 159
ЛЕСНЫЕ ДУГИ 161
ПОСЛЕ СНЕГОПАДА 164
«В ЭТОМ ПОЛЕ ЗАМЕРЗНУТЬ МОЖНО...» 166
ПОКОРМИТЕ ПТИЦ 167
«ЛЕС ПОСЕДЕЛ ОТ ИНЕц...» 169
SSCНЫЙ ДЕНЬ 170
РОДНЫЕ СЛОВА 171
ПЕСНSS БЕЗ СЛОВ 173
ОГОНЕК 175
ВЕШНИЕ ВОДЫ 177
ВЕСЕННSSSS БОЛТОВНSS 179
ДОБРУ ОТКРОЕТCSS СЕРДЦЕ 181
ВСЁ ДЛSS ЧЕЛОВЕКА 183
ЛИРИЧЕСКОЕ БЕСПОКОЙСТВО 185
ЕСЛИ Б ТЫ ПОДАЛ ГОЛОС... 188
ГОЛОСА ВЕСНЫ 190

ТАРУСА 192
МЕДВЕДSS МЫ НЕ УБИЛИ 194
ВАШИ УСПЕХИ 196
СЧАСТЛИВ ЛИ SS? 198
ПЕРЕГРУЗКА 200
«НЕ ХОчУ ОЗЛОБЛЕНЬц!..» 201
К ТЕБЕ ОБРАЩАЮСЬ, ДУША MOSS! 202
ГРАНИЦЫ ДУШИ 204
ЗАПАСАЕМCSS СВЕТОМ 206

Из книги
«ДЕНЬ ТВОРЕНЬц»

«SS ОБРЕчЕН НА ПОДВИГ...» 210
ПЕРЕХОДНЫЕ ВОПРОСЫ 212
О ПОГОЖИХ ДНЯХ И ХОРОШИХ ЛЮДЯХ 215
МОЛИТВА МАТЕРИ 217
МИЛОЕ МОЕ ГОРЕ 219
ЭКО ДЕЛО! 223
ОТХОДНАЯ 226
ДЕНЬ ТВОРЕНЬЯ 228
ПОЧЕМУ НЕ УДИВЛЯЕМСЯ 232
НОВЫЙ БЕРЕГ 234
СЛЕДЫ НА СНЕГУ 236
ГЛУХАЯ ЗИМА 239
ЛЕСОСЕКА 241
КУЛИК 244
МУХОМОРЫ 246
ЛУННАЯ НОЧЬ 249
СВОЕ ДОБРО 251

В КОНЦЕ ПУТИ 253
МЫ БЫЛИ МОЛОДЫ 255
ЧЕГО ЕЩЕ СЕРДЦЕ ПРОСИТ? 260
ВЕСЕННИЕ ОЖИДАНИЯ 262
ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СПИТ 264
ОБ ОДИНОЧЕСТВЕ 267
НОЧНОЙ ПОЕЗД 268
РОГАТЫЙ ПЕГАС 270
С ДОБРЫМ УТРОМ! 273
УТРЕННЯЯ ПОЧТА 276
«МНЕ ВЕРИТЬ НАДО...» 279
«ЕСЛИ БЫ ЗНАТЬ НАМ, чТО ЗАВТРА...» 281
САШЕ 282
ПОСЛЕДНSSSS ГЛАВА 285
СНЕГ 286
«ЧТО Ж ТЫ СПИШЬ, ВЕТЕР...» 288
«СчАСТЛИВЫ ОДНОЛЮБЫ...» 290
«...ПОДАРИ, БОЖЕ...» 291
«ТАК ЖЕ БУДУТ ЮНОШИ ПИСАТЬ...» 294

«ГОДЫ ЖИЗНИ»
Из разных книг

«НЕ ПОЗАБЫТЬ МНЕ ПЕРВЫХ СХВАТОК...» 296
«КОГДА БЫ ТЫ ВИДЕЛА ЭТОТ ГОРОД...» 298
ОБСТРЕЛ 299
ПОЛЕ БOSS 301
В КРЫМУ 303
«НАЗОВИ МЕНц ИМЕНЕМ СВЕТЛЫМ...» 306
НЕ УМРУ 307

НЕ РАЗУЧИЛCSS ЛЬ ХОДИТЬ ЗА ПЛУГОМ?.. 310
ОСИНА 311
«КАЖДЫЙ ГОД ВЕСНА КАК чУДО...» 313
«ЧТО-ТО ЕСТЬ В ТЕБЕ ОчЕНЬ ХОРОШЕЕ...» 315
«СКРУТИТ ТЕБц ЛЮБОВЬ...» 316
«МНЕ НАДО ТАК ГЛцДЕТЬ ВПЕРЕД...» 318
НА ВЗМОРЬЕ 319
«ЛЕС РОДНОЙ...» 321
«БОР, КАЗАЛОСЬ, БЫЛ НЕ ШИРОК...» 323
«ДЛц МЕНц ЛЮБЫЕ РАССТАВАНЬц...» 324
ТОЛЬКО НА РОДИНЕ 326
«ТцНЕТ В ПРОСТОР ПОЛЕЙ...» 328
УТРОМ НЕ УМИРАЮТ 331

СТРОФЫ

«А МНЕ МОСКВА НЕЛЕГКО ДАЛАСЬ...» 334
«ПОЭЗИц!..» 334
«МНЕ БЫ КРЫЛЬц, чТОБ ВЗЛЕТЕТЬ...» 335
««ПРАВДА» ЗВОНИТ: НАПИШИ, ПОЭТ...» 335
«ДА, ц НЕ ПРОДАЮСЬ, НЕ ПОКУПАЮСЬ...» 336
«— НА КОЛЫМУ?..» 336
«ЗА ВСЕ ОТВЕчАТЬ НАСТАЛА ПОРА...» 337
«ДЕСцТОК ЛЕТ...» 337
«ДАВНО ОБХОДИМСц БЕЗ БОГА...» 338
«СКУчНЫЙ И ЗЛОЙ, НАВЕРНО, БЫЛ...» 339
«НАСТЕЖЬ ОТКРЫТАц МИРУ ДУША...» 340
«ПУТИ ПОЭЗИИ ТРУДНЫ...» 340
«БЕЗУДЕРЖНОЕ ХВАСТОВСТВО И ЛОЖЬ...» 340
«SS БЫ МОГ СОчИНИТЬ...» 341

«И ПУСТЬ ПАРАДОКСАЛЬНО...» 341
«МНОГО ПЛАНЕТ, А ЗЕМЛц ОДНА...» 342
«ВСЕ ВО ИМц СОВЕСТИ...» 342
«SS ЖИВУ НА СОСНОВОМ, НА ГРИВИСТОМ...» 343
«ЗАПОЙ, СОЛОВУШКА, ЗАПОЙ...» 343
«СПЛЮ НА ОВчИНЕ...» 344
«ОЙ ТЫ РУСЬ МОц, РУСЬ...» 344

«СЕВЕРSSНКА»
Из первых книг

ВЕСЕННЕЕ 346
«ЛИШЬ ВЕКОВЫЕ...» 349
ЛЕНОК 351
ТУЧА 354
ОЛЕНА 356
«СЛОВА-ТО КРАСИВОГО...» 360
«ШЛА ц НЫНчЕ ЗАИМКОЙ...» 363
«У ВОРОТ В ЦВЕТАХ И ЛЕНТАХ ЛОШАДЬ...» 365
ВОЛОГДА 367
МЕТА 371
ДЕВУШКА ЗАТОСКОВАЛА 373
«НИКОГДА ТАК НИЗКО НЕ СВИСАЛИ...» 374
СКАЗОЧНИЦА 376
ВОЛОГОДСКОЕ НОВОГОДНЕЕ 379
СОСНА 381
ЗВЕРОЛОВ 383
ПОЖАР В ЛЕСУ 387
ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ 391
ЗАРЕЧНАSS КРАСАВИЦА 393

«МОРОЗ РАСПИСАЛ ОКОННЫЕ СТЕКЛА...» 396
«SS РОДИЛСц В ТРИНАДЦАТОМ ГОДУ...» 398
ПРИСКАЗКИ 399

ПРОЗА

РАССКАЗЫ

УГОЩАЮ РЯБИНОЙ 410
ПРОВОДЫ СОЛДАТА 425
СТАРЫЙ ВАЛЕНОК 430
ЖИВОДЕР 438

Из цикла «СЛАДКИЙ ОСТРОВ»

МАМИНЫ СКАЗКИ 443
1. Чайка 443
2. Лунный мостик 444
3. Утро 445
СПАСИБО, ЧТО РАЗБУДИЛ МЕНЯ 450

Из цикла «ВМЕСТЕ С ПРИШВИНЫМ»

ПОДАРКИ ПРИШВИНА 453
ПОСЛЕДНЯЯ ТРОПИНКА 457

ПОВЕСТИ

ВОЛОГОДСКАЯ СВАДЬБА 462
БАБА ЯГА 515
СЛУГА НАРОДА 591

В книге использованы фотографии А. Я. Яшина
из личного архива писателя,
из архива музея «Яшинская рябинка» ПУ №30 г. Вологды
(руководитель — В. С. Старкова),
из фондов Никольского историко-мемориального
музея А. Я. Яшина.

Выпускающий редактор — ***С. А. Тихомиров***
Корректор — ***М. Г. Ильюшина***
Компьютерный набор — ***Н. А. Попова-Яшина***
Заставки к разделам — ***Н. В. Черкасова***
Компьютерная верстка — ***С. Ш. Лихачева***

Сдано в набор 14.11. 2002. Подписано в печать 20. 02. 2003 .
Формат 70x108/32. Печать офсетная. Бумага офсетная. Гарнитура «TenseC».
Усл. печ. л. 22 + 1 печ. л. вклейки . Уч.-изд. л. 23,5 + вклейка . Зак. .
Тираж 999 экз. Цена договорная.

Издательство «Книжное наследие»
Вологодской областной универсальной научной библиотеки имени И. В. Бабушкина
160035 г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 1
Отпечатано: ООО ПФ «Полиграфист». 160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 3

А. Яшин. 1930-е годы.

А. Ящин. г. Москва,
29 мая 1936 года.

к вагону, прежде чем разглядеть его лицо. [Потом — это, конечно, перечтено.

Далее очень волнуясь перед предупреждением Акцелей и первичной

об том, что в этой суматохе мы риск совсем не разглядеть

не ворвутся. Он вышел ходил, а не бегал; гораздо, ходил крупными

шагом, ро и дело оглядывался по сторонам, крутился и несуразно

вытягивая шею, хотя он и без ро дни на голову выше

Он

не терял, на

Не тот ли ес

Но то —

голосом, разд

и перед ним по

На Некиш

реглан, мех

Шляпа,

ботинки; бе

Конуса его ре

Заглядывал на

и шарф вы

На вид Ив

Чистое, здоровое,

Виски

кустрина небольшая седина, но она не старила его, а красила.

Если бы Иван Петрович держался менее прямо, не так солидно

Отдыхал, говорил без нарочито заученных фраз, если бы в нем было

Он даже в Сорбонне, он, конечно бы,

свых на наглецов.

Мадрина Савельевна сразу заметила его, но не сразу узнала,

вдвое, не сразу решилась узнать. В тамбуре не

и на

протестантках он был гораздо проще, и моложе, и не рахит

красивый. Неужели эту восточную, раза в полтора выше

А. Яшин. 1930-е годы.

к вагону, прежде чем разглядел свою мать. [Были — это, конечно, [illegible]

~~[illegible]~~. Даже очень волнуясь перед предстоящей встречей и нервничая

от того, что в этой суматохе ~~[illegible]~~ он рисковал совсем не разглядеть [illegible],

~~[illegible]~~ не выдержать бы [illegible] ходил, а не бегал; правда, ходил крупным

шагом, то и дело озираясь по сторонам, кружась и нетерпеливо

вытягивая шею, хотя он и без того был на голову выше ~~[illegible]~~

~~[illegible]~~ [illegible] ства своего

не терял, ~~[illegible]~~ [illegible] (стараясь

тем, что он есть.

~~[illegible]~~ — [illegible] превосходство,

чином, раздвигая [illegible] людей,

и перед ним [illegible]

На Никите Пет[illegible] модное пальто-

реглан, мягкая [illegible] заграничная [illegible]

шляпа, ~~[illegible]~~ [illegible] ещё не [illegible]

ботинки; белый [illegible] из-под пальто и

концы его развевал[illegible] ~~[illegible]~~

заставил молодых [illegible] очень [illegible]

и шарф выбивались

На вид Никите [illegible] лицо свежее,

чистое, здоровое; [illegible]; на висках

проступила небольшая седина, но она не старила его, а красила.

Если бы Никита Павлович держался менее гордо, не так солидно

ступал, говорил без нарочито замедленной важности, если бы в нем ~~[illegible]~~

~~[illegible]~~ [illegible] он выглядел бы [illegible]

своих ~~[illegible]~~ настоящих лет.

Матрена Савельевна сразу заметила его, но не сразу узнала,

вернее, не сразу решилась узнать. В памяти ее ~~[illegible]~~ и на

фотокарточках он был гораздо проще, и моложе, и не таким

красивым. Неужели этот высокочтимый, [illegible] в [illegible] выше

А. Яшин. г. Ленинград, 1941 год. Снимок для фронтовой газеты.

Капитан А. Я. Попов-Яшин.
Середина 1940-х годов.

к вагону, прежде чем разглядел свою мать. [Больно — это, конечно, ~~[illegible]~~ [illegible]. Даже очень волнуясь пред встречей с родными и [illegible] об том, что в этот [illegible] ~~[illegible]~~ он [illegible] совсем не [illegible] не [illegible] бы он ходил, а не бегал; правда, ходил крупными шагами, то и дело оглядываясь по сторонам, улыбаясь и неестественно вытягивая шею, хотя он и без того был на голову выше ~~[illegible]~~

~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] своего не терпел, ~~не [illegible]~~ [illegible] тем, что он есть.

~~Не так~~ — Прошу [illegible] председателя, голосом, раздумчивая [illegible] таких людей, и перед ним [illegible]

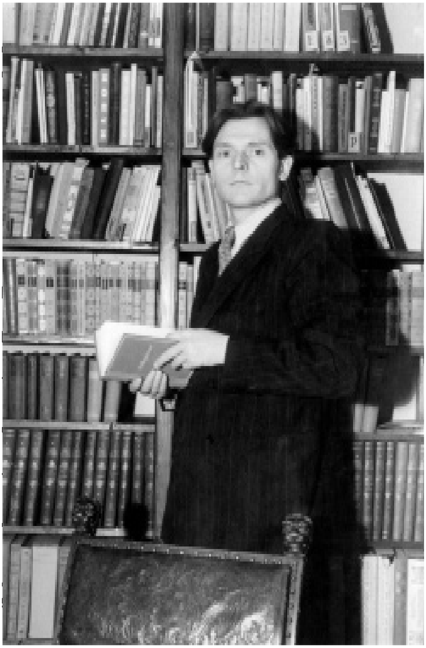
На Никите Павл[illegible] модное пальто-реглан, мягкая [illegible] заграничной работы шляпа, ~~[illegible]~~ [illegible] ещё не [illegible] ботинки; белый [illegible] из-под пальто и концы его развева[illegible] [illegible] заставляли [illegible] очень [illegible] и [illegible] выбивались [illegible]

Но вот Никита П[illegible] лицо свежее, чистое, здоровое; [illegible] на висках пробивалась небольшая седина, но она не старила его, а красила. Если бы Никита Павлович держался менее строго, не так солидно, говорил без напускной замедленности [illegible], ~~[illegible]~~ он выглядел бы [illegible] своих ~~лет~~ настоящих лет.

Матрёна Савельевна сразу заметила его, но не сразу узнала, вернее, не решилась узнать. В памяти ее ~~[illegible]~~ и на [illegible] он был гораздо проще, и моложе, и не таким красивым. Неужели этот высокочтимый, раза в полтора выше [illegible]

А. Яшин. Тарнога.
1948 год.

А. Яшин.
1950 год.



А. Яшин в рабочем кабинете на ул. Беговой.
г. Москва. 1950 год.

к вагону, прежде чем разглядеть его лицо. [Он шел — это, конечно, [illegible]

[illegible] Даже очень волнуясь перед предстоящей встречей и испытывая

от того, что в этот суровое [illegible] дня риск совсем не разглядеть [illegible]

[illegible] не выглядеть. Он все время ходил, а не бегал; кроме того, ходил крупными

шагами, то и дело оглядываясь по сторонам, крутясь и несуразно вытягивая шею, хотя он и без того был на голову выше [illegible]

А. Яшин на горном Алтае. 1954 год.

[illegible] своего

Не терял, [illegible] образованных

Не потёр он ест.

[illegible] — Пр[illegible] стоящих (председатель,

голосом, разд[illegible] [illegible] людей,

и пред ним пл[illegible]

На Некит[illegible] [illegible] длинное пальто —

реглан, мягк[illegible] Заграничн[illegible]

шляпа, [illegible] [illegible] еще не [illegible]

ботинки; бел[illegible] [illegible]-под полу н[illegible]

Конца его разв[illegible] [illegible] Пр[illegible] [illegible]

Запрыгал шаг[illegible] [illegible] очень аккуратно

и шарф вы[illegible]

На вид Ив[illegible] [illegible] лицо свежее,

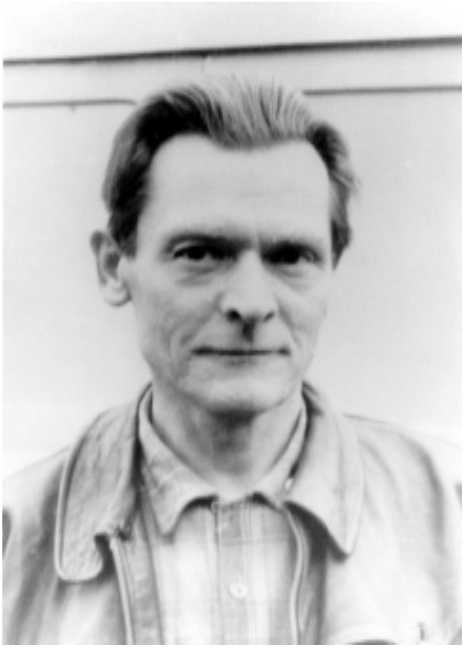
чистое, здоровое; [illegible] [illegible] [illegible]; на [illegible]

пробивается небольшая седина, но она не старила его, а красила.

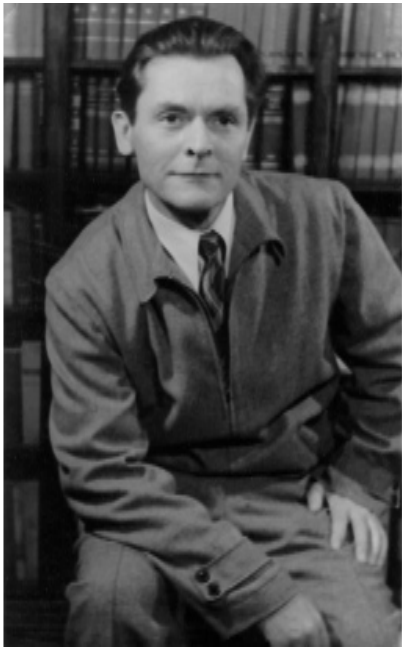
Если бы Иван Петрович держался менее [illegible], не так солидно

[illegible], говорил без [illegible] заученных фраз, [illegible] если бы в нем [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

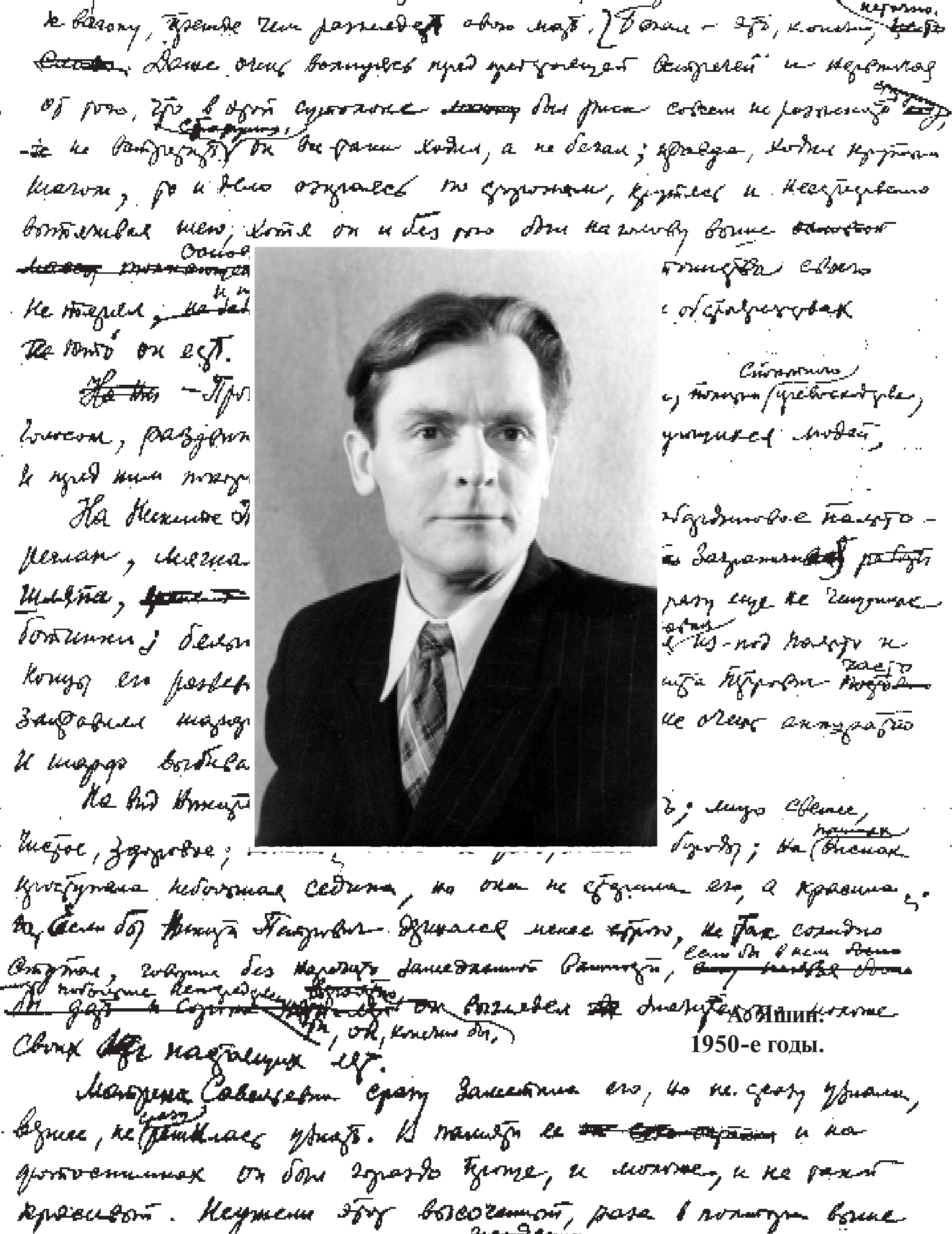


А. Ярмик 1959 год.
Фото В. Каплина.



А. Ийин.
1950-е годы.

А. Яшин. 1950-е годы.



А. Яшин.
1950-е годы.

А. Яшин за работой в кабинете в Лаврушинском переулке. г. Москва. 1958 год.

А. Дмин. Выступление в Люберцах. 1958 год. Фото Б. Мясоедова.

к вагону, прежде чем разглядеть его лицо. [Потом — это, конечно, ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~. Даже отец волновался перед предстоящей встречей и нервничал от того, что в этот суматошные ~~[illegible]~~ дни риска совсем не разглядеть ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ не выглядеть. Он все ходил, а не бегал; правда, ходил крупным шагом, но и дело оказалось по существу, крупным и несуетливо вытягивая шею, хотя он и без того был на голову выше ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ своего

Не терял, на[illegible] человек

Не то́ что он ест[illegible] [illegible] (председателя),

голосом, разд[illegible] [illegible] людей,

и вслед ним пш[illegible]

На Некиле[illegible] новое пальто —

реглан, мягк[illegible] [illegible]

шляпа, [illegible] не чешуйчатые

ботинки; бел[illegible] [illegible] к

Конуд его разв[illegible] [illegible]

заправил шар[illegible] [illegible] аккуратно

и шарф выбр[illegible]

Не вид[illegible] [illegible] свежее,

чистое, здоровое, [illegible] на висках

пробивалась небольшая седина, но она не старила его, а красила, [illegible] если бы Яшин держался менее строго, не так солидно

держал, говорил без нарочитой замедленной важности, если бы в нем было

[illegible] [illegible] [illegible] [

к вагону, прежде чем разглядеть его лицо. [Боялся — это, конечно, [illegible]

Даже очень волнуясь перед предупреждением Акцелей и зная

об этом, что в этот случайное [illegible] бы риск совсем не разглядеть [illegible]

[illegible] не выглядеть. Он вышел ходил, а не бегал; гораздо, ходил крупными

шагами, но и было ощущение [illegible] и несуетливо

вытягивая шею, хотя он и без того был на голову выше [illegible]

[illegible] своего

Не терпел, [illegible] и

Не что он есть.

[illegible] — Пр

[illegible] (председатель),

[illegible] людей,

[illegible] пальто —

[illegible] еще не [illegible]

[illegible] — под полом к

[illegible] — [illegible]

[illegible] очень аккуратно

[illegible] лицо свежее,

[illegible] (внешне

[illegible] ; на

[illegible] Чистое, здоровое;

[illegible] проступила небольшая седина, но она не старила его, а красила.

[illegible] если бы [illegible] Ильич Ленин держался менее [illegible], не так солидно

[illegible] говорил без [illegible] заинтересованности [illegible], если бы в нем [illegible]

[illegible] он взглядел [illegible] [illegible]

[illegible] он, конечно бы,

[illegible] своих [illegible] настоящих [illegible].

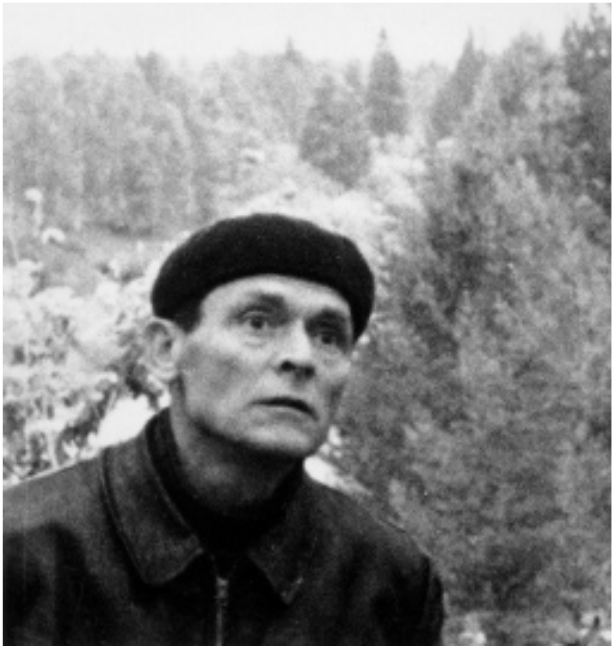
Мадонна Савельевна сразу заметила его, но не сразу узнала,

[illegible] не [illegible] узнать. В тамбуре [illegible] и на

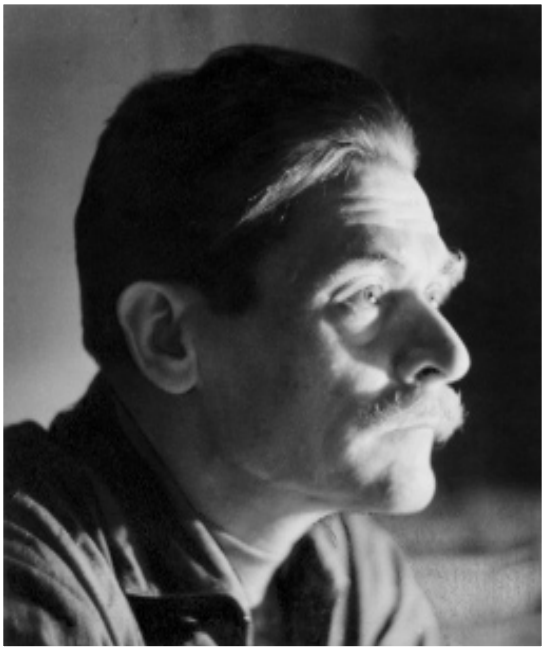
[illegible] от бы гораздо [illegible], и моложе, и не [illegible]

красивой. Неужели эту [illegible], раза в полтора выше

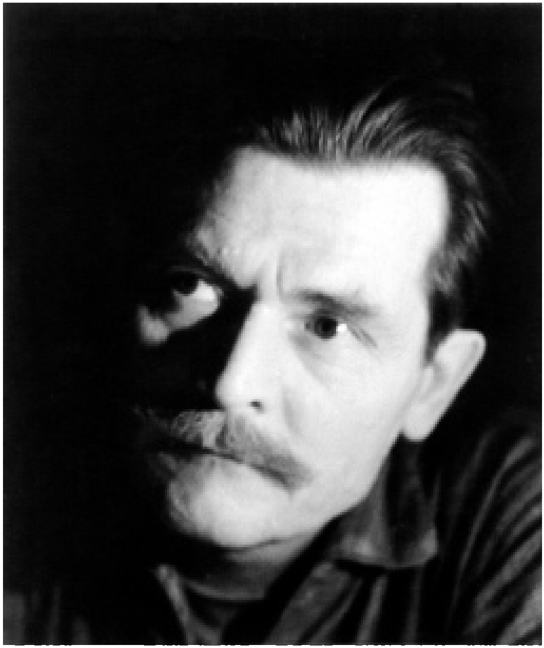
А. Ильин.
1961 год.



А. Яшин на Бобришном угоре.
Начало 1960-х годов.



А. Ильин.
1960-е годы.



**А. Яшин.
1960-е годы.**

к вагону, прежде чем разглядеть его лицо. [Боялся — это, конечно, [illegible]
[illegible] Даже очень волнуясь перед предупреждением Андреевой и зная
об этом, что в этот случайное [illegible] бы риск совсем не разглядеть [illegible],
[illegible] не выдержать. Он все-таки ходил, а не бегал; правда, ходил крупными
шагами, ро и дело оглядываясь по сторонам, крутясь и несуразно вытягивая шею, хотя он и без того был на голову выше [illegible]
[illegible] на своего
не терпел, [illegible] чрезвычайно
[illegible] он [illegible] стоящими на (председателя),
[illegible] ей людей,
[illegible] новое пальто —
[illegible] ходить
[illegible] ще не [illegible]
[illegible] под полу к
[illegible] грудь [illegible]
[illegible] к [illegible]
[illegible] до свежее,
[illegible] на [illegible]
[illegible] ; на [illegible]
[illegible] седина, но она не [illegible] его, а красила,
[illegible] если бы [illegible] менее [illegible], не так сильно
[illegible], говорил без [illegible] заинтересованности [illegible], если бы в нем [illegible]
[illegible] он взглядывал [illegible] [illegible]
[illegible], он, конечно бы,
[illegible] настоящим [illegible].

Мария Савельевна сразу заметила его, но не сразу узнала, [illegible]
[illegible] не решилась сразу узнать. В толпе [illegible] и на [illegible] он был гораздо [illegible], и моложе, и не [illegible] красивой. Неужели эту [illegible], раза в полтора выше

А. Ильин.
1960-е годы.

к вагону, прежде чем разглядел свою мать. [Болит — это, конечно, [illegible]] [illegible]. Даже очень волнуясь перед встречей с родителями и переживая

от того, что в этом состоянии [illegible] бы [illegible] совсем не [illegible]

не [illegible] бы [illegible] ходил, а не бегал; правда, ходил крупными

шагом, то и дело оглядываясь по сторонам, [illegible] и несдержанно

[illegible]; хотя он и без того был на голову выше [illegible]

[illegible] своего

не терял, не [illegible]

не того он [illegible]

[illegible]

[illegible] людей,

и перед ними [illegible]

На [illegible]

[illegible] рабочие

шляпа, [illegible] не [illegible]

ботинки; [illegible]

концы его [illegible]

заставил [illegible]

и шарф [illegible]

Не [illegible]

щёки, здоровые, [illegible] свежие, на висках

проступила небольшая седина, но она не старила его, а красила.

Если бы Никита Павлович держался менее строго, не так солидно

[illegible], говорил без [illegible] замедленности [illegible], если бы в нем [illegible]

[illegible] он выглядел бы [illegible]

своих [illegible] настоящих лет.

Матрёна Савельевна сразу заметила его, но не сразу узнала,

вернее, не сразу решилась узнать. В памяти ее [illegible] и на

фотоснимках он был гораздо проще, и моложе, и не таким

красивым. Неужели этот высокий, [illegible] выше

А. Яшин.
1966 год.

А. Яшин. Выступление поэта на одном из творческих вечеров в Литовской ССР. 1967 год.

А. Яшин. Домашняя фотография. 1963 год.

к вагону, прежде чем разглядеть его лицо. [Ботин — это, конечно, [illegible]

Даже очень волнуясь перед предупреждением Островского и зная об этом, что в этот суровое время для риска совсем не разрешают [illegible] не выходить, он все-таки ходил, а не бегал; правда, ходил крупными шагами, но и было ощущение, что сдержанно, крепко и несгибаемо вытягивая шею, хотя он и без того был на голову выше [illegible] Основы [illegible] своего не терял, и не [illegible] и обаяние. Не знаю, он есть.

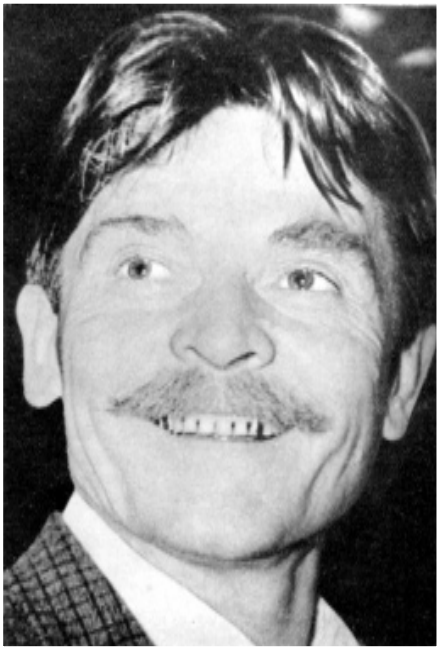
[illegible] — Прямо, стоящий, [illegible] (председатель), [illegible] лицом, раздвинув [illegible] людей, и перед ним [illegible]

На Никите Пр[illegible] брезентовое пальто — реглан, мягкая [illegible] Заграничная [illegible] Шляпа, [illegible] сразу еще не чувствуется [illegible] ботинки; белый [illegible] — под полою к[illegible] конца его револьвера [illegible] Никита Петрович [illegible] Заработал шарф [illegible] не очень аккуратно и шарф выбивал[illegible]

На вид Никите [illegible] лицо свежее, чистое, здоровое; [illegible] бровей; на [illegible] пушистая небольшая седина, но она не старила его, а красила; [illegible] если бы Никита Петрович держался менее [illegible], не так солидно [illegible], говорил без [illegible] заученных фраз, если бы в нем [illegible] [illegible] Он дал в Сорок [illegible] он, взгляд [illegible] [illegible], он, конечно, [illegible] своих [illegible] настоящим [illegible].

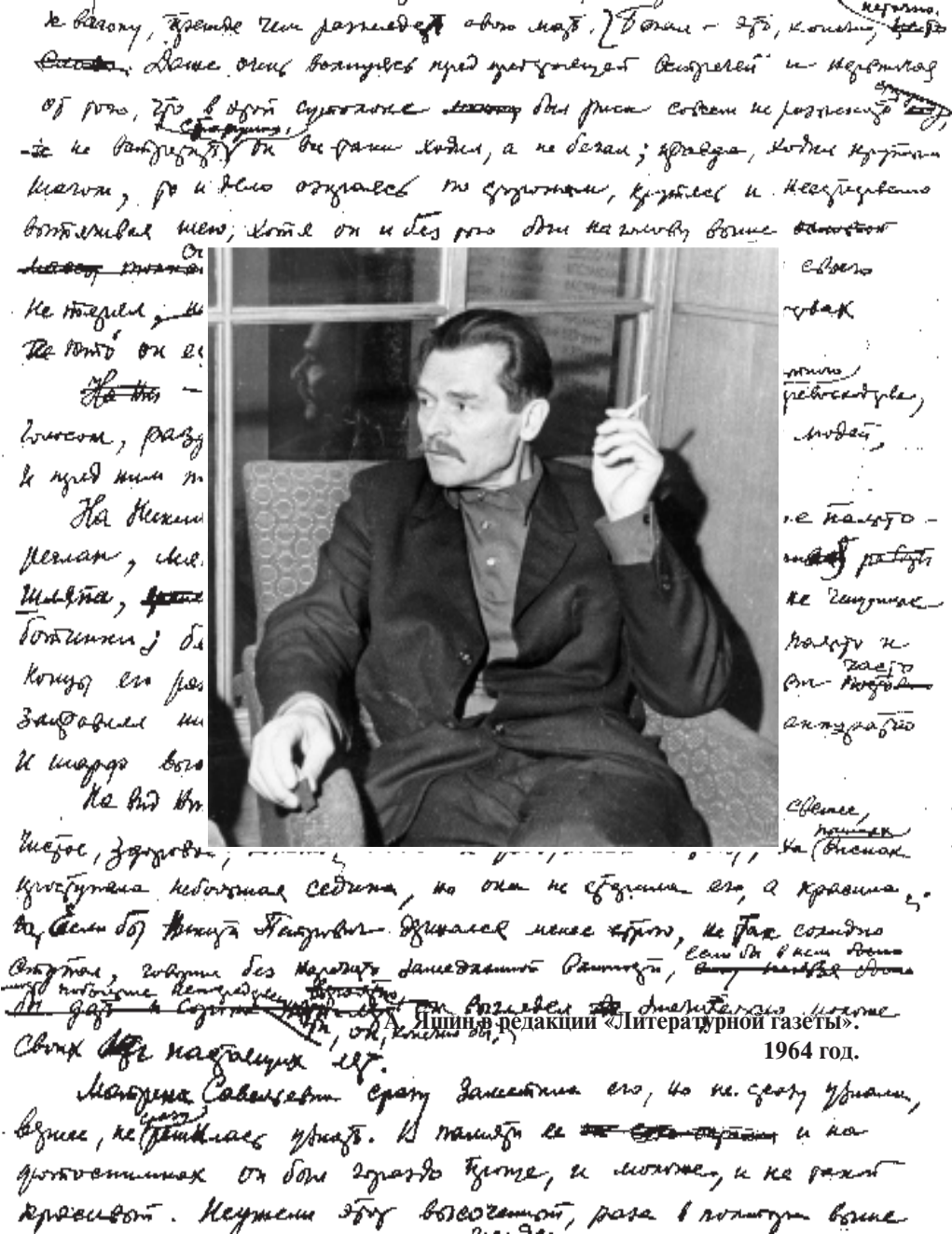
Матрена Савельевна сразу заметила его, но не сразу узнала, вернее, не сразу решилась узнать. В тамбуре [illegible] и на [illegible] он был гораздо крупнее, и моложе, и не похож красивый. Неужели эту восточную, раза в полтора выше

А. Яшин. За рабочим столом. 1964 год.



А. Яшин.
1964 год.

А. Яшин за куделью.
Середина 1960-х годов.



А. Яшин в редакции «Литературной газеты».

1964 год.

к вагону, прежде чем разглядеть его лицо. [Потом — это, конечно, [illegible]

Даже отец волнуется перед предстоящей встречей и перед тем, что в этот суматошное время они риск совсем не разглядят [illegible] не выглядят. Он все ходил, а не бегал; правда, ходил крупными шагами, ро и дело оглядывая толпу, прямой и несгибаемо вытянувшись, хотя он и без ро дни на голову выше [illegible]

[illegible] своего

Не терпел, [illegible]

Не то́ть он ест.

— Пр[illegible] (председатель),

[illegible] людей,

[illegible] пальто —

[illegible] Заграничный [illegible]

[illegible] еще не [illegible]

[illegible] из-под полы [illegible]

[illegible] Петрович [illegible]

[illegible] очень аккуратно

[illegible] лицо свежее,

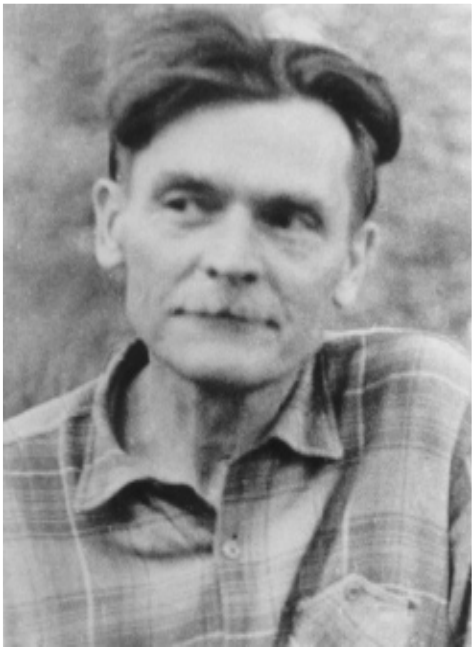
[illegible] (внешне

[illegible]

[illegible] Если бы в нем [illegible]

[illegible] он взглядел [illegible]

[illegible] он, конечно бы,



А. Яшин.
1966–1967 годы.

Чистое, здоровое; [illegible]

[illegible] седина, но она не [illegible] его, а красила, [illegible] если бы [illegible] Петрович держался менее [illegible], не так солидно [illegible], говорил без [illegible] заученных фраз, [illegible] [illegible] [illegible]

Последняя фотография А. Яшина.
С сыном Михаилом в Вильнюсской больнице.
Вильнюс. Март 1968 года.

к вагону, прежде чем разглядел свою мать. [Болен — это, конечно, [illegible]

[illegible]. Даже очень волнуясь перед встречей [illegible] и [illegible]

об том, что в этом состоянии ~~[illegible]~~ был бы совсем не различить [illegible]

не выдержать бы он [illegible] ходил, а не бегал; правда, ходил крупным

шагом, то и дело оглядываясь по сторонам, сутулясь и несознательно

вытягивая шею; хотя он и без того был на голову выше ~~[illegible]~~

~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] своего

не терял, [illegible] [illegible]

[illegible] он есть.

[illegible] — [illegible] [illegible]

голосом, [illegible] [illegible] людей,

и [illegible] [illegible]

На [illegible] [illegible] пальто –

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible], [illegible] [illegible] еще не [illegible]

ботинки; [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] не очень [illegible]

и [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] лицо свежее,

[illegible], здоровое; [illegible] [illegible]; на висках

[illegible] небольшая седина, но она не [illegible] его, а красила.

[illegible] бы Никита Павлович [illegible] менее [illegible], не так [illegible]

[illegible], говоря без [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]

А. Яшин. Осенняя тропинка в Подмосковье.
Начало 1960-х годов.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

своих [illegible] [illegible] лет.

Матрена Савельевна сразу заметила его, но не сразу узнала,

вернее, не [illegible] узнать. В памяти ее ~~[illegible]~~ и на

фотоснимках он был гораздо тоньше, и моложе, и не таким

красивым. Неужели этот высоченный, [illegible] в [illegible] выше

к вагону, прежде чем разглядел свою мать. [Болел — это, конечно, ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~. Даже очень волнуясь перед встречей с родителей и переживая от того, что в этой суматохе ~~могут~~ вы писа совсем не разглядеть [illegible], не выглядеть бы ... ходил, а не бегал; правда, ходил крупными шагами, [illegible] и [illegible] по сторонам, [illegible] и [illegible] вытягивая шею, хотя он и без того был на голову выше ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ [illegible] людского потока. Но достоинства своего

Не [illegible]

Не [illegible]

[illegible]

шрос, здоровье; конечно, — никаких усов, никакой бороды; на висках проступила небольшая седина, но она не старила его, а красила. Если бы Никита Павлович держался менее гордо, не так солидно ступал, говорил без нарочито замедленных растяжек, ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ он выглядел бы ... своих ~~[illegible]~~ настоящих лет.

Похороны А. Яшина.
1968 год.

Матрёна Савельевна сразу заметила его, но не сразу узнала, вернее, не решилась узнать. В памяти ее ~~[illegible]~~ и на фотографиях он был гораздо проще, и моложе, и не таким красивым. Неужели этот высокий, рослый в [illegible] выше